КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (18)

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Гиз. № 5973. Главлит. № 16752. Москва. Напеч. [illegible]000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

Материалы к роману.

Бор. Пильняк.

Предисловие.

В среднем человек живет шестьдесят лет, т.-е. столько-то (60 × 360) дней, т.-е. столько-то часов (60 × 360 × 24), т.-е. столько-то минут (60 × 360 × 24 × 60), т.-е. столько-то — а именно 60 × 360 × 24 × 60 × 60 = = 1.892.160.000, т.-е. меньше двух миллиардов секунд, меньше, чем у каждого россиянина было в конце 1923 года рублей на папиросы. Так колоссально — такими колоссальными понятиями жила тогда Россия, да, — но в этой колоссальности жить, все же, только для человека. И мне ясно, все больше и больше ухожу я от той беллетристики, где „он вошел, она села, он сказал, сказала она, оба про любовь, и луна светила в окно“, — мне все время кажется, что я ухожу от беллетристики, навсегда, всякой. Надо писать как-то иначе.

„Цели“, по-прежнему, необходимы, — надо, чтобы они „целили“, со всяческими ударениями, и над е, и над и. И с каждым днем мне все яснее, что мое писательство мне совсем не к тому, чтобы славиться, почеститься, сладко жить, — писательство — невеселое дело и почти — мышечный труд.

Не мне судить о моих достатках. Но о недостатках своих я имею право говорить. И вот — один из них, кардинальнейший. Мои вещи живут со мной так несуразно, что, когда я начинаю писать новую вещь, старые я беру материалом, гублю их, чтоб сделать новое лучше; — отчасти это и потому, что мне гораздо дороже моих вещей то, что я хочу сейчас сказать, и я жертвую старым трудом, если он идет мне в помощь; — это и от того, что у меня мало фантазии. Не важно, что я (и мы) сделал, — важно, что я (и мы) сделаем, подсчитывать нас еще рано; какая-то соборность нашего труда необходима (и была, и есть, и будет), я вышел из Белого и Бунина, многие многое делают лучше меня, и я считаю себя в праве брать это лучшее или такое, что я могу сделать лучше (— А. Перегудов и Даль, я ни от кого не скрываю, что взято мной у Вас для этой повести!). Мне не очень важно, что останется от меня, — но нам выпало делать русскую литературу соборно, и это большой долг.

Отрывок первый.

Лес, перелески, болота, поля, тихое небо, — проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Топят болотные топи в сестрах-лихорадках. Ползут-вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо итти, хочет пройти попрямее,—свернет, проплутает, вернется на прежнее место... Две колеи, подорожники, тропка,—а кругом, кроме неба,—или ржи, или снег, или лес,— проселок без начала, без конца, без края. А идут по проселку с негромкими песнями:—иному те песни—тоска, как проселок,— Россия родилась в них, с ними, от них. — — Наши пути по проселкам были и есть. Вся Россия в проселках, в полях, перелесках, болотах, лесах. — — Но были и эти иные, кои стосковались итти по болотным тропам, коим вздумалось Русь поднять на дыбы, пройти по болотам, шляхи поставить линейкой, оковаться гранитом, железом и сталью, прокляв заклятую избяную Русь, — и пошли... Иной раз проселки сходятся в шлях, — и по шляхам, по „шашам" по „чугункам" — с проселков — пришел, пошел по шашам, давно народом восславленный,— бунт, народная вольница, чтоб разгромить „чугунки" и „шляхи", и— чтоб разбиться о бетон и железо, о сталь городов, чтоб снова исчезнуть в проселках — как, навсегда ли?

Ша-ша! — —

По незнанью — называют мужики автомобиль: фуруфузом...

Не именами красить повести, — пусть „заправдашная ложь". — — Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В Рязани на Астраханской улице, в Коломне на Астраханской улице — у гостиниц Гавриловых-Громовых сорок лет назад заколотили окна, когда съела старый тракт Астраханский — Казанка. В Коломне — от заставы с орлами до заставы со звездами — две с половиной версты — коломенская верста: лихи были ямщики. Тракт даже не в ветлах, и не Астраханский, в сущности, а на все Поволжье махнул и полег. От Рязани до Коломны — на Москву — тракт полег по Поочью. Много страшных лет было в России: лето тысяча девятьсот двадцать первое было — страшное лето. От Рязани до Коломны тракт полег по лесам Чернореченским, по Зарайским болотам, — и в сером дыму был тракт от трав-брусник и лесов в лесных пожарах сгоравших. От тракта вправо свернуть — в деревню зарайскую, у Христа за раем-за пазухой — деревня Чертаново будет, — и нет деревни Чертановой: выгорел торф под деревней, в землю провалилась деревня, к чорту, как нижегородской губернии город Китеж, к чорту-с. Дым черный над Черноречьем. — — Тракт даже не в ветлах и не Астраханский: в проводах по столбам Третий Интернационал гремел, Коминтерн, в июле,— если вперед смотреть, в даль верст, в голубой дали верст черный возникнет заводский дым — Коломзавода, Гомзы, стали и бетона. И туда смотреть — с автомобиля,— не Астраханский: рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт

кроют в Москву в народные комиссариаты, на коллегии, избегая поездов в холере.

— Тра - трак - трак - тра, — автомобилья поступь. —

— От тракта вправо свернуть — зарайские земли, у Христа за раем — горы по Поочью и луга, как степи — Белоомутские луга, Дединовские луга — влево свернул Погост Расчислав — Расчиславские Горки... Трещать трактом мотору, ломать версты, ломаться мостами, — травить версты двоим шофферам, Пугину — что ли и Меринову, повстречать мотору заблудлую овцу: глупая овца, бежит напрямик, не сворачивает, — затравить мотором овцу, подшибить, кинуть в кузов, в Рязани делить краденое по-братски пополам и съесть с удовольствием. — — Меринов на праздник домой приходил в Расчиславские Горки, хозяйственный мужик; жена после чая в клеть повела, отдохнуть.

— Как дела?

— Аномнись за-то лиходеи какие-то овцу украли. —

— .. — —

— рассказ писать можно, как товарищ Меринов у товарища Пугина в городе Рязани вторую половину овцы, свою собственную, назад требовал. — —

— Тра-трак-трак-тра, — фуруфузья поступь.

— Третьим Интернационалом провода трубили по тракту — в Рязань.

— Третьим Интернационалом — в исполкомах — не застращаешь ребят.

...Телега на двух колесах называется — беда...

...А ходят путинами нашими — с песнями тихими, как наши путины, — иному те песни — тоска, живем мы и жили от них, через них, ими. Большак с Поволжья — шаша — небо, лес, перелески, поля, зной и пыль: пыль похожа на ш, зной же — как ж. Там, в хлебородных, в Самарской, в Саратовской весной в тот год перекопали озимые, и сгорели яровые так, что картошка в земле запеклась. Не беда, коль во ржи лебеда, пол беды, коль ни ржи, ни лебеды, а — беда, коли нет конятника. Июль юдоль нашу — славянскую, избяных обозов юдоль — вскрыл: конятник, которого не едят лошади, древесная кора, гончарная глина стоили в тот год деньги, потому что их ели люди, и Волга высохла в тот год так, что вброд ее переходили под Саратовом у Зеленого Острова. Избяные обозы по большакам — наше юдольное: солнце вставало в тот год в дыму и в дыму ложилось, был зной как ж, грозились крестьяне в неистовстве небесам господом-богом и кулаками, трясли иконами и жгли ведьм. И пошли избяные обозы по большакам: беда на двух колесах в пыли, над бедой шалашик, сзади плетенка с гусем, в оглоблях пара кляч, в шалашике скарб и детишки, — и скоро им появилось нарицательное — русские цыгане: ехали — куда глаза глядят, от голода, от смерти, ибо там, на Поволжьи, в Самарской, Саратовской, в Астраханской — был голод, ели землю. Ходят пути-

нами нашими с песнями, как наши путины. В Черноречьи горели леса, валились к чорту деревни, как Китежи, — ехали — куда глядят глаза. Бедяные обозы докатились к июлю в тот год до зарайских — за раем у Христа — земель...

Пыль — как ш — на шаше...

— Тра-трак-трак-тра, — автомобилья поступь.

— Третьим Интернационалом прозода трубили по тракту — в Рязань.

— Рязанские земли, Зарайские (у Христа за раем) сыты были: прожрали те зимы картошкой.

Голод. — Не нашим большакам рассказывать о голоде, нужде и зное. Там, в „хлебородной“, в каком-нибудь Курдюме, Нурлате или в каких-нибудь Курячьих Кучках — все погорело, до-тла, — ни людям, ни скотине нечего есть, картошка в земле спеклась, май прошел июлем, хлеба два пуда — лошадь, а домов пол села — пуд. Мужику нашему как дикарь, — сла-вя-ни-ну, — решаться, решиться, решить: — не впервой, чай, ходить по земле, кочевать, бегать. Решать день, решать два, всю жизнь гнувшему спину — без дела ходить, трогать землю — и рукой, и мыском лаптя (горячо босому ходи́ть по земле!), в небо смотреть, в степи смотреть, в избе часами сидеть перед миской с коровьим навозом (ели и такое), в закром, ясный как лысина, ходить на авось, — и решиться, решить.

— Надоть... ехать... жена, — жене впервые сказать ж е н а, а не Дунька, не сука, без зуботычины.

Сволакивать в беду все имущество — два одевала, перину, икону, топор, гуся, ребятишек, — в день перерезать, раздать, променять — корову, теленка, овцу: — день работать, шею ломать, как всегда, как всю жизнь. А к вечеру (обязательно к вечеру выехать надо!), когда все уже горой на беде, на улице, лошади склонили головы пред долгой путиной, а ворота настежь, — зайти п о с л е д н и й р а з в избу, взглянуть, как десятки лет, в красный угол — в пустой угол, ибо даже цари, генералы и дезертиры свернуты в трубку в беде, — не перекреститься даже, ибо пуст угол, — в армяке, в шапке, с рукавицами, — хлопнуть в раздумии кнутовищем себя по колену (кнут ведь вместо овса!), ткнуть кнутовищем — в раздумьи — в таракана, вздохнуть — и выйти шумно из избы, дверь оставив разинутой настежь.

— Ну, что же, трогай, жена, — а самому итти рядом, пешком, тысячи верст, — до могилы.

И — сначала ночные проселки, а потом большаки, — куда глаза глядят, без начала, без края... Не нашим большакам рассказывать о голоде, нужде, зное, как ж, и пыли, как ш, шаша... Тысячи верст: не впервые тысячам нам растворяться в тысячах верст, в голоде, в холоде, в темных делах, — ибо: кто приютит нас и где. — Шаша.

...Большак Астраханский лежит — как все русские большаки. Небо, да пыль, да истома. Да деревни, да села. Да мосты. Да холмы, да

речуги, да курганы. Если свернуть право — нету деревни Чертановой, если свернуть влево — Расчиславские Горки, сзади — Рязань, впереди — Москва, впереди — Коломзавод, заводский черный дым, — и туда смотреть — с автомобиля: рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт кроят в Москву в народные комиссариаты... И — ночь.— —

— Земля была камнем, вся в дыму, горели Чернореченские леса, не было отдыха даже в ночах, солнце вставало и садилось змием, огненным проклятьем, и сухие, жухлые восходы были мутны и пыльны, как стекла в пересыльной рязанской тюрьме. — — Грузовик старый — фуруфуз — травил тракт, как свинья с бегемота — в истерике, — подмазанная под хвостом скипидаром, — обгонял, шарахал русских цыган —в комиссариаты, в коллегии, ночью, жухлым июлем,—чтоб где-то у мостика в бревна мостика всадить колеса, чтоб видеть вдали зарево Коломзавода, а здесь у моста, в к наве — увидеть беду, пепел костра у беды, мужиков у костра, гидру ребячьих голов в одевале. Мужики любили, когда грузовик застрявал на мостах: — предгубком писал тогда записки в губисполком, и „губы" возрождали мост в сутки, а иначе он гнил бы годами. А у задней грядки грузовика сидел человек, конденсированная воля, коммунист, весь в заводской копоти революций, весь для того, чтобы мир построить линейкой и сталью. — Это он до крови у губ кричал Коминтерном по проводам — старым трактом — в Рязань, — это он устал от бессонниц и здесь у канавки, на мосту перед рассветом встретил — без митинга, тихо — русских цыган и холерных на скарбе, у повозки бедой называемой: — рассветами, пусть жухлыми, как окно в пересыльной рязанской тюрьме, надо думать и говорить тихо и верно... А шоффера — керосин продавали...

— Это откуда же вы?

— Из Симбирской губернии. Голод там, недостача. Лошадь, к примеру, два пуда зерном стоит, — нету травы...

— Та-ак... А куда же?

— Сами не знаем. Куда бог, к примеру, пошлет. Это какие, зато, будут места?

— Та-ак... Места эти будут рязанские, Зарайский уезд... Та-ак...

Что сказать, — что сказать на рассвете, когда там над Окой, над Белоомутом солнце встает, когда мир притихнул пред новым днем и росный рассвет пробирает лопатки холодком — ... там — впереди — черная сталь Коломзавода, заводов, машин, городов, — проклятие хлебу. — —

— ... а шоффера — керосин продавали. Америка строила „Уайт", чтоб ходить „Уайту" на бензине, Рязань пустила „Уайт" керосином, — а когда раздобылась Рязань бензином, шоффера заявили, что „Уайт" отучился ходить на бензине, ибо на бензин не давали картошки.— — Велика мать - Россия, чорт бы ее побрал. Шаша. — — Как рассказать—

всегдашний, единственный сон, — сон, где снится, что солнце выплавится в домне — недаром около домен пахнет серою, — что хлеб строят заводами, — и тогда во сне возникают — до боли четкие формы и формулы — завода, геометрически-правильные формы завода: — прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, — ночь, — только две краски — красная и белая, — ночь, и на небе круги огней; их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы стали треугольниками к кранам, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, — и там, на заводах: — пролетарий, геометрически-правильный и огромный, как формула... — — а шоффера — керосин продавали и жарили здесь, у моста на рассвете, картошку на сале бараньем, к жизни приладились, — и был тихий рассвет. Подошел мужиченко, шапку снял, поклонился по-рабьи, сказал:

— Места эти, значит, зарайские... На чаек с вашей милости не будет? — Мы так примерили, что вашу машину мы можем вытащить из моста на шашу, значить...

...Если свернуть от шоссе, проехать полем, перебраться вброд через Черную Речку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраги, пересечь село, потомиться в суходолах, снова лесом трястись по корягам, там на пароме — как триста лет назад — переплыть через Оку, проехать лугами по ивовым рощам, — то — там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой мураве — приедешь в Каданок, в Каданецкие болота. Здесь нету дорог. Здесь кричат дикие утки. Здесь пахнет тиной, торфом, болотным газом. Здесь живет тринадцать сестер-трясовиц-лихорадок. Здесь на песчаных островках буйно растут сосны, — у трясин тесно сошлись ольшаники, землю заткал вереск, — и по ночам, когда бродят тринадцать сестер-лихорадок, на болотцах, по воде бегают бесшумные, кежгущие, зеленые болотные огни, страшные огни, и тогда воздух пахнет серой, и безумеют в крике утки. Здесь нет ни троп, ни дорог, — здесь бродят волки, охотники да беспутники. Здесь можно завязнуть в трясине...

Отрывок второй, из главы „О предпосылках к повести“.

Мужики.

До легенд о Смутном Времени и после дней времени действия этой повести надо рассказывать о мужиках, об исторической — земного шара — этой легенде без истории, где во время действия повести, как и триста лет назад, пахали сохой, бороной боронили, а по веснам подвязывали за брюхо к потолку скотину, чтобы стояла, а жили на полатях, под полатями храня от холодов телят, и жили в жильях — даже не от каменного, но от деревянного века, и ставили свои жилья, как кочевники на ночь ставят обозы. Жили ничего не зная, — знали: —

— ...январь — году начало, зиме середка, — трещи-трещи, минули водокрещи, — дуй-не-дуй — не к рождеству, а к великодню. А все же: Афанасий да Кирилла забирают за рыло; Аксинья — полузимница-полухлебница, какова Аксинья, такова и весна; февраль — бокогрей, на сретение зима с летом встретилась; в апреле земля преет, теплом веет, апрель дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит, что будет; весенняя пора — поел да и со двора, прилетел кулик из заморья, принес весну из неволья. Ай, май, месяц май!— в мае дождь — будет рожь, май холодный — год хлебородный... Вечерняя заря позорилась ало — к ветрам...—

— ...больше ничего не знали,— родились, рождали, жили и умирали. Мужики били друг друга, баб, детей и скотину, — бабы били друг друга, детей, скотину — и мужиков, когда те напивались водки, таскали их тогда за бороды по сеням. Парни глушили девок, — „мимо гороха да мимо девки так не пройдешь"; девки защекотывали парней. Мужики платили подати, изредка мужиков и парней ловили, сдавали в солдаты, тогда они шли воевать, фельдфебеля бились над ними:

— Да што ты — русский, што ли?—

— Нет, мы зарайскии...

и фельдфебеля никаких „исторических предпосылок" дать не могли мужикам — исторической российской предпосылке . . . . . .

. . . .

...И —

опять м у ж и к и — —

...знали: —

— июль, август, сентябрь — ваторга, да после будет — мясовка. Холоден сентябрь да сыт: сиверко, да сытно. Август—собериха, в августе серпы греют, вода холодит. Авось — вся надежда наша, авось, небось, да третий как-нибудь,—на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни лягает, — русак на авось и взрос, — авось и рыбака толкает под бока, — авось велико слово — авось дурак, да дурь-то его умная, — авось небосю — брат родной . . . .

. . . .

...И еще без чисел и сроков, как в начале, как в конце — „историческая российская предпосылка":

...авось небосю — брат родной, и одиннадцатая заповедь (только для России) — не зевай, на бога надейся, но сам не плошай, —трудом праведным не наживешь палат каменных,—не пойманный—не вор, и вещь в России имеет два назначения — одно по ее смыслу и второе: быть к р а д е н н о й, и стыд не дым — глаза не выест, грех в орех — а зернышко в рот, и брань на вороту не виснет, и с поклонов шея не болит; — а если попался: была бы спина — будет вина, от сумы да от тюрьмы не отрекайся, ибо кто богу не грешен, царю не виноват? бог дал, бог и взял, — будь взяхой — будь и дахой, много звяхарей, мало дахарей, и скажи мне, гадина, сколько тебе дадено? ибо: „закон, что вышло,—куда повернул, туда и вышло"; а дома: люби жену как душу,

тряси ее как грушу,—пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет, курица не птица — баба не человек,—мужики дерутся врасходку, бабы всвалку,—баба с возу—кобыле легче,—собака умней бабы—на хозяина не лает; не тужи по бабе—бог девку даст,—мужик напьется—с барином дерется, проспится—свиньи боится: без вина правды не скажешь, и веселие Руси—пити...—

—историческая российская предпосылка, без чисел и сроков, в конце и начале, от дворян и попов—до мужиков, на десять человек—один: либо дурак, либо вор, каждый жулик, все матершинники. На коломенских землях можно было купить и продать: честь, совесть, мужчину, женщину, корову, собаку, место, право, девичество. На коломенских землях можно было замордовать, заушить: честь, совесть, ребенка, старика, право, любовь. На коломенских землях пили все: и водку, и денатурат, и палитуру, и бензин, и человечью кровь. На коломенских землях матершинили: во все,—в бога, в душу, в совесть, в печонку, селезенку, ствол, в богомать и мать просто, длинно, как коломенская верста. На коломенских землях молились: трем богам (отцу, сыну и духу), чорту, сорока великомученикам, десятку богоматерей, пудовым и семиточным свечам, начальству, деньгам, ведьмам, водяным, недостойным бабенкам, пьяным заборам. Вор, дурак-просто и Иванушка-дурачек, хам, холуй, смердяков, гоголевец, щедриновец, островский—и с ними юродивые-Христа-ради, Алеши Карамазовы, Иулиании Лазаревы, Серафимы Саровские—жили вместе, в тесноте, смраде, пьянстве, верили богу, чорту, начальству, сглазу, четырем ветрам, левой своей ноге,—и о них сказано Некрасовым, о коломенских землях:

Там он и молится, там он и верит,
Там он и мочится он там, и с . . . . .

Вот примерная биография каждого.—Родился или под тулупом в деревне („одевал“ в обиходе у мужиков не полагается), или под тряпкой из ситцевых лоскутьев (одевало), или в родильном отделении земской больницы, где в коридоре дренькал на балалайке дворник. Мать встала после родов на третий день и кормила грудью да жеваной баранкой в праздник два года, чтоб не заботиться о пище и чтоб самой не забеременеть вторым, избави бог (примета есть: коль кормишь грудью, не засеешься). Недели через три после рожденья он получил первый подзатыльник, а потом к годам семи познал все виды порок и истязаний, и кнутом, и камнем, и поленом, и ночи на морозе, и без хлеба сутки, и носом в собственный помет (за битого—двух небитых дают). Иной раз, лет с семи, его ведут в училище, но часто и в подпаски, и в мальчики в трактир, иль караулить кур и младших братьев,—он учится всю жизнь пословицей:—весь век учись, а дураком умрешь. Годам к пятнадцати он в совершенстве научился, где надо, шапку снять и поклониться в пояс. Годам к семнадцати пьяной бабе он отдал дев-

ственность (тогда, той ночью их было пятеро у ней), и пел под тальянку и под водку той ночью — тоской о̀ земь - о том, что:

Я у тяти пятая, у мила десятая, -
Ничего нас так не губит, как любовь проклятая!—

и если тогда, той ночью о̀ земь порыться у него за ребрами, где, по его понятиям, находится его душа (ребра той ночью были здорово помяты приятелями), то там найдешь и мелкое воровствишко, и предательство, и трусливый страшек перед миром и его злой непонятностью, и верное уже знание, что на земле надо голову к земле держать и помнить, что самое верное, если „моя хата с краю, — ничего не знаю“ и этакую добродушную русскую, ленивую жестокость — посмотреть, что будет с кошкой, если ее повесить за хвост на дерево?.. К девятнадцати годам он женился, тогда начинается жизнь, надо работать изо всех жил, чтобы скотину можно было великим постом держать, подвязывая к потолку веревкой, чтоб прокормить ребят, чтоб платить подати, — надо было работать и кланяться — всем и на всех, шапки можно было не иметь, ибо всем надо было — пред всеми — шапку ломать. В праздники — пироги, водка и битая жена и песня о̀ земь,— а в понедельник—тяжелый день — похмелье, когда лучше голову в петлю (и статистикой установлено было, что убивали больше всего в праздники, а вешались — по понедельникам). Так шло двадцать пят лет, подрастали сыновья (и били иной раз отцов и матерей за битое свое детство),—и приходила смерть. Хоронили на кладбище и ставили деревянный крест с надписью: „подъ симъ камнѣмъ похороненоъ тѣло“ и пр.,— если это было на сельском кладбище, новой весной в марте, когда выгоняют скот со дворов, телка, почесываясь о крест, уже подгнивший, валила его, и он валялся года два, — в городе же крест спокойно воровал кладбищенский сторож на топливо, — и еще через год даже сын не поминал и не помнил уже отчества отца, — но верно можно было сказать, что этот дважды был избит до полусмерти и в вечное упокоение ушел со сломанным ребром, что сам он — другому—сломал скулу, что трижды он был обманут так, что все надо было начинать вновь, однажды горел, однажды сидел в тюрьме за недоимки, дважды хворал или тифом, или холерой, или оспой, или скарлатиной, или волчанкой, или сифилисом, был в больнице и, выздоровев, страдал не от той болезни, которой хворал, а от пролежней. И еще можно сказать, что у каждого была своя чудь: один любил ловить птиц, другой гонял голубей, третий ложкарничал из любви к ложкам, четвертый, десятый, сотый (сотый любил сына пороть по субботам, сто первый переселился в баню, поняв, что весь мир от чорта, чтоб в бане оного чорта изучить),— о четвертом, о десятом, о сотом можно было сказать и подумать, что он потерял—в нем погиб—неплохой человеческий „талан“... Таланты в землях коломенских были к тому, чтоб гибнуть.—Вот и вся биография.— —...

Отрывок третий, из главы „О предпосылках к повести“.

...И другой—завод, в дыму, копоти, масле, стали, железе—Коломзавод. Коломенская верста — от заставы с орлами до заставы со звездами—две с половиной версты, широко жили, гнали с Астрахани, с Волги—оптом, гуртами—скотину, пшеницы, ржи, с окских барж перегруживали под Коломной (Коломна лежит на трех реках: на Оке, на Москве и Коломенке, три реки здесь вместе сливаются)—перегружали под Коломной с окских барж пуды и тюки на москворецкие, на Бобреневских лугах отгуливали скот; кичились пословицей:—„Коломна-городок — Москвы уголок“,—памятовали, как императрицу Екатерину верстой обманули (тогда и про версту в езде пословицу сложили, памятуя распутство царицыно), довольны были, когда император Николай I, ночь не спав от клопов, утром хмуро спросил:

— Чем занимаетесь?

Лосев ответил:

— Гуртами, царь-батюшка, скотом...

и император изрек, хлеб-соль принимая:

— То-то сами и есть, как скоты!.. —

знали, что у вдов купеческих-коломенских свой промысел был—на всю поволжскую Россию: в Симбирске, Самаре, Пензе, Царицыне, Вольске—держать публичные дома, собирать и рассовывать по ним коломенских и иных девок, а деток своих дома учить благонравию, мальчиков—в гимназии, а девочек дома. Город доминами белыми подпер к Москве-реке, жил крупитчато в Запрудах, в кремле, в Гончарах, щеголял пред Рязанью. Очень все интересовались узнать — откуда пошло слово К о л о м н а? — объясняли, что от прилагательного колымный — обильный, широкий, сытный; от римских патрициев Колоннов, ушедших в Скифию и поселившихся здесь (это толкование отразилось и в гербе коломенском, где на синем поле три звезды и колонна); от существительного каменоломня (недаром сами коломенцы рязанским наречием называют Коломну—Коломней); но толковали и так, будто Сергий Радонежский, проходя по Коломне строить Голутвин монастырь, попросил попить, а ему ответили колом по шее, и он объяснял потом:

— Я водицы попросил, а они колом мя.— —

Голутвин монастырь, на стрелке, где сливаются Ока и Москва, был заложен, правда, Сергием Радонежским, и там хранится его посошек, —и Коломна жила за пятью монастырями, в двадцати семи церквах, колымная, как коломенская пастила — сладкая. По Коломне проходил старый тракт Астраханский...

И съела Коломну, как старый тракт, — Казанка, разорила купцов, — а Коломзавод выпил последнюю коломенскую силу... В шестидесятых годах, в эманципацию, в эпоху романтического материализма или материалистического романтизма (что то же)—в весенние дни на Коломну наехали инженеры, мерили, планировали, ездили к просто-Ра-

стиславским в Расчисловы Горы, — потом ушли дальше, за Оку к Рязани. А за ними понаехали другие инженеры, и навалила шаромыжная гольтепа: — стали строить мосты через Москву и Оку, копать насыпи, прокладывать рельсы, жечь ночами костры, петь ночами песни, пугать жителей, воровать по деревням в погребушках молоко и сметану, цены ломать на базарах, гоняться за девками (отбивая доход у коломенских вдов), — своими костями бутить насыпи, крестами смертей метить путины рельс, орать на получках о недоданных пятаках... Потом и они ушли, оставив за собой тоску ночей, темных дел, ночного раздолья, буя, горя и радостей; Коломна одевалась в белое и красное, мужчины в рубахи до колен, женщины в сарафаны,—гольтепа была в черном, измазанная маслом и землей; Коломна была дебелой — эти сохли на насыпях и руки их тянулись до колен, отмотанные заступами; Коломна пела песни сквозь сон, жирные, как клопы,—эти пели так, что каждый раз надо было бросать шапку ỏ земь. Они ушли, за ними потянулись четыре полосы рельс, два моста через реки, кресты под насыпями, черные пепелища костров—и—

— и у Голутвина монастыря, у села Боброва—кузня, где собирались и сваривались мосты. Эта кузня и выросла в Коломзавод. Эта кузня—для Коломзавода — сохранила от шаромыжников — песни ỏ земь, скрежет железа, темные рассветы, костры, гудки, черные куртки в масле и копоти, руки до колен (которыми все возьмешь, и нет страшного—взять), иссохшие спины, неурочные огни в ночах, неурочные толпы неурочных людей. Эта кузня придавила монастырь к реке, заглушила его, заушила. Эта кузня потянула дома, перестроила их из камня в дерево, из Запрудья, из Гончаров — на Новую Стройку, в Митяево, к Боброву. Город запер ворота,—по шпалам, в вагонах потянулись в Москву—скотина, пшеницы, ржи, соль, гуртами, оптами,—тракт Астраханский замолк, зарос подорожником, подорожник порос и на коломенских улицах, дома олишаились мхом, купец позабыл про „Москвы уголок“, стал „вдовствовать“ с вдовами вместе... Завод стал мощный, один из великанов в России, вырос сталью, железом и камнем, огородился на сотню десятин заборами, математическая формула, трубы подперли небо, задымили в небо, динамо-машины кинули свет в ночи светлее солнца, сталь заскрежетала железом, завыли гудки,—завод стал—сталелитейный, машиностроительный, — там, за заводской стеной—дым, копоть, огонь,—шум, лязг, визг и скрип железа,—полумрак, электричество вместо солнца,—машина, допуски, калибры, вагранка, мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны,—горячие цеха,—и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка,—и при машине, за машиной, под машиной — рабочий, — машина в масле, машина — сталь, машина неумолима,—дым, копоть, огонь,—лязг, визг, вой и скрип железа... У завода возникли деревни, поселки, выселки, слободки; на завод потянулись местные, коломенские и зарайские

мужики; Парфентьево, Чанки, Щурово, Перочи — сменили соломенные крыши на железные, возле изб построили палисады, на рубахи надели жилеты, в жилетном кармане—часы. Но пришли и чужесторонние, гольтепа, шаромыжники, мартышки, в черных мастеровских куртках (среди них пришел и род Кожуховых), — эти селились под заводскими стенами, в бараках, по три семьи в одной каморке, жен брали тут же, жены беременели, дрались друг с другом, в общей печке варили похлебку— по будням — и в праздник—пирог, жены были всегда сухогруды и широкоживоты, жен эти часто меняли, делили, проигрывали в двадцать-одно,—эти жили всегда без потомства и рода, вымирали в одном поколении, — эти знали все заводы в России, от Уральских, Донецких до Питерских, до Тульского, всех мастеров, штейгеров и инженеров по имени,—среди этих были странные люди, иные говорили на многих языках, иные носили с собой дворянские паспорта, иные были без паспортов, все они пили и с новым запоем уходили на новый завод, они пели песнями о̀ земь,—в их бараках не водились даже клопы, но когда они наряжались, они не пускали рубах из-под жилета и тогда надевали шляпы, жен они никогда не брали с собой, жены жили с заводами... Как они возникали—они эти—у заводов, о их детстве, о их вчерашнем и завтрашнем — никто не знал,—им терять было нечего.— Мужики—те приходили на завод иначе, с „мальчиков", и сначала научались бегать перед дождем на квартиру к мастеру за калошами, с мастеровой супругой на базар, по понедельникам с похмелья рабочим— через забор, тайком — за водкой в кабак, учили их подзатыльниками, а учителя надо было поить по субботам—за подзатыльники и науку... Завод был каменный, мужичьи крыши перекрывались железом,—но к самому заводу, к заводским заборам подпирала жесточайшая, даже не деревянная, а тряпишная—нищета, в водке и в песнях о̀ земь.

Ока и Москва были древни, ветхозаветны: реки, небо, пески, сосны, болота, ржаные поля,—Голутвин монастырь выпирал в небо маковками и крестами, в древних бойницах к самой Москве, — и извечно-невеселыми русскими рассветами—тому, стоящему в поле, – страшно было смотреть на гиганта из стали, ставшего над водой из болота, подпершего небо трубами, изгорбившегося стеклянными спинами це ов, светящегося заревами печей,— на рассветах особенно сильно дымили трубы, кутали завод дымом, пахнул далеко в поля завод машинным маслом и серою, нехорошим, неземляным запахом,—на рассветах драли свои нутра гудки чортовым криком,—на рассветах из заводских ворот уходили поезда и ползли туда, чтоб привезти уголь и чугун, чтоб увезти сделанное из чугуна, угля и человечьего труда—увезти на шпалы железных дорог и по ним во все российские веси,—и тому, кто стоял в поле, волку или мужику, или коломчанину—было непонятно и страшно — —

—непонятно, страшно и ненужно было и Андрею Эрликсову, дворянину, растиславичу, инженеру,—знавшему, что— —

—если пробраться через Черную Речку, потомиться в суходолах, трястись лесом по корягам, сначала красным-сосновым, потом черным-осиновым, там—как триста лет назад—переплыть Оку на пороме, проехать по займищам, то—там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой мураве—приедешь в Каданецкие болота. Там нету дорог. Там кричат дикие утки. Там пахнет тиной, торфом, землей. Там живет тринадцать сестер-лихорадок. Там нет ни троп, ни дорог, там ничто не выверено,—там бродят волки, охотники и беспутники,—там можно завязнуть в трясине... Впрочем, об эрликсовщине—дальше——ибо Андрею Кожухову—не было страшно и было нужно, рабочему, пролетарию, русскому коммунисту,—ибо—

—как рассказать всегдашний, единственный сон,—сон, где снится, что солнце выплавлено в домне—недаром около домен пахнет серою, как в первый день творения,—что хлеб строят заводами,—и тогда во сне возникали до боли четкие формы и формулы—завода,—геометрически-правильные формы завода:—прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, ромбы,—ночь,—только две краски—красная и белая,—ночь, и на небе круги огней, ромбы светов, их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы треугольниками подпирают краны, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, они ломаются эллипсами,——и там, на заводах, за заборами, в цехах, у машин,—пролетарий, геометрически правильный и огромный, как формула...

И тому, иному, глядящему с поля,—было страшно. За заводом, Голутвина монастыря сливаются Ока с Москвою, по ним, по Москве Оке, пошла, заложилась Русь, государство российское... За Голутвиным монастырем, за Окой, над Окой—Щурово, ниже—Перочи, Дединово, Ловцы, Белоомут,—единовские, ловецкие, белоомутские заливные луга, поемы, займища, поокские дали и пустоши...

И—

опять мужики——

Отрывок четвертый, из главы „Мусор, который не укладывается в план повести, но который, все же, необходим пред тем, как приступить к развитию действа".

2. Инженер Андрей Эрликсов, его дневники и смерть.——

„1907 г.

„На масленой неделе в Коломне в кинематографе Люляева остановился зверинец. Я ходил туда. На базарной площади были карусели,

играли гармонисты, толпились около люди, гимназисты и гимназистки, мужики в тулупах, бабы в красных овчинах и в зеленых юбках. Тут же на двух столбах была единственная—и вечная—афиша о зверинце.

Проѣздомъ въ Городѣ остановился
ЗВѢРИНЕЦЪ
Разные дикіе звѣри подъ управленіемъ
ВАСИЛЬЯМСА.
А ТАКЪ ЖЕ
всемiрный ОБТИЧЕСКIЙ
обманъ ЖЕНЩИНА-ПАУКЪ.—

на афише были нарисованы — голова тигра, женщина-паук, медведь (стреляющий из пистолета) и акробат. В доме Люляева был когда-то общественный клуб, выступали заезжие фокусники, бродячие актеры и местные любители. На лестнице горело электричество, были развешаны картины зверей, тискались мальчишки, — в дверях стоял хозяин зверинца Васильямс, в матросской рубашке, никому не доверял получать деньги, мальчишек бил по загривкам, но иногда прозевывал счастливца и тогда тот сияя пролетал у него под локтем внутрь; лицо у Васильямса было доброе, с ним можно было торговаться за входную плату.—Там, где раньше сидела публика, наблюдавшая за фокусником, хлестнул по носу скипидарящий запах зверей, звериного пота. Здесь было целое сооружение, учиненное заново: по стенам стояли клетки с попугаями, орущими неистово,—с безмолвными филинами, немигающими и такими, как чучелы,—на пустой клетке было написано: „пингвинус"; серия ящиков занималась кроликами, очень похожими на тех, которых продают на базаре; в двух клетках сидели мартышки, в ящике в сено прятались морские свинки; в клетке, разделенной на десяток отделений, чирикали—щеглята, синицы, зяблики, гаечки, трясогузки, чижи; в круглой клетке сидел орел, совсем полинявший. Электричество светило неярко. В той комнате, где было фойэ, были большие клетки: в одной лежал медведь, — кривой, усталый, облезший, в войлоке; в другой—металось два шакала; тигра, нарисованного на афише, не было; но в углу, в медной клетке, плохо освещенной—был волк; волк был невелик, но стар и убог; клетка была маленькая; волк бегал по клетке; волк изучал клетку,—он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, но как машина, исчезая в тень клетки и возвращаясь в свет; потом он остановился, опустил голову, взглянул на людей понуро, устало, исподлобья—и тихо завыл, зевнул.

„И вот о волке. Я помню, как мне довелось на волчьей облаве, в лесу встретиться с волком с глазу на глаз: волк, показавшийся огромным, шел галопом, его голова была высоко вскинута, он был прекрасен,—он не видел меня, он шел свободно, и я помню ту дикую, звериную радость—не страх, только радость, и буйство,—когда я це-

лился в него, чтобы убить,—я ранил, волк остановился, недоумевая, вскинул голову и — ушел от меня тем же покойным, величественным галопом:—там волк был свободен, стихиен... Волк мне—пре-ая романтика России, наша русская, вьюжная, страшная,—но волк , в зверинце Васильямса, в клетке, ободранный, обобранный—›ренная стихия: его братья живут по лесам, воют, убивают, г, страшат, его братья свободны, и они—русские, ибо правят ими полями, лесами, ночами,—а он, облезший, ободранный—маят-я мается, след в след, движенье в движенье, как машина, в клетке...

— —

„Сегодня опять спас меня Андрей Кожухов—и опять так же, как ›лько уже раз. Ночь я не спал, заснул под утро, и меня разбудили ıь часов, когда выл гудок, еще не рассвело как следует, и каза-что воет — этим страшным, охрипшим, рвущимся из-под земли, м — гудом, воет моя комната, диван, стол, все, от него, от этого который пронизывает все, никуда не уйдешь. И чай от него был, зыпаренный веник. Таяло и бил весенний ветер, было серо. Рабо-уже прошли, когда я пришел на завод, и завод уже скрежетал, гудел, как всегда. Я думал о заводском гудке, о том, как мучи-ıы эти пять минут, когда он гудит,—но еще мучительней тот нт, когда он—сразу, жданно-неожиданно—стихает, тогда приходит ıьная—я не нахожу иного слова—могильная тишина, пустота, от ›ой хоть в воду. Я прошел, как всегда, на электростанцию, сидел нторке, наблюдал за работой, ходил к печам, там шутил с уголь-ми, расчиславскими девками, они просили помочь им тащить чик, я помог, не узнал их сначала, чумазых от угля. Потом я ел в машинное отделение,—паро-динамо пущено уже третий день, шин был Кожухов, у амперметров счетчики; в машинном, как а, было очень чисто, светло, тепло. Я помню, как с физически-ıаемым отвращением я посмотрел на маховик паро-динамо, огром-в несколько саженей, вращающийся беззвучно за решеткой, и...

Я очнулся, потому что меня за руку держал Андрей Кожухов, помню его фразу:—

— Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь,—

ı был совершенно спокоен; я помню, что первое, что я сделал, это—прислонился к плечу Кожухова, помню цвет синей блузы и запахи ıсла, махорки и пота; Кожухов был совершенно спокоен, в руке у го была масленка, и он отошел от меня к турбине. Мне было очень вестно перед ним, мне хотелось узнать, что было со мной, но спро-ть я постыдился. Я сказал:

— Спасибо, Андрей, вы зря беспокоились!

Он ничего не ответил, но я работать уже не мог. Была суббота, боты кончались в час. Я сказал, что иду в главную контору, и глав-ıми воротами прошел домой. Страшно хотелось спать. Я думаю

про Кожухова, мне все время хочется позвать его и спросить, что происходит со мной, он знает обо мне то, чего не знаю я,—и мне стыдно, хотя к нему у меня большая, почти детская нежность. В девятьсот пятом году у него убили брата, карательная экспедиция семеновцев, полковника Римана,—тогда он несколько недель скрывался в расчиславских лесах; была зима; однажды, проезжая вечером домой с завода, я встретил его на дороге, он меня узнал, я его окрикнул, но он поспешно свернул от меня и пошел в лес, он был похож на затравленного волка, шел устало, руки в карманы, голову вниз, в мастеровской куртке; лес уже чернел к ночи. В час загудел гудок, вновь затошнил мою душу, за окнами весело шли рабочие, спешили на поезд. Сейчас за мной придет лошадь. Надо кончать.

— —

Ездил на воскресенье домой, ходил на охоту за зайцами, бродил по лесу. Скоро уже весна, великий пост входит в свои права. После обеда крепко спал. Приходила Дарья, терлась на кухне, подкараулила меня одного, шепнула:

— Приходи вечером в сторожку, дома нетути никого.

Домашним сказал, что с вечера поеду на завод, Семена отпустил с полдороги и пошел к Дарье в сторожку, шел над Окой и думал, что вот это пооцкое безлюдье, эта тишина, эти наши поля, дали, перелески—и есть подлинное, подлинная жизнь, и надо не строить города, а заботиться о том, как бы их разрушить, уничтожить, чтоб жить просто, как рожь, как лес. Думал, что, если я когда-нибудь женюсь, то женюсь на такой, как Дарья.

Дарья встретила меня в новом ситце, веселая и заботливая; на столе стоял самовар, были селедка, баранки и полбутылки водки. Сели по-семейному ужинать, потом она стаскивала с меня валенки, разобрала постель, разделась, и в восемь часов мы легли спать. Иногла лицо ее и вся она меня мучила; лицо ее было почти кругло, кумачево-красно, с сизым румянцем, брови были густы, точно гусарские усы, черные, как смоль; глаза были тоже темны, но не черные, а зеленоватые, губы были огромные, мягкие и безвольные; от всей от нее одуряюще пахло всеми запахами ее лесного жилья, начиная от огурцов и кончая коровой, и вся она, невысокая, коренастая, была точно вытесана из булыжника — огромная грудь, огромный живот, огромная задница, огромные руки.

Утром она разбудила меня и отвезла до станции, я приехал на завод прямо к гудку. Смотрел с Протопоповской горы на завод, на эту страшную махину в сотни десятин (слово десятины как-то не подходит сюда), на частокол труб, на дым от них, на корпуса из камня, на кучу зданий, — все черное, коптящее, чужое. Слушал, как этот завод гудит стоном людей и железа. Потом, на станции, я понял, как этот завод дышит, продушен, задыхается — копотью, серой, огнем, сталью, человеческой, обескровленной жизнью... Мне стало страшно за тех ра-

бочих, что ехали со мной,—они бодро шутили, курили махорку, щелкали семечки, потом, когда „малашка“ (так называют рабочие свой поезд) стала, они весело побежали к заводским воротам, обгоняя друг друга, как телята весной на первом выгоне.

— —

Эти несколько дней были странными, страшными и кошмарными. Как рассказать о них? — у меня все путается в голове. Опять Андрей Кожухов оттащил меня от маховика, этот маховик—мой враг. И я попросил притти ко мне Кожухова, я сказал ему:

— Пожалуйста, Андрей, зайдите ко мне сегодня вечером, на квартиру, — и замялся, растерявшись, чем объяснить эту просьбу, не принятую в наших обычаях.

Он ответил, как все подчиненные:

— Слушаюсь.

Я сказал тогда ему:

— Нет,—я не знаю вашего отчества,—я прошу вас зайти по частному делу... Если хотите, я приду к вам...

— Мое отчество — Лукич. Нет, зачем же, я приду к вам. Я все понимаю, — сказал он, и тогда я не понял его.

После семи я прилег почитать газету и заснул,—и во сне я увидел себя и маховик, видел со стороны, с осязательной явственностью. Прежде всего я услышал гудок и — тишину, которая бывает после него, эту могильную пустоту, от которой — к чорту, головой о стену. Потом я увидел маховик, чистоту машинного отделения, тепло, свет утного дня (тепло, как свет и чистоту, я—не ощущал, а видел). И вот, аховика—я, я крадусь к маховику. Я вижу свои ощущения. Маховик меня гипнотизирует, я немею, я бессилен, я ничего не помню и ничего не могу сделать: перед моими глазами стальной, в масле, все время вращающийся, все время уходящий за решетку и все время приходящий из-за решетки, абсолютный в своих движениях, в своем движении — неподвижный, категорический, как смерть, бессильный в своем движении, бессильный не двигаться — маховик, только он, ничего нет в мире, кроме него. Я делаю шаг к решетке, мои движенья так же безвольны, как безвольно движение маховика. Я поднимаю ногу на решетку. Сталь маховика вот тут, в четверти аршина от моего лица, я слышу, как отбрасывается воздух, движение воздуха теплее, чем тепло в машинном, — я слышу, как посапывает маховик в своем движеньи, новые звуки, как в детстве запах своей же шинели, когда спрячешься в нее с головой.—Я закидываю вторую ногу на решетку, — и тогда возникает Андрей Кожухов, его рука властно снимает меня с решетки, и он говорит: — „Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь“, — но прежде чем опомниться, прежде чем проснуться, я вижу того волка, с которым я встретился когда-то на облаве, прекрасного, свободного волка, а сейчас же за ним волка в зверинце у Васильямса, в медной клетке, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг,

движенье в движенье, как маховик. Тогда я проснулся. Было темно и тихо, и в тишине было слышно, как капает капель, — и я подумал о том, как прекрасно, что великий пост развернулся, как прекрасна земля, — как несчастен я, оторванный от земли. В окно шел свет газового фонаря. Я посмотрел на часы, было десять.

Тогда постучали, я подумал, что пришел Кожухов, — но пришла Дарья. Мне почему-то было страшно видеть Кожухова, и я обрадовался Дарье. Я сказал:

— Вот и великий пост, дороги развозит, скоро и снег стает. Иди, ночуй, поставь самовар! Знаешь, раньше не было заводов, люди в Москву ездили на санях. Теперь распутица,—дома, стало быть, сидели бы, неделями, не спешили бы, и на все время хватало бы, и вот с тобой можно было бы полюбиться целую неделю под-ряд... Иди, раздевайся, ложись! Все чудесно. Чудесно, что ты пришла!

Она меня не поняла (да я и сам не понимал, как следует, что говорю), посмотрела строго, сказала:

— Ты что, пьяный, что ли?

— Нет, я не пьяный, — сказал я и понял, что видеть ее, быть с ней в ту минуту мне было самым дорогим, у меня закружилась голова— она была прекрасна.

Она всегда была домовитой, степенной, неспешащей. И я мучился, пока она ставила самовар, пила чай с блюдца, говорила о деревенских новостях, угощала меня своей сметаной и после чая пожелала еще селедки. От нее пахло ситцем, и потом, после чая, она аккуратно складывала этот ситец на стуле. Я потушил свет, только газовый фонарь бороздил пол. Дарья была степенна и в любви. В одиннадцать гудел гудок для ночной смены, шло стальное литье,—но мне не было страшно. К двенадцати Дарья заснула, я заглядывал в ее лицо, оно было покойно и — не знаю, прекрасно или отвратительно, губы, мягкие, как тесто в квашне, были открыты, и оттуда пахло луком. Раза два во сне она так чесалась, и мне было совершенно ясно, что мы не здесь, на заводе, в доме европейского образца, а где-то в каких-то пущах, в каких-то диких столетьях, в избе на курьих ножках, на вещем болоте, в сосновых дебрях, и сейчас заорет леший. И я—я не помню, в бреду или в яви — бредил, думал о себе, о моих делах, о заводе, о России. Я пробредил до тех пор, когда завыл гудок, и он мне показался в рассветной мгле—криком лешего, не страшным.

Я думал:

— Вот здесь, где теперь завод с двенадцатью тысячами рабочих жизней, с десятком огромных цехов, льющий, вытачивающий, собирающий тысячи паровозов, пароходы, дизеля, машины, завод, к которому из всех углов России идут поезда с углем, рудой, деревом, торфом, дровами, нефтью, который во все углы России разбрасывает свои паровозы, вагоны, инструментальные станки, завод, около которого живут в лачугах люди, потерявшие свой угол, свою родину, свою землю,

собравшиеся отовсюду, забывшие поле и лес и ширь наших далей, узнавшие только машину и расплавленную сталь, одинокие, несчастные, оборванные люди, — здесь, где этот завод, пятьдесят лет назад рос тихий лесок, текла Москва-река, пахал бобровский мужик свою долю, пел жаворонок, цвели васильки,—вот здесь, где теперь дым, копоть, лязг и вой железа, гудки, крик паровозов, толпы людей, небо в копоти и земля в железных опилках и нефти... Что принес этот завод, что принесли эти трубы в дыму и корпуса в саже? — первым делом—вот что:—бухгалтерский расчет, на заводе работает, это вот тут, двенадцать тысяч людей, пришедших сюда потому, что их прислало сюда горе, нищета, их выкинула иная жизнь, и статистика знает, что жизнь заводского рабочего тяжелой индустрии—от этих горячих цехов, от переутомления, от серного запаха, от завода, сокращается на целую четверть.

Дарья спала, в окно шел зеленый газовый свет, я склонился над Дарьей, и протягивая в темноту руку, защищая Дарью, говорил:

— Подумайте, жизнь сокращается на одну четверть,—жизнь рабочего,—то-есть, на три месяца в год, то-есть, на неделю в месяц, то-есть, на шесть часов в сутки; но на заводе работает двенадцать тысяч человечьих жизней, помножьте шесть на двенадцать тысяч—семьдесят две тысячи часов, три тысячи дней, десять лет, — десять лет человечьей жизни уносит каждый день завод. Машины заменили кровь огнем и маслом,—и машины мстят за это десятью годами человеческой радости, горести, всего, что дает единственное у человека — жизнь, — десятью годами в сутки. Но все же машина несет человечеству счастье, да?—волк в клетке у Васильямса—стал, как машина, счастлив ли он? Машина изобретает машину, и они освобождают человеческий труд?— я читал, когда в Лондоне было проведено по улицам электрическое освещение, тысяча фонарщиков осталась без куска хлеба, они проклинали это электричество—оно отняло у них хлеб! Машина родит машину, возникают города, железные дороги, заводы, фабрики, небо застилается трубами, дымом, небоскребами, земля асфальтится, травится известью и нефтью, — это несет счастье человеку? — едва ли.—Сотни тысяч, миллионы рабочих коротят свою жизнь заводами и машинами, люди мчат на поездах, не досыпают ночей, спешат, гонятся, не успевают, — лондонское электричество, освободив тысячу фонарщиков, семьсот из них отправило в небытие, а триста остальных придумали новое, стали рыть подземную дорогу, люди бросились сокращать свое время в эти подземки, а десятки тысяч извозчиков пошли с рукой, пока тысяча из них не придумала на станциях подземок устроить кабаки на повозках, тоже очень поспешные, а другие придумали кабарэ, а третьи изобретают новый фасон платьям,—а человеку надо и это новое платье, и это кабарэ, и проехаться по андерграунду, и у него нет времени подумать, нет времени прочитать толстую книгу, нет времени создать такое, чтобы жило столетье, — быт определяет сознанье, это верно, — и ему некогда любить, — за цивилизацией, за пятикопеечной газетчен-

кой, за воротничком возрождается дикарь, ничего не знающий, не имеющий времени узнать, не имеющий сил узнать всего, что наворотили машины. Проклят тот день, когда был изобретен пар и машина... Но вот, Россия...

И мне стало почему-то страшно жаль Дарью; она мирно спала, но мне было понятно, что Россия — это Дарья, вот эта вот, спящая, покойная, до которой, к счастью, еще не добралась машина, ибо машина кинула бы ее на завод, машина съела бы ее несложную мораль и этику, съела бы ее румянец, заставила бы ее толкать вагонетки с углем к печам, дышать копотью, остротами мастера,—потом мастер велел бы ей притти к нему на квартиру или в праздник за Оку в Луровский лес, и там бы она пошла по рукам, как ходят все заводские девки; и в этих вшивых бараках, где живут кучами, где нет и не может быть радости, где собралось человеческое отребье, она почла бы за счастье, что ее взял мастер, потому что это и бутылка водки—было бы счастьем. Она, Дарья, дремучая, покойная, страшноватая и прекрасная (все эти эпитеты я применил бы и к России) покойно спала, раскинувшись на спине, около меня. Было уже за полночь, когда с заводских дворов ночные рабочие увозят сор, привозят топливо, отвозят на главную линию изготовленные паровозы и машины, и за окном был шум, под окном все время бегал, посапывая и посвистывая, не давая отдыха даже в ночи, паровозик.

И я говорил спящей Дарье:

— Россия?—но ведь весь мир жил тысячелетья покойно, без железных дорог, машин, заводов, и был счастлив не меньше, чем теперь... Россия, мужичья, хлебопашеская, кононная, тихая, в жаворонках и песнях, и поверьях,—ведь она жила так тысячелетье. Мужик пахал землю, не спешил, был перед богом и солнцем, — был под солнцем, шел по зеленой мураве с сохой, пел прекрасные свои песни, и в Москву ездили раз в году и неделями, и сказы слушали неделями, и любили прекрасно, и тогда было счастье, тогда была духовная жизнь,—и ветры, и землю, и небо, и непогодь — знали,—и прибавилось ли счастье, что вот изобрели сыр, которого мужики и до сих пор не могут нюхать, и паровоз, от которого не зря шарахаются лошади, ибо он их убьет, а люди к которому подходят, как к чумовому, крестясь, и кабарэ, где позорится прекраснейшее человеческое — любовь?.. Вот, пришел этот наш завод, и забываются старые песни, шинков стало сотни, дети у рабочих не родятся, они вымирают в первом поколении, у каждого рабочего по три любовницы, и каждая работница—проститутка, и вечером все перекрестки гудят похабными частушками...

Дарья проснулась задолго до гудка, поставила самовар, попила чаю и ушла. Я сказал ей, прощаясь:

— Знаешь, Дарья, ты самый дорогой мне человек. Не забывай меня!

Она почему-то обиделась, ответила:

— Все шутки шутите, и ночью бормотали на-смех, что на заводе людей убивают!.. и еще, будто я просекушка, с мастером. Я все поняла. А на завод я, все равно, поступлю, в уборщицы!

Я стал ей растолковывать, что она ничего не поняла, что мне жаль ее, что она прекрасный мой образ; она и тут ничего не поняла, но подобрела, ухмыльнулась, сказала:

— Ну, ладно-к, приду ушь, завтра на базар поеду и приду.

Гудок мне не был страшен. Я прошел прямо в машинное, на электростанцию, к динамо. Маховик все время приходил из-за решетки и все время уходил за нее, маховик посапывал,—ничего необыкновенного не было. Я был очень возбужден, ходил по машинному, приказывал, просмотрел вторую турбину, спускался в котельное отделение, наблюдал за новой немецкой установкой,— —а потом...

Меня встретил инженер Садыкер, сказал мне:—На вас лица нет, что с вами?—и вдруг мне понадобился—я не знаю почему—Кожухов. Я прошел в машинное, Кожухова там не было. Я спросил, где он, мне сказали, что он не приходил, я послал конторского мальчика к нему на квартиру, спросить, почему он не был вчера у меня и когда зайдет? Мальчишка вернулся, недоумелый, сказал, что около дома Кожухова полиция, никого не пускают и чуть-чуть не задержали его, мальчишку. Я заволновался. Тогда второй монтер, таинственно улыбаясь, спросил меня:

— Он вам, Андрей Егорович, по какому делу?

Я ответил:

— Он хотел вчера зайти ко мне, чтобы потолковать кое о каких вопросах.

Монтер сказал:

— Он провалился, вчера у него был обыск, его и здесь ищут. Я увижу его в обед, скажу. Не волнуйтесь, он человек твердый. Не выдаст.

— Скажите ему, чтобы он обязательно пришел ко мне. Я его жду.

— Хорошо, товарищ,—сказал монтер и улыбнулся очень хорошо.

Я его не понял, но я вообще ничего не понимал. Опять пришел Садыкер и с ним Брио. Садыкер заговорил:

— Я виделся сейчас с директором, он советует вам пойти домой, выспаться, а потом съездить в Москву, повеселиться и побывать у врача. На вас лица нет. Вы переутомились. Что с вами? Нельзя так много работать. Приходите вечером ко мне, поухаживайте за нашими дамами... В Москву, в Москву, к доктору!

Я помню, на меня напала злоба, неизвестно почему. Я крикнул:

— Оставьте меня в покое! Я никого не трогаю! Я гоню пот, убиваю людей, чтоб их силой дополнить тепловую энергию угля и их жизнью нагонять вольты! Я—честный инженер. Оставьте меня, к чорту нравоучения! —

Тогда все пошло в туман, в этом тумане—последнее, что я помню—это то, что коллеги на меня не рассердились, Садыкер взял меня за руки...

Я очнулся дома, был вечер, тишина, мрак. Я протянул руку к столику, чтобы взять папиросу, папирос на обычном месте не было. Я повернул включитель, и—вместе со светом—вошел в комнату Кожухов.

Он сказал:

— Простите, я не мог вчера притти. Вы меня звали, Андрей Юрьевич. По какому делу?

— У вас был обыск, Андрей Лукич, вас ищет полиция? Почему?

— Я социал-демократ, большевик. Меня кто-то выдал. Я у вас на кухне уже с обеда, здесь не холодно. Вам, Андрей Юрьевич, я посоветовал бы в больницу,—у вас...

— Нет, подождите, Андрей Лукич! Вы—большевик?—вы за машинизацию мира?

— Мы хотим...

— Нет, погодите. Когда в Лондоне было проведено электричество, завоевание цивилизации, тысяча лондонских фонарщиков осталась без труда, была выброшена в смерть. У нас на заводе каждые сутки жизни завода съедают десять лет человеческой жизни. Машины мстят. Мир дичает, все спешат, бегут, мчатся. Вы слыхали о предстательной железе в человеческом организме, она все время раздражена, человечество в дыму машин, в копоти, в моральной грязи, в недоученности,—живет, как насекомое в банке с кислородом, удваивая, утраивая свою поспешность, точно в кинематографе, когда демонстратор спешит...

Кожухов меня покойно перебил:

— Совершенно верно, Андрей Юрьевич,—это капитализм. Совершенно верно,—лондонские фонарщики пошли голодать. Но наша цель—вовсе не машины ради машин, — мы хотим освободить человеческий труд, — это социализм. Прибавилось ли или убавилось объективных ценностей от того, что тысяча людей заменена электричеством? — прибавилось, ибо эта тысяча может создавать новые ценности. Капитализм их выбросил за борт, мы дадим им новый труд, по их призванию,—а, если им не подыщется труда, то мы накормим их за счет тех ценностей, кои создала машина, и то, что они будут свободны,—это и есть основная цель социализма... Но до этого еще очень далеко. Пока я вот, как затравленный волк, сижу у вас в кухне, чтобы не мерзнуть, а ночью, когда будут все спать, пойду попрощаться с матерью и уйду отсюда навсегда,—а вы...

Я его перебил:

— Как затравленный волк,—говорите вы? А вы видели волка в клетке у Васильямса?—ведь это никто не выдумает: волк у Васильямса!—Он бегает по клетке, как машина. А наш мужик?—а васильки?—а Дарья?—а наши болота?—а ведьмы?

Кожухов сказал:

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Успокойтесь.

Я крикнул:

— А наша национальная душа?—А Дарья?

И тогда получилась ерунда.

— Я здесь, барин,—сказала из-за двери Дарья.—Я с обеда вас дожидаюсь, как уговаривались... Андрюшка, слышь, Кожухов, не серди барина! Ступай в куфню! Я к вам, барин,—в конторе на заводе уборщиц нанимают, определите...

Я крикнул:

— Дарья, Дарьюшка, милая! Тебя они погубят. Ты одна осталась у меня, Россия, пойди сюда, сядь со мной, я обниму... Андрей Лукич, не уходите. Я буду около вас плакать. Кожухов, вы несколько раз спасали мне жизнь—около маховика,—я не боюсь его больше. Но Дарью он съест,—маховик—это мистика машины, это смерть васильку, это смерть Дарье!

— Я пойду позвоню доктору,—сказал Кожухов,—вы плачете,—где у вас телефон?..

Опять из главы „О мусоре", из дневника Ольги Юрьевны, рожденной Эрликсовой.

...Раз в марте, когда уже отходила зима, вечером я получила с завода извещение, черное, страшно-жуткое,—мой единственный брат, любимый, близкий, покончил с жизнью. Он бросился под машину, и его раздавил маховик, и это не было случайностью, потому что он и до этого все время изучал этот маховик... Все окружающее стало диким, нелепым, давящим, как кошмар, не дававшим мне покоя ни днем, ни ночью. Умница, чуткий и впечатлительный, он не перенес жуткого затишья после грозы. Его привезли на другой день,—его нельзя было узнать, это был окровавленный мешок костей... Как раз в тот вечер, когда принесли письмо, прилетели грачи и всю ночь кричали на ветвях, устраиваясь жить,—эти черные птицы...

Друг мой, единственный друг мой! мне не хочется говорить аллегориями. Пятый год—это поэма, прекрасная поэма о человеческом праве, как евангелие—поэма о человеческой любви. И он не прошел для меня даром. Мне смешны были дамы „просто и во всех отношениях приятные", но я почувствовала, что и я имею право делать свою жизнь так, как я хочу, как это надо мне и моим детям, а дочери моей уже пятнадцать и мне сорок...

Отрывок пятый, из главы „О мусоре".

4. Рабочий Андрей Кожухов.

1905 год.

За Окой у Щурова начинались Чернореченские леса,—мальчишкой бегал туда собирать маслята... Вот неделю назад, там, в ночи, в снегу,

в морозе — собрались в сторожке, чтобы — попрощаться. Лес стоял тогда глухой, черный, чужой.

Из-за Москвы-реки, через мост идет железная дорога, — это по ней приехал отряд семеновцев под командой Римана: были сумерки, мальчишки катались около театра с горы на льдянках, они первые увидели поезд, идущий бесшумно от Коломны, и Николашка Кожухов первый погиб — там у театра — от пули из винтовки, от случайного залпа, — Николашка, брат, который только после смерти осознался Кожуховым, Николаем. Потом у заводской стены, у той, что к Голутвину монастырю, не успевали рыть ям — татары - землекопы—и в них валили рабочих, так, как убивали, в чем убивали, скрюченных, в одних рубашках, в ватных куртченках. Снег падал каждый день и иной раз кружила поземка. Завод молчал, случайно-забытые горели фонари.

Было часов восемь вечера. Андрей Кожухов, монтер,—он неделю прожил в лесу, в снегу, иногда ночами он выходил к опушке и, как волк, смотрел оттуда на огни завода,—он вышел к переезду, прошел мимо станции (шарахнулась от него баба, а потом догнала, остановила, спросила шопотом: — „Да нешто ты не убитый? — ведь всех ваших закопали!“). Горка, где всегда мальчишки катались на льдянках, засыпалась снегом, спустился по ней. Здесь убили брата Николая, одиннадцати лет от роду, — никаких следов на снегу не было. Прошел на рабочий поселок за театром, подошел к своему дому, недолго смотрел в окошко и вошел в калитку, в дом, — там снял шапку, дома была только мать, и она не сумела сразу встать со скамьи.

— Я пришел попрощаться, мать. Прощай, ухожу надолго, может навсегда... Когда свидимся?—Поклон передай всем. Не тужи обо мне, не пропаду, не умру.

Он был в рабочей куртке до колен, в валенках, стоял опустив голову, сказал эти слова покойно и быстро, точно затверженные,—так его запомнила мать. Надел шапку, насунул ее на лоб и вышел.

Он прежней дорогой спустился к переезду, прошел мимо станции,—опять его встречали прохожие,—через полчаса к его матери нагрянула полиция, — никто не знал, что он всю ночь просидел на пне, на том самом, около которого играл мальчишкой, на опушке леса, откуда видны заводские фонари, — что всю ту ночь он чувствовал себя поистине волком, — но вглубь леса не пошел, не пошел к сторожке, потому что не знал — воют ли в лесу настоящие волки, или это поют в сторожке казаки.

Это было 24 декабря 1905 года. Но тогда Андрей Кожухов никуда не уехал. Через два года так же стоял он перед матерью, и тогда, правда, бежал—от России, вон из России, — в Англию. Он вернулся оттуда летом 1917 года. У статистика Алексея Михайловича Комарова сохранился лоскутик письма Кожухова, снятый с молочной крынки.

„1917.

„...сейчас утро, воскресенье, и меня разбудил колокольный звон, обедне, что ли. Я приехал вчера, и мне рассказывали: — в городе пожарном депо, лежит убитый „бандит-большевик“ Гришка Шпак, ароду его показывают за два рубля с каждого, при нем лежат его ва когана и топор,—весной убили Митьку Громова, Шпакова коллегу, ık того показывали бесплатно, — а третий их компаньен ищи ходить“. чера бродил по Коломне, тишь глубокая, тишина вековая, безмолвие, Кремль, как гнилой рот зубами, полон соборами и церквенками. Заэд молчит, заводов у нас нет, у нас только боговы церквенки, и вот йчас они звонят.

Вы простите, что так начинаю я письмо: знаю, у всех, кто люит Россию, болью большой она,—у нас колокольни вместо заводов,— эг, чорт бы его побрал, не берет их на небо, они колоколят, как при аре Горохе. От этой тишины, что кругом, страшно, к чорту, надо, адо, чтоб Россия шумела машиной. И — нам не сидеть, сложа руки. быватель идет, ползет, испугался, распоясался хамом. Утром вышел ı задворки и сразу попал в места, где скошенная рожь торчит, как эрчала она при царе Алексее, триста лет назад, культура здесь не эчевала, здесь пахнет дичью и слезами. В поле единственное культрное начинание—коровьи кучи, удобрение, помощь мужику...

(Продолжение следует.)

Очередная задача.

Всеволод Иванов.

Рассказ.

Глава первая.

Газетный корреспондент Никифоров несколько сантиментален: советская пресса похожа на протокол, и человеку с хорошей фантазией здесь скучно, а когда нельзя излить фантазию на бумагу — она затопляет сердце. Он полагает — из-за зеркальных стекол магазинов, кафе, контор — жизнь улицы похожа на живопись. Нищим на картине не подают.

От таких мыслей кажется, что вагон-ресторан отходит медленнее других вагонов. Нищие остаются с протянутой рукой.

Мимо нищих бесстрастно мчится, нагнувшись над мутной пивной бутылкой, председатель треста Шнуров; пиво в стекле цвета полей! Шнуров рассказывает корреспонденту, как он хочет электрифицировать Днепровские пороги. Мотая в руках какую-то папку, он говорит резко!

— Для успеха планов необходимо, чтоб ВСНХ и СТО имели мужество... товарищ, запиши... —

Сам он походит на отвергнутый доклад: в растрепанных белобрысых волосах (такими нитками скрепляют неумело бумаги), словно красным карандашом зачеркнут его рот. Такие рты встречал корреспондент у девственников (наблюдение это—тоже от сантиментальности).

— Он женат?—спросил своего соседа корреспондент.

Шнуров вдруг выставил локоть, и плоскость его руки стала похожей на папку. А над локтем, неумело сгибая толстое тело, украшенное жемчужной запонкой, электрификацию прервали сахарные поставки, какие-то кардоленты, приводные ремни.

— Об этом после, гражданин Моштаков...

— Мы тремя словами договоримся, Павел Семеныч, мы на следующей станции сгружаемся. Хлеб везем в ваши заводы, бастуевцам...

— Надоели вы мне!..

Поставки были преисполнены сладострастия — и если окунать сладострастие в прорубь!.. Поставки объясняют корреспонденту, почему им не годится простуживаться в трестовой проруби:

— Наше знакомство с Павлом Семенычем—к отдаленнейшим временам... я—к тому, что слушать об электрификации мне все известно: мы же на все тресты хлеб и сахар способствуем,—а тут минутка...

Сосед корреспондента шелестяще смеется. У него горб на неимоверно длинных ногах (такие гвозди называются расшпилями), расстегнутый ворот его рубахи наполнен мутно-загорелой, но все же кожей, наполненной такой желтизной, какой цветут старинные бумаги. Он прокурор Пензы, а укоммунистил его Шнуров (достойную историю этого приплюснутого консисторского писца мы опубликуем позже).

— Моштаков-то? — презрительно шелестит он корреспонденту: — они с ним, как же, давние встречники. Я тебе сейчас обвиню их и оправдаю! Значит, было, парень, так...

Глава вторая.

Осьмнадцатый год может походить на суму, отнятую у нищего. Небо—удлиненное из голодного серого холста, и, как вошь на лямках, на сером шоссе—одинокие пустые телеги.

И как кирпичная голодная телега—большой дом губисполкома. Незнающим русский язык можно бы рассказать—с таким ревом и в такой тесноте мчатся со свадьбы телеги, кирпичные телеги губисполкомов.

Проходы, лестницы и коридоры замазаны людьми, пол заклеен истрепанной кожей сапог. Рукавицы, ногти цвета чернильниц, пальцы, завернутые в полушалки—делегаты требуют удостоверений, пропусков, продовольственных карточек огромных, как шали. Лестницы пропитаны руганью в кровь и в бога. Стальные перья от холода тонут, стынут в чернилах, канцелярист плюет в чернильницу — „кровушки бы своей туды"—шепчет ему под ухом какая-то баба, он даже не оборачивается.

И только в кабинете председателя не для того ли, чтоб осуществить)—ковры, широкий, как ворота, камин и с таким усилием тисненая мебель, будто не узоры, а сердце—все напоминает, орет о дешевой славной пище. На коврах, похоже, делегаты становятся смелее, напоминают предисполкому Пензы — осуществить и накормить. Предисполком—губы у него уже бровей—кричит в телефон: „губпродком! Удовлетворить немедленно делегатов!". Каких — он не помнит; почему не помнит? — Мандаты больше российских снежных полей, надо быть Икарем, чтоб запомнить эти одинокие верстовые столбы, похожие на славянские буквы. Предгубпродком посылает делегации обратно, и — удивительно, почему ни в одной улице не заблудятся с тоски у дощатых заборов? Они идут, идут—подобно некогда ходокам, в пустынях

Сибири отыскивавшим хлеба и земли! (Одни только телефонные барышни знают правду: хлеба в городе много! В телефон все время беспечный голос предисполкома Шнурова приказывает—выдать делегатам немедленно хлеб. А телефонные барышни получают осьмушку, они хотят плакать,—но рядом машина—и они говорят: „позвонила".)

Рядом у стола — представитель железнодорожников, беспомощно щупая красное сукно (он даже не думает о флаге); представители кооперативов, домкомбедов; начэвак. Шнуров шалеет от звонков, шума и топота,—временами кажется—комната в грузовике мчится по паркету, сейчас влетит в зал с белыми колоннами.

— Товарищи, прочное доверие рабочего класса необходимо оправдать... доставайте же, чорт бы драл, хлеба!..

— Денег, товарищ! Финотдел, банк — пусты. Закупить, товарищ Шнуров, не на что. Нетрудно понять...

— Займите! Совещание надо создать...

Мужик, тычась животом в угол стола, вновь заговорил о лошади, застреленной красногвардейцами; он показывал, как он успел лишь сдернуть узду, иначе и его убили бы. „Спасобие б",—хрипел он. Голос его был словно в телефоне. И точно—кто-то со звоном рвался в телефон, никто не торопился к аппарату.

— Едва ли нужно доказывать...—сам не слушая себя, начал говорить предисполком, но его, и даже шум в коридоре, остановил другой (сухой, размеренный, желтый, как костяшки на счетах) голос:

— Разрешите, граждане, пройти.

С начала революции, наверное, не бывало в кабинете таких начищенных сапог, и едва ли до конца революции город увидит так уверенно-выпяченную, так добросовестнейше-сшитую грудь. Все нежные голубые цвета шинели графа Татищева были в волосах и глазах сопровождавшей его дочери Верочки. Он передает ей палку, раскидывает полы шинели и в пустое пространство (где только два черные солнца—сапоги) меж пол—сквозь бесчисленные этажи и бесчисленных людей—в землю глядя, говорит:

— Видите ли, гражданин председатель,—мои заслуги в японскую и китайскую войну, конечно, известны вам, хотя вы и не интересуетесь военным делом. Защищая отечество, я приобрел за заслуги свои соразмерную небольшим моим потребностям пенсию, каковую никакое правительство не отказывалось платить. Прихожу сегодня в казначейство, а там говорят — не дадим, нужна, говорят, резолюция председателя. У меня на руках дочь, я же...

— Сколько вам платили?

— Последнее время—триста рублей.

Председатель, как на удочку — на пенсионную книжку голубой шинели из белого коридора — рабочего. У того даже шапка искусственного мерлушка свалилась от быстроты.

— Вам чего, товарищ?

— Мне, понимаешь, на бирже говорят... ты, говорят, вот прямо сыпь...

— Безработный, товарищ? Губисполком ничего сделать не может, ужно в профсоюз, а между прочим на прожитье сколько надо, ну?.. ятьдесят достаточно?

И тут же, не ожидая ответа, у плеча крестьянина:

— А тебе, дядя, сколько на лошадь?..

— Мне-та... лошадь-та, да такую лошадь ирбитских помесей, таку ошадь целовать жалко, а тут хлопнули... дай двести, ну дай хоть двести...

Книжка от двух этих—под нос генерала и негодующе по воздуху итационно синим кругом:

— Товарищи, рабочий проживет два месяца, крестьянин приобрет лошадь... Господству буржуазии и аристократов—кабала!.. Читайте, ажданин.

Гражданин в голубой шинели потерял карман с очками; дочь о, Верочка, читает через плечо — „отказать... предисп. Шнуров" — где-то видит ошибку, а какие буквы—не поймет.

Делегаты хохочут им вслед, хохочет ничего не понявший голодый коридор (отголосок хохота на лестнице, и старуха крестится: „хлеб ивезли!"). Но дальше за старухой—топот уставших ног, детский или вичий крик и хриплые вопли, зазвенела по лестнице падающая винвка, через крики поверх всех чье-то „бей, крой их!".

Предисполком, опрокидывая мандаты, — в опустевший коридор: лестницы солдат восторженно хохотал пред другим и не замечал, о тот в зеркале.

— Ты что?..

Солдат тихонько толкнул его в плечо:

— Генерала бьют, хлеб, сказывают, отказался... пересидим, скать, хлебу тысчи пудов!..—и вниз по лестнице:—крой их, сук!..

Предисполком — весь свой голос вдоль лестницы (ах, не такие врища сгорают, стаптываются в пожары!):

— Товарищи, куда вы, товарищи!..

В дверях мелькает смятый караул, голубую шинель генерала вой нщин встречает на крыльце.

Через залу, где белые колонны — как сахарные головы, Шнуров утился на балконе. Дверная ручка, мягкая, как рот, а рот не расыть, как дверную ручку—все же:

— О-а-рищщи...

Уже лоб генерала прикрыт на мгновение ударом потрескавшегося вно из земли кулака. Шнуров кричит громче, для чего-то прикры за собой балкон:

— Оарищи!.. Хлеб!..

И тут во внезапной тишине, нагибаясь через перила балкона—неожко смешно и жутко глядеть вниз на толпу, на лица, одно мгноие наполнившиеся румянцем последней крови:

— Граждане, вы мешаете работать революционным органам народа... да... Сейчас получена телеграмма: из Москвы под конвоем нашей красной гвардии вышло... вчера еще, утром... четыре состава с продовольствием. Самое большое через два дня будут здесь. Отпустите граждан, слух об них ложный... провокация!

Толпа расходилась.

Он прислонился к двери, и мерзлое стекло было все в поту. А за дверью голубоглазая и голубо-ресничная девушка жала его руку.

— Спасибо... вы спасли...

И тут он вспомнил голубую ленточку глаз, отдаленно мелькнувшую в его памяти, когда она вошла раньше с отцом. Мартом семнадцатого года (он выходил с другими политическими из тюрьмы) она жала ему руки и „со свободой"—подарила цветы. Она была первой женщиной,— о них он много думал в тюрьме, — пожала руки, исчезла. Революция отучила от многих тюремных помыслов. Он морщится и мотает головой — там текучая теплая боль. Все же рука у ней мягкая и полная пахучего огня,—как маленькие, только из печи, хлебцы.

— А это правда, что идет хлеб?

Шнуров вспоминает, передергивается. Она отходит.

— Идет, гражданка.

И под топоток привыкших к белоколонному паркету каблучков:

— Слава богу, слава богу...

Глава третья.

У предгубсовнархоза товарища Наумова длинные, мягкие, тонкие, рыжеватые, с золотистым отливом волосы; он воздержен в речах, любит степенную музыку, звуки органов и звон колоколов. Здесь же заявил резко, в потолок:

— Заниматься демагогией — преступление... обещать населению хлеб, когда его заведомо не может быть, — позорно! Денег взять неоткуда,—бунта хотите?

Единственный анархист в пленуме президиума, Ерошин,—имел вид крестьянский; у него синие с миндалевидным разрезом глаза—умеренная страсть, очаровывающая и пленяющая:

— Вырезать буржуя, — сказал он восхитительной крестьянской скороговоркой:—черным террором их, голубей, — а там поделить все...

Представитель солдатской секции с короткими толстыми мясистыми руками. Слова его сжатые, как ручные гранаты или как его руки.

— В настоящее время, в соответствии с общими потребностями революции, хлеб необходим армии. Линия уравнительности преступна, защита революции—на штыках.

Таковы были начала речей пленума.

Собрание твердеет, делается угловатее. Пленум волнуется, звонок визжит. Последняя контрибуция, собранная на прошлой неделе, дала

юловину. Банк и казначейство пустуют, товары в кооперативах давно ›бменены. Промчавшийся в начале недели эшелон с братвой захватил ›статки продовольствия—вместо своих вагонов со снарядами прицепил ıродгрузы. С пути на телеграммы ответил: „снаряды найдем, а хлеб ıа дороге не валяется".

В перерыве из милиции звонят, что за городом какой-то митинг.)т тюремного комитета поступает заявление: „ввиду повального голода бъявить нам амнистию".

А в голове Шнурова неумолкающая тяжесть, переходящая в руки ноги какой-то сожженной дрожью. Рядом Наумов предлагает полуıутя-полусерьезно завсоцобезу организовать из богоделен отряды по бору милостыни. Завсоцобез—врач-кавказец, огромный, грудастый ластолюбиво твердит:

— Выхожу из кабинета, а она мерзлая стоит в коридоре, притом, ротив меня и мертвой рукой тянет... На-а! вот тебе святые родители, ı последних часах картошку выменял—сплошь вырвало... физиологиıски-то объясни мне?

Шнурову кажется—в перерыве говорят не об этом, могут забыть— ıкретарь строчит так упорно, словно дописывает конец голода. Разум воля, которыми присутствующие здесь одарены, как чернозем роıдением, требуют ли записей? Он с такой силой, что болит поясница, ıонит к продолжению:

— Из всего сказанного, товарищи, вытекает, что нет готового ıганизационного рецепта, охватывающего все случаи взаимоотношеıй между передовым авангардом революции и—народом. В этой ıласти необходимы творчество, инициатива, личные и организационıе комбинации, отвечающие конкретным условиям обстановки. Нужен еб, иначе бунт неизбежен. Сберем последние крохи его, я говорю не квально, а о том хлебе, который имеется в руках буржуазии в тверм денежном эквиваленте. На прошлой неделе мы собрали контриции пятьдесят тысяч, сейчас кооперативы и продорганы требуют лтораста...

— Ерунда,—возразил Наумов:—из пятидесяти, положим, мы соали двадцать... да и то...

— ...В этих условиях должен исчезнуть самый вопрос о возможıсти или невозможности, ибо... имеется предложение наложить на ıржуазию города Пензы и окрестностей чрезвычайную контрибуцию ıолтораста тысяч рублей...

— Двести, все равно лопнем,—сказала крестьяно-пленительная ›роговорка.

Секретарь считает голоса—11 и—4 воздержались.

Позже председатель тройки по сбору чрезвычайной контрибуции ıарищ Шнуров тихим голосом просит по телефону: бывшего городıго голову гражданина Моштакова явиться к нему в исполком; за-

ведующего Государственным банком—на квартиру предтройки; коммунальную столовую при исполкоме—оставить порцию его обеда дежурному часовому внизу, предисполком освободится поздно вечером.

Обед стынет, часовой ногтем сбирает жир,—он весь чуть-чуть закрывает заусеницы одного его пальца. „Жидко кормят",—ворчит часовой. Предисполком спускается с лестницы сдержанно и сдержанно берет салфетку с котелком—он идет к себе, в „Гранд-Отель".

Через полчаса начнется военное положение. Ворота медленно осыпают снег, калитки звонко стучат—прохожие спешат скорее спрятаться. Салфетка не греет рук, и котелок походит на портфель. На углу он встречает женщину, она одна в беличьей шубке, голова почти сливается с плечами и—вдруг она кланяется. Суп плещется, он идет быстрее и ни к чему быстро несколько раз повторяет в уме: „пожалуй, есть в России еще румяные девушки".

Беличья шубка немного ждет, немного переступает (ноги слегка замерзли),—ну, вот еще—до военного положения десять минут—она в припрыжку торопится. Дома ее называют Верой.

Глава четвертая.

Достойно когда-нибудь воспоют это собрание в театре, окрашенном в розовую краску; лиру над занавесью, лиру—похожую на выщипанный хвост; гипсового Карла Маркса, неистовым скульптором превращенного в сугроб. Если театр имени Маркса, то должна же быть борода больше занавеса?

Чья же? Не этих же купцов, настолько тощих домовладельцев, что дома будто клали они мясом своих телес; конно-заводчиков, у которых глаза быстрее иноходцев—всем разрешено собраться, беседовать и раскладывать контрибуцию по совести.

Чиновникам казначейства, ныне финотдела, приказано спать днем, дабы ночью исправно принимать деньги.

На правильном дисциплинированном лице Моштакова, строгие очки, они раздражают присутствующих. От крика очки потеют, упруго смотрят на добросовестнейшего своего секретаря Веру Татищеву. Председатель собрания Моштаков в перерыве идет за кулисы.

— Моя племянница Вера,—говорит он Шнурову, а та поспешно прерывает:

— Мы знакомы.

Шнуров терпеливо глядит на его чешущиеся локти, на потно побледневший лоб.

— Надо же обдумать, без досады... но собрание единодушно заявляет, гражданин Шнуров,—оно не в силах собрать полтораста тысяч... Ведь вы помните, еще на прошлой неделе—с каким трудом мы...

— Почему?

— Поверьте, ведь мне все сердце раскричали... денег нет, имущество национализировано... я не из доброжелательства к страданиям других, я...

— Отказываются?

Моштаков, словно локтями раскидывая препятствия и таким шоютом, словно в спичечной коробке.

— Нельзя не отказаться.

— Совсем?

— Да ей-богу же...

Вера видит: слегка припухшие бессонные веки настойчиво щурятся телефон, голос долго обдуманный:

— Алё? Комендатура? Шнуров. Выставить в проходах и на сцене араул. Не выпускать граждан, пока председатель не представит комендатуру список раскладки.

Стремительно, но как-то крадучись, жесткий растерянный человеек развернул у кулисы огромную банковскую книгу. Декорации заатались, и дрогнул шум голосов в зале.

— Вы, гражданин Моштаков, эту книгу в Государственном банке идали?

— Конечно же...

— Здесь на разных счетах... Я не знаю, как они называются... ачилось двести двадцать тысяч рублей. С половины сентября по оябрь деньги изъяты вкладчиками. В декабре советы конфисковали истные собственности в банке. Считая, что до января месяца вами проито и проедено пятьдесят тысяч,—тройка в исполкоме ждет списка.

И точно, тройка заседает.

Часовых забывают переменить, не об этих хохочущих часовых грашивает из театра несколько раз Моштаков. „Пятьдесят"...—звонит лефон:—„семьдесят пять.,. девяносто"...

Кирпичная телега неумолчно мчится в сухих и белых, как известка, лях. „Ждем списка на указанную цифру"—отвечает кирпичная телега.

И вот под вечер бесстыдно пьяный спиртом автомобиль выпуает на исполкомскую лестницу Моштакова и его секретаря Веру. седавший последний раз городской голова—без шапки, исцарапанй подбородок кровью заменил сорванный галстух.

Чиновники уже сбираются в финотделе, в стеклянных блюдечках, е губка налита водой.

— Составили,—говорит Моштаков хрипло.

Тройка оглашает список.

Конечно, Моштаков может внести свои деньги, но за трудную боту, проделанную им (его почти избили), он может же попросить снисхождении. Он свои пять тысяч, как это ни трудно, внесет, но лобленные граждане — да, людям ох как много можно простить—за отиворечия и указания Веры на некоторые наши общечеловеческие абости и недостатки, постановили обложить генерала Татищева на

три тысячи рублей. У моей жены остались кое-какие вещи, а что может собрать Татищев, живший на пенсию?.. В последнее время ему и в пенсии отказано. Квартирка в три комнаты, одни медали, а мы знаем—как покупают сейчас медали...

Вера молчит, от усталости и непонимания у ней выступают веснушки; голубенькая ленточка глаз неумело краснеет. Ей трудно в этом огромном списке найти себя и отца; список дальше—человека в солдатской шинели; она подходит к нему, кивает головой и говорит растерянно: „да... да...".

Шнуров прячет пальцы в холодные и широкие (такие теперь амбары и склады) рукава шинели. Он сосредоточенно, словно совсем о чем-то другом, говорит коменданту:

— Почему вы здесь не топите? Дров нет,—сломать конюшни и—вытопить... А то не жрамши и еще в морозе.

Он быстро подсчитывает фамилии, суммы. Оказывается—сто сорок восемь. Он пересчитывает еще раз, нет правильно,—сто пятьдесят. Меж бровей ложится холодная морщина, словно весь список поместился туда; он пожимает руки—благодарит—членам тройки и немного напыщенно отвечает Моштакову:

— Удовлетворить ваше ходатайство о гражданке Татищевой не могу. Если мы сами будем сбавлять или прибавлять суммы контрибуции—для чего же заставлять буржуазию производить раскладку? С одиннадцати часов финотдел начинает производить прием денег и золота; если в сутки деньги не будут внесены,—произведем выемку и немедленный расстрел отказавшихся. Копию списка можете взять себе, по этому списку внизу выдадут пропуска на всю ночь.

Глава пятая.

Ночью черные ходы гостиницы „Гранд-Отель" наполнились шорохом, шопотом, запахами выцветших духов. На обледенелых площадках—ах, двери казались меньше ступенек—в тонкую дверь надо стучать, как в сердце, потому что он - старый партийный работник и привык в тюрьме чутко спать.

Он отворяет дверь—сначала под ногами снег (это от шуб), затем под головой толпа. Горит сальная свеча в привычных руках коридорного, нет, они не на коленях—так значительно легче—они жмут ему локти, трогают ласково за руки. Он еще сонный, в волосах его словно шорох бумаг, во сне он видал длинные очереди с резолюциями.

Голос у него необычайно широк; все шипят, приседают. При виде их дрожит испуганно свеча коридорного:

— В чем дело-о?..

Да, это они знаменитые конские заводчики (у них прыть едва-едва осталась в зрачках), они впереди везде,—из них один у Керенского в правительстве был,—они суют ему мотивированные заявления,

се на чудеснейшей бумаге машинками, у которых буква легче неж-ейшего поцелуя. Они не могут заплатить.

Их гонят, захлопывают дверь,—но вся его комната наполнена гаей телефонных звонков. Он никогда не замечал—такое количество ппаратов. Телефоны в пятьдесят голосов (ему в заседании тройки лен коллегии ЧК говорил—нет одинаковых людей, умирают все по-азному, а хуже всех—спекулянты)—и все голоса похожие. Важное, кстренное, экстреннейшее.

— Контрибуция?

— Конечно, конечно, вы понимаете!

Трубка катится по столу, а в ней еще пищит список.

— К чорту!

Телефоны звонят еще—словно бьется мерзлое стекло.

Он, уже спокойный, чуть длинный ростом (может быть, от струи—ода удлиняет человека), льет воду в таз. Еще темно, умывшись он едет в исполком—сегодня несомненно выяснится политика профсою-в в деле взаимоотношения хозяйственных и союзных органов.

Здесь входит Вера.

Глаз ее невидно, но беличья шапочка имеет голубой цвет; у ней много отрывистый голос—оттого, что она стоит у косяка двери.

Она думала всю ночь, ее отец тоже не спал. Если бы она вчера азала ему, товарищу Шнурову, под радостью о получении денег, воз-ожно он согласился бы сбавить. Но она тоже была рада за народ, торый хоть немножко перестанет голодать. (Шнурову надоели езы, он смотрит на паркет, прожженый углями из самовара, и ему понятно совестно поглядеть на нее—плачет или нет?) Ее отец! Он—стный и порядочный человек, он первый в городе пошел присягать вому правительству Керенского, возможно—он бы присягнул и вам, вы ведь не требуете присяги! Он первый понял—солдаты не хотят йны и оттого устроили новую власть, он отказался председательство-ть на митинге офицеров, протестовавших против захвата власти. него подагра, у него дурное сердце—ему нельзя волноваться. Все, о она может, она продаст, все, все—но у них не хватит четырех...

— Трех.

Вот, он даже помнит! Спасши один раз отца от смерти, не может он уничтожить его на другой день.

Шнуров отложил полотенце, оно невероятно грязно и липнет рукам. Он цепляет под шинель револьвер, Вера моргает и вдруг осается помогать застегивать ему шинель. Сукно жестко и твердо—овно ткано из соломы.

Книжную теплоту нагоняют на него прикосновения пальчиков пенькой голубенькой самочки. Он гибко закрывает рот и отодви-тся. В книжках бы описали, как он сорвал крючки шинели и по-ил ее на охладившуюся уже кровать. Но Шнуров, не застегнув же последнего крючка, идет к двери.

— Так вы попросите кого там нужно... я не знаю кого.

Мало ли раскормленных пухлых девчонок попадает на пути;—не за пожатье же руки (тогда—из тюрьмы)—устраивать и провоцировать в городе бунты! Это самые близкие слова. Их не сказать—он не в меру резко говорит:

— Ничего, барышня, ничего не могу. Вон по телефону все ваши звонят.

В коридоре не слышно ее каблучков—она словно вышла на цыпочках. Он довольно долго ждал дробного стука (нельзя же вместе чуть не ночью выходить!)—думал—неужели так вот из-за самочки и можно все крахнуть.

И в автомобиле по пути в исполком он думал о том же.

Глава шестая.

Мычание. Слова, похожие на мычание — у каждого в груди и висках мычание хлебного мякиша. Старухи мрут у церквей, дети у школ и за партами. На окраинах люди умирают со вздувшимися животами — там сердце не знает удержа. В средине города умирает скорей всего мозг — и только в каменных телегах — вся ровная и кровавого цвета, словно обожженный только кирпич, бодрствует единая воля. Таковы души голодных митингов.

-- Уже вносят, — говорит ему секретарь, встречая у дверей. И он с усталостью видит: кооператорам составляют мандаты, паровоз одиноко мчит их в пустыню, в снега, пахнувшие известкой, где верстовые столбы напоминают славянские буквы. Паровоз — последняя печать на их мандате.

А в финотделе красногвардейцы торопятся паковать в ящики из-под обойм деньги: керенки — короткие и слепые, как последние мухи осени: золото и неуклюжие серебряные рубли.

Ящики летят на другом паровозе: серебряные и золотые печати. Последние царские орлы за хлебом республике, — неуклюже думает Шнуров.

Народ опять наполняет улицы. Когда их видишь наполненными, понимаешь сожаление — отчего так узки? Много, значит, бунтов было при Петре, коли он построил такой умный широколицый Петербург!

В один из этих дней, читая сводку инфотдела, предисполком вдруг кричит по проволоке в финотдел:

— Ало! Гражданин Татищев внес деньги?

— Ало! Это—тот, генерал! Сейчас справлюсь. Ало! Вносят, в очереди находятся, товарищ Шнуров. А в чем дело? . . . .

. . . .

— Ало! Ничего.

И вот десятого января

(накануне Вера получила продкарточку, где ей и ее отцу, — как етрудовому элементу—было выпечатано в день четверть фунта жмыхов) в полдень десятого января грузовики и ломовые подводы знаменитых коннозаводчиков мчали со станции от поезда с горячими еще уксами — хлеб.

Хлеб! (Рождаясь, солнце не имеет ли твою форму; листья деревьев и рав не клянутся ли быть верными тебе — своими очертаниями; наконец, ицо твое, человек, не подобно ли зерну, и губы не в черноземе ли раскрыись и родили — слово. О, земля — великая странница в сердце моем!)

Мешки с зерном лежали такие желтые и тугие, так сладострастно рижимались друг к другу; картошка — самый веселый рассыпчатый вощ — катилась через край, и мальчишки в снегу дрались из-за нее. уши каких-то животных, обильно покрытые салом, выпячивали из елеза и дерева кровяные куски.

И слюна бежала шпалерами, опережая и догоняя грузовики и сани. люна жидкая — выплюнутая, она застывала в снегу тоненькими прорачными сосульками.

Общественные печи раскрыли свое хайло, и огромный хлебопек ывалил в кастрюлю дрожжи.

Шнуров покинул исполком — посмотреть, как мчится по улицам леб. Но казалось — бежали не грузовики, а вперед, по народу, — улыбка. ак было трудно ее соорудить на этих свинцово-серых щеках — боль е отдалась ему в глаза.

Ресницы мгновенно заиндевели, и он повернул было обратно.

В это время тонкобедрая женщина взмахнула беличьей муфточкой вдруг выстрелила ему в спину.

В кого? откуда? В какую сторону отпрыгнуть? Он обернулся. енщина на снегу. Солдат, опершись ей огромным сапогом в бок, зет у ней из рук муфту, хотя револьвер валялся в двух шагах.

Докладывали — трудовую сводку и еще что-то. Синяя густая папка. ак говорил об расстреливаемых член коллегии? Он сейчас сообщает ифром в инфотдел ВЧК о покушении на предисполкома Шнурова. тут очень просто — взяла и пальнула.

В папке торопливо и скверно перепечатанные бумаги, плохо выдила буква „л“ — не то—п, не то—к. И то, что сообщалось там,—было вестно — в Воскресенской волости вновь появились бандиты, нашли -эровские прокламации, поймали переодетых офицеров, которых ЧК ллегиально расстреляла. Можно понять — настроение губернии спойно - выжидательное.

— Ало! Товарищ председатель, арестованная просит сообщить ее цу — задержана, мол, случайно, пока выяснится... Он, говорит, мирает...

— Ало! Направьте ко мне караульного начальника.

Караульный начальник, рассудительный и рябоватый, вошел к нему

растопыренной походкой, будто к больному: он был приверженцем храбрости.

Предисполком подал ему коротенькую бумажку.

— Пропуск по городу напишешь сам.

— Слушаюсь. Можно на машине, машина есть свободная.

— Но, еще выдумаете!

— Оно, конечно, товарищ, — за такое дело мало к стенке...

Предисполком стоял у окна, когда девушка в беличьей шапочке вышла из подъезда под фонарь. Шнуров оглядел ее. Дотронулся до щек, небритые и дряблые: ерунда. Думать над этим — ерунда, вот еще смешно, вынырнут ее ботиночки из-под шубки и—конец. Первобытные инстинкты, атавизм—нет никаких объясняющих слов. Ерунда, пустота, туман...

Выпуская ее, караульный начальник дал ей краюху хлеба. Она отказалась было, но он возразил: „никто не увидит, ночью ходят пропусками, а на эту ночь пять пропусков имеется..."

И вот — под фонарем еще, она отдернула платок, прикрывавший краюху и, торопливо отломив кусок, сунула в рот. Плечи дрожали—не-то от жеванья, не-то от плача. Она не оглянулась.

Ерунда!

Шнуров торопливо отошел от окна, — итти в „Гранд-Отель" ему не хотелось, — он повалился на диван, покрылся шинелью. Воротник отдавал запахом хлеба, он перевернул и, прикрыв лицо полой, уснул.

Глава седьмая, служащая продолжением первой.

— Хорошенькая история, — сказал газетный корреспондент: — разжирел, пожалуй, Моштаков теперь?

Прокурор подтвердил. Газетный корреспондент, будучи слегка сантиментальным, подумал немножко и спросил осторожно.

— А как Вера — не жена ему теперь?

— Кому, дяде-то родному?

— Нет, Шнурову.

Прокурор захохотал — смех у него был странный, словно стукались пивные бутылки. Зубы у него мягкие, должно быть, и цвета пробки:

— Ясно, что нет!.. Я ей и не интересовался, я вам о хлебе рассказывал. А про нее, будто бы сказывают, для отца по красноармейским казармам хлеб просить ходила. Напоролась на тиф или на что другое — умерла... Отец тоже, кажись, где-то раньше ее свернулся... Я-то, впрочем, точно не знаю — вы у Моштакова сами спросите, он ей ведь чистокровный дядя.

Дикое сердце.

Артем Веселый.

ВЕТРОБОЙ.

$\times_2^2$

В огне броду нет.

1.

адость гудит в Илько.

Iаг пружинит. Ноги веселы. С Фенькой шаг в шаг. Тук-тук. Внизу море в реве, в фырке. Молнья рвет ночь. Ветер рвет грудь. Кровь мчит в Илько, мчит кровь.

Где ж?

Сюда! Скорей!

)ропится тропа. Галькой закипела тропа. Собака гагавкнула. Смигнул огонек. Дымком пахнуло. Пинком в калитку. С козла через порог.

Здорово, Степан!

Хлеб, да соль.

Милости просим.

іюдо, рыбьи кости, ложка в сторону двинуты. На столе вытертая веслом лапа Степанова. С лапоть лапа.

Садитесь, товарищи. Что хорошего скажете?

Оба:

Ехать надо.

Торопимся во...

Перебросишь нас в плавни.

Помни уговор, Степан.

'онь качнулся. Степан качнулся. Ветер раскачивает хату. Дует в пазы. По стенам сети переливаются. Скула у Степана сизая, литая. А глаз с рябью. Зыбкие глаза, как сети.

Буря злючая, а то б...

Ты не едешь?

Дай ялик нам...
Фенька когтит его плечо.
И паруса.
Разя у меня ялики? Корыта. По тихой воде на них боязно.
Все равно.
Слышь?

Ветер толкает хату. Тоненько цзвякают стекла. Стучит кровь. Дробен, смутен Степан. Неторопливые слова вяжет в тугие узлы.

Переждать ночь... Ни выгонка в сам деле.
Не будем ждать.
Ты вот, што, дядя Степан... Канитель не разводи... Давай об деле говорить.

Широко вздохнул.

Где ж ваш товар?
Вот товар.

Ногой ящики.

Все тут?
Все.
Мы.
Легковато. Упору нет. Перекинет.

Фенька ударила жаркими глазами.

Чего тут рядиться... Дашь ялик, нет ли?
Ты не бойся—ялик вернем.
Я не боюсь... Ково мне в своей хате бояться...

Крякнул мужик. В сердцах щелкнул со стола котенка, пробующего недоеденную уху. В сердцах сорвал картуз с гвоздя.

Айдате... Мне што ж... Мое дело телячье: поел и в клев... А токо скажу: зрёй вы горячку порете.

Степанов сын Андрюшка с красными утек. Меньшака Деника мобилизовал. Ни слуху, ни духу; ни пера, ни пуху. Нет и нет. Будто и не было сыночков родных. Не за что Степану любить ни тех, ни тех. И крутой мужик, а комитету подпольного побаивался. Комитетчики — все крючники, да рыбаки своего курмыша. В случай чо — житья прокляты не дадут. С чего такое сбузыкалось и не придумаешь? Держи по волам.

В дверь. В ночь. Крутень вертень. Буря топит море, как девушка в смоляных потоках кос своих топит любовника.

Рыбак разбивает молодых:

Зря... Буря... Я бы тож...
Мачту крепи!
Ставь по ходу.

Фенька накатывает в лодку камней. Илько треплет по загривку кутенка:

успели подружиться. Ялик мечется на якоре. Цепью гремит. Ялик мечется из-под ног. Волна бьет, бьет.

К берегу не жмись... Забирай все круче, круче...
У маяка на перевале в бортовую качку не ложись. Боже сохрани... Царапай в лоб, в лоб...
К берегу не жмись — боже сохрани... Вира — по-малу...
Взяли...
Щастливо.
Хо - оп!

ртом по зубьям гребней. Чамра [1]) в парус торк-торк. Берега утонули. Огонек утонул. Выкрошился оскал скал. В реве утонуло Степаново.

Держи — держиииииииии!..

ик раскачивается. Дрожит в беге. Грудью прошибает ночь. Молодой горячей силой топчет кольчатую волну. Море со свистом мечет арканы пенящихся гребней.

й сердце вертит. Рука захрясла на руле. За кормой искра стелет. Море бьется — косматая рыба в сетке. Налит парус пылающим ветром. Фенька кожаной чепкой (черпак упустила) отплескивает. Оба на корме. Нос высок. Весела мчаль. Скачут косматые молнии. Через всю ночь молчком. Только о деле.

Камни за борт...
Перехвати фал. Занемела рука.

перевале брали килевую качку. Волна крыла подветренный борт. Фенька до свету отплескивала без отверту воду. В жарком размете кувыркалось море.

БУ РЯ
РУ
БИЛА
УДАЛЫХ

2.

няшки, легкие, как снежная пурга, уносят их. Звонки, журчливы горные тропы. По широким развалам ветер гонит туманы. Разбегаются кусты, прихрамывая. В тучах орлы мельче жуков. Копыто искру секёт. Ухо на взводе. Глаз легче птицы голодной. Глаз хватает, трясет каждый куст. Стороной миновали Уланову будку: последний пост стражи кордонной. Дальше свои земли. Попридержали коней нашаг.

---

[1]) Удары бури.

Проводником зеленец Гришка Тяптя. Парень оторви да брось. Английская шинелишка небрежно накинута в один (левый) рукав. Азиятская папаха на затылке. Плетью сшибает сухие сучки. Соколиным глазком мечет. Слова накалывает редко и нехотя. Разговаривают за него руки, ноги, чмок, фык, сап, марг, плевки.

Бра зна... Уууу... Ццц... Черно... Пух-пух. Та-та-та-та-та-а... Мммм... Обшад, Гирцеванова... Бам-бам... Зззз... Иииии... Кххх... Талалы лалалыыыыы... Ку-гу. В станыцу. Ку-гу. Пакэты везу... Хо! Фюю... Чччч... А, каже,—бандюки?.. Мммм... Як зарикотили, зарикотили... Ээээ, чертяки... Кыш. Фу. Ыыы... Цццц... Шо тамочко було!.. Уууу... Хибаж ты ни зна Хведьку Горобця? У-уууу.

Тройку последних слов о Хведьке взял в такой хомут.

Шплюньку (кулак с выкинутым пальцем) сунул под нос: понимай—

Горобца застопали.

Перед глазами пальцы крест на крест:

За решеткой.

Оскаленные зубы:

Контр-разведка.

Плачущего Хведьку две руки хлещут со щеки на щеку.

И

Пальцем вокруг шеи.

Багровая страшная рожа, высунутый язык:

Горобец повешен...

Чудно Феньке. Раскачивается в седле. На дружков поглядывает. Портянка выбилась из сапога—треплется озорным собачьим ухом. Играет в ветре рыжая, вихрастая Фенькина башка. Рот нараспашку. Смеется широкая, как лопата, рожа, заляпанная солнечными пятнами.

Илько!..

Поотстал Илько. Пересказал такое—

Зеленцами забиты все горы. От Тамани до Грузии. Через Обшад на Каспий. Кругом бои. Кугутики [1])—в воду, пузыри кверху. Налет на станицы. Гулянка в городе. Паника. Дым. Ураган. Жизня на полный ход...

---

[1]) Так дразнят кубанских казаков.

Эркие горские лошаденки ходки. Кремнистые тропы бросают назад коленами. Снулая Будуева гора лениво выматывается из тумана.

Стой!

Ішелый камень по-над горой оскалился дулами. Шмыгнула кубанка. Гришка переливчато засвистал, проехал вперед. Из-за камня трое. Ободранные винтари приняли на ремень. Прыгают белки. Скалятся волчьи зубы.

Гришко, тютюну немае?

Е.

осятся на Феньку.

С городу?

Ни.

азгоряченные лошади не стоят.

Чч...

Іирокая балка. Тачанки. Костры. Люди. Пулеметы в брезентовых чехлах. В маскированной землянке, начотряда Александр с завхозом в шашечки перекидываются, глушат коньяк. Пока Илько привязывал лошадей, Гришка в землянку ушился.

Честь умею явытца.

Кто приехал?

Та Илько Валет... Мммм... С ним женщына подпольная... Чччч... Ячейку хотит огарнизовать... Щоб як у Москве. А сама в штанах... Уууу... Ффф...

смачно сплюнул. Не то от восхищения, не то от скуки. Любовно поглядел на рябую бутылку и, вздохнув, уселся на седло у входа. Завхоз подсек сразу четырех. Александр не захотел больше играть. Смахнул хлебные корки. Шашельницу на-двое об острую завхозскую голову.

Жулик ты, захвост!.. Прожженный жулик... Давно тебя повесить собираюсь, да все забываю.

Кхе. Шутить изволите.

іько. Фенька. Ящики. Рука у нач'а горячая. Плотная рука, как фунтовый карась. Рябоватое лицо подобрано, сухо. Печаль и усталость на лице.

Кыш!

вхоз и Гришка убрались.

ол забутыливает нач. (Хотя какой же там стол? Пенек, понятно.) Тяжелым взглядом раскубривает Феньку. Видит ее впервой. В бумажку и не заглянул. Что бумажка? Пахнет в землянке шинельной прелью, земляной мякотью.

азу—давай дело мять, топтать:

В городе в тюрьме пол-тыщи товарищей.

Их ждет яма.
Они ждут спасения.
Нужен налет.

Теперь.

Подготовку вел подпольный комитет.
Сгорел (четвертый по счету).
Запевай сначала!

Порешили (без протокола):

Разведку в город.
Наколоть явки.
Приподнять тюрьму всем отрядом.
В ближайшую неделю...
Типографию (привезенную в ящиках) нонче ночью перебросить в город.

Александр подклинил:

Погибнем под тюремными стенами. Пусть погибнем, но и там за решетками нашим бедолагам легче будет умирать.

Не спуская глаз, Фенька смотрит на него и решает: крупный террорист и боевой оратор. Молодчага парень, и раньше об нем кое-что слыхала.

У кухни в разлив обеда заспанный писарек вычитал:

ПРИКАЗ

По красно-зеленому партизанскому отряду.

По случаю моего секретного отъезда в неизвестном направлении своим заместителем по части строевой назначаю Григория Тяптю. А комиссаром вновь прибывшую товарища женщину. Строго приказываю не волноваться, хотя она и женщина. Пункт 2-ой. За недостойное поведение, т.-е. грабеж и бандитизм, припаять по 20 горячих тов. Павлюку и Сусликову Дениске. Долой!.. Да здравствует! Подлинное, хотя и без печати, но вернее верного. Ура!

Обеденная очередь рванула.

Урра-а.

И отобедавшая музыкантская команда облизала ложку, вытерла сальный рот и с небольшим запозданием тоже уракнула.

полутемной землянке Савчук — старой службы солдат — роется в куче погон.

Одна полоска четыре звездочки — штабс-капитан... Гладкий, две полоски — полковник... Это ты намотай себе на ус...

лександр рассеянно примеряет погоны. Торопливо строчит...

Какое дело. На неделе слилось у нас происшествие. Из второй роты Жучек разжился где-то сармачком. И в карточки играть, верно, не умел. В одну ночь всю роту раздел, разул. Утром хватились. Нет Жучка. Пропал Жучек. Слышим: в городе. Гуляет. И не духовой ли парнишка? Ну торчал бы где в подпольном укрытии. Нет форснуть надо. Бабу — на коленки, гармонь — в зубы, лихача — за уши. По-шел. Чу: зашел наш мосол. Три дня его пороли. Пороли да посаливали. Сдался собачья отрава. На двести пятнадцатом шомполе сдался. Есть у нас в лягавке свой человек: стукнул. Пришлось тогда связь тасовать, лагерь менять. Канительное дело!

исывает Фенька жареную баранину за обе щеки, слушает во все уши.

Ты насчет дисциплинки спрашиваешь? Дисциплина — она што ж. Она на пользу. Дороже правой руки. Известно. На голод-холод — терпеж. В бою стой. Не устоишь—знай свою прекрасную участь. А только, ежели ты хочешь знать по совести: в нашем деле эта самая дисциплина — девятый гвоздь в подметке. Жми! Жги! Вари! И вся недолга. Ты вглядись тут. Во второй роте черноморцы есть. Одичали в горах. По году, да больше живого человека не видят. Говорить разучились. За разбой решил проучить двоих. Не ложатся под плети. Виновны, говорят,—расстреляй. И фасонны были ребята, а пришлось свалить. Звери. Ухо к уху. Это тебе не казарма. А за Гришкой погляды-

вай: хлюст малый. Давно бы его в земельный совет отправить, да нужный он человек.

В погоны зашифровался и ускакал с Савчуком в город.

3.

Кроет ночь. Лагерь в кострах. На высоких гребнях мерзнут посты. Льет лют норд-ост. Кости леденит. К огням сползаются лохматые, угрюмые. Соломы волокут. Сушатся. Выжаривают исподнее. Кашеваров вздушевают. Ладят на сошки закопченные котелки. Жалуются новой комиссарше.

Эх, товарищ, да—ах, товарищ.

Запаршивели мы хуже собак.

Я в бане с Миколы зимнего не был. Шкура-то уж так зудит, так зудит.

Слушок, будто красны недалече. А?

Эээээх.

Как теперь рассудить? Должен нам совет жалованье солдатско выдать... По году, да по два кусты тут считам, ни откуда ни в зуб толкни...

Сырость... Ремонтизм корежит.

Вьется Фенька в мужиках, как огонь в стружках. От костра к костру провожают ее глаза, ленивые, как сытые вши.

Заводная...

Кусаная...

Илько с Гришкой корешки. Такие-то ли корешки, и не скажешь. Сызмальства. Валяется Гришка на каменной плите перед самым огнем. Из половинки картошки печать режет. От скуки, понятно. На пальцах колечки камушками сверкают. Которы и без камушков. Пыхтит, сопит Гришка, ровно воз везет. Печатью любуется. Углем натер. На ладонь пришлепнул. Фармазонная печать. Явственная. Бросил ее Гришка в огонь. И заунывно эдак песенку блатную потянул:

Не ходи так поздно по бану [1])
И лягавым ты вслед не гляди.
Ни доверяйся сердцу больному
И шпану ты любить погоди...

У Гришки по груди три банта. Красный, зеленый, черный. Шикозные банты. А Илько смеется. В корешки глаз штопором.

Што это за лименация?

---

[1]) Вокзулька.

азгладил Гришка банты. Разъяснил.

Красный —

— свет новой жизни, заря революции.

Зеленый —

— по службе за особые заслуги.

Черный —

— травур по капиталу.

носом покрутил.

Уууу... Ччччч...

солому зарылся. Захрапел.

отянуло Илько к большому костру. В его свете моталась рыжая косматая башка.

улеметчик Трохим Кулик, первый в отряде пулеметчик, крутит пушистый ус. Разматывает такое:

Шутка ли сказать: на действительной семь годочков отбарабанил, да в плену три. Богато рученьками, ноженьками помахал, богато поту утер. Ворочаюсь до дому. Сидит в хате одна слепая матка—смерти дожидаетца. На дворе ни куренка, ни собаки. Сарай упал. Все криво, косо — не как у людей. Батька красные повесили. Брательник с таманцами отступил. Дядья родные — все Денике служат. Оце, бисова душа, и разберись, кто прав. Махнул я рукой. Помогай, каже, боже и нашим и вашим. Тильки меня не троньте. Не поддался я печали — за работу схватился. Лошаденку огоревал. Потрудился с годик. Опнулся трохи. Хозяйство мало-мало скопировал... А ну, посудите, добрые люди, какое без бабы хозяйство? Удумал я женитца. Как ни крутись, а женитца не миновать. Подвернулась на глаза девка подходящая — Марька. Обкрутились. Веселая моя Марька, чернобровая. Глядеть на нее — сердце ни нарадуется. А по дому — лучше старухи... Эхе-хе. Лихое нонче время. Нет счастья человеку.

Живем, как по вострому ножу ходим, — подсказал кто-то.

Зажмурился Трохим, голову свесил. Неторопливо отстегнул от пояса кожаный кисет. Раскурил люльку и ну досказывать:

Приказ — указ. Мобилизация. Оборвалось наше счастье. Воевать итти ни оно. Набралось нас—годков десятка с два. Понадевали по заплечи мешки с хлебом. В лес посунулись. Неделю, другую сидим в лесу, как сычи — свету божьего боимся. Глядь—бегут старики наши с плачем, с воем. Нагрянул каратель с отрядом — князь Трубецкой. Дизиков ловят. Скотину режут. Хаты палят. Над девками, бабами сгнущаются. Устроили мы военный совет. Что делать, как быть. Видим петел много, а конец один — порешить надо гадов. Сказать — пустяк, а доткнись до дела — обожгешься. Народу у нас орда, да у каждого глотка-то в тридцать три диаметра. Обсуждали, обсуждали. Так и бросили. Чево тут обсуждать? Криком возьмем. Пошла, поехала. Чуть зорька—стучимся в станицу.— Как дела?..—Так и так... Князь его сиятельство к молдаванам уехамши, у нас гарнизон оставил. — Ладно. Хорошо. Раскатили мы гарнизону семьдесят душ. По станице плач и стенанье: там ограбили, там истязали. Марьку свою чуть нашел. Забилась в подпечек. Смеется, плачет, а не вылазит. Маню ее, зову. — „Дурочка, Христос с тобой, очнись!“ Насилу вытащил и не узнал. Осунулась, пожухлела. Голова трясется. В кулаке зажала человечье ухо откушенное. Помяли ее гады. Она на сносях, первым брюхом ходила. Горюй, не горюй, так видно греху быть. Да и стонать-то не время. Слышим— опять каратель идет, в лес надо подаваться. И увяжись за мной Марька. Никак ни хотит дома оставаться. И упрашивал ее, и умали-

вал. — Не останусь, да не останусь. У нас меж собою уговор был — штоб бабой в отряде и не пахло. Чево тут-делать? С версту от станицы умотали, а Марька все бежит около меня, за стремя хватается. Осердился я тут, да и товарищей стыдно. Хлестнул Марьку плетью.

Вернись!

Не вернусь. Любезный ты мой Трохимушка.

Вернись, скаженная!

Смертынька моя... Убей, не вернусь.

Заморозил я сердце. Сдернул карабин с плеча.

Трах... И ускакал товарищей догонять... Судите меня, люди добрые. Тридцать два года мне, а вот...

Сдернул шапку Трохим, и еще ниже свесилась его седая, ровно мукой обсыпанная голова.

Суди тебя бог, Трохим.

По обветренным лицам тенью пробежал ветер.

4.

Перезябшие часовые с черных ветровых гор упали

н

а

о

г

н

и,

на костры.

Скрюченные руки — рукав в рукав. На башлыках снег ярусом. На прикладах мокрый снег настыл коркой. Продрогшие, сиплые голоса.

Собаки, што ль!..

Где ж начальники?.

Шутки плохие...

До кишек смерзлись!

Винца бы...

У костра пораздвинулись. Место дали. Из непослушных рук обмотка рвется. Поведенная коробом шинель с гимнастеркой смерзлась. Пляшут зубы. Глотки по-малу оттаяли. Огонь заостряет глаза. Маленькими собачками южат жалобы. Грохают двенадцати-дюймовые матюки. В русском разговоре без крепкого слова складу настоящего нет.

В вачальников...
В бога, господа...
В кровину, в утробу мать...
Полсуток без смены.

Фенька растолкала Гришку.

Давай наряд караула.

Спросонья помычал, поурчал Гришка. Лапой за голенищу. За голенищей у него вся походная канцелярия.

Скорей возись.

Протер Гришка глаза: Фенька. Ххы! Запахнулся в шинель. И обратно спать.

Ни яких каравулов ни треба!
Дай ротные списки.
Кыш.
Списки!
Отчепись, стерво!

Приподнялся Гришка. Из-за пазухи вытянул кисет. Плюнул с присвистом. Взялся ругаться.

Я начальник. А ты пийди собакам сена давай.

Кругом молчали. Кто-то подкинул сырых сучьев. Пахнул дым. Фенька закашлялась. Отвернулась от огня. И спокойно:

Караулы надо выставить. Давай наряд. Чья очередь?

Андрюшка Щерба лупит печеную картошку. Поддюкнул Андрюшка:

Какая тут очередь?.. Послать вон его почетную банду. Нехай промнутся... Завси в землянке спят, да спирт жрут.

Два, три вылуженные простудой голоса поддакнули.

Тут какая мотня? Увивалось вокруг Гришки с десяток своих ребят. Охватоблинники. Почетный конвой. Сыты пьяны. В работы ни ногой. Коняги под ними—поискать надо. Гришка лабудит. За конвойцев готов в лепешку расшибиться. В караул ни в какую.

Комиссарша едко ругнулась. Набрала добровольцев. Ушла с ними в темь, в мерзь. На дорогах, на ветру провалялись всю ночь. По заре сбросились в лагерь, в солому, в сонь.

Не успел Илько согреться под шинелью.

Крик.
Гам.
Бам.
Пыльно.

Вскочил Илько. Буза. Шухор. Тарарам. Гришка Тяптя перед землянкой борзые конвойцы.

Выходи, курва!
Фасон взяла?!

В нос, в рот.
Г э э.

На шум сбегались

Хай.
Май.
За стрижену косу.
Узда рыбий глаз, козырек на бок!
Замерзать, штоль?

Из землянки Фенька. Шинель в накидку. Облизнула землистые губы. Сухо стрельнула:

Ни дам.

А просили спирту. Погреться. Сумрачно закачались, зашумели, загалготали. Налитая дурной кровью рожа Гришкина придвинулась вплоть:

Говори, ни дашь?
Нет!
Ни дашь?
Нет!
Уууу!

И замерз отчаянный под хлывом глаз, черных и студеных, как лесные озера. Фенька повернулась и, крепким каблуком сбивая мерзлые кочки, не оглядываясь, ушла в землянку. Помитинговали, помитинговали, вырешили: шлепнуть комиссаршу. Гришка, конвойцы, с полдюжины дудаков: не разобрали спросонья-то в чем дело. Всем выпить хотелось.

Зеленцы по-малу просыпаются. Почесываются. Крестятся на занимающийся восток. Греют котелки. Илько от костра к костру. Пинает спящих. Хватает за ноги, за руки.

Братаны. Становись! Живенько. Дядьку Гнат. Тришка, боже ж ты мой! Комиссаршу расстреливать повели...

Которые побежали. Вразвалку. Илько передом. Наган в рукаве дрочит. Под легкой ногой тропа камень отхаркивает. Фенька размашисто бьет шаг. И ухо рассечено.

Стой, куда?
Чо!
На бут!
Брось бухтеть.
Какая твоя нота!
Душка от помойного ведра.
Аль те больше других надо?
Уйди!
Стой!

Заурчали. Залаяли. Подбежал Илькин родный дядька Игнат. Сивый подбежал. Яковенко. Хандус. Другие.

А ну, хлопци, шо туточки робите?

Та...

Ууу...

Илько наган Гришке во вшивый затылок. Коц! Брык! Ваших нет.

Га.

Ва.

Ага-бага-а!

В цепь.

Попрыгали конвойцы в промоину. Илько с товарищами за камни поскакали. И затворами чолк-чолк! Быть бы перепалке. Не миновать бы перепалки. Старики помешали. Стоят посередке. Растопырились.

Ат, бисово отродье.

Чур, дурни!

Пособачились, пособачились. В лагерь пошли вместях.

Сука, и променял ты на бабу товарища?!

А она, Фенька, разя ни товарищ?

Снежный ветер кувыркается в угорьях. Качаются вершины широкоплечих гор. Снежной метелью умывается утро.

Припылил Александр. Ахнул. Плюнул. Разругнул. Шестерых отсунул в город. С тюрьмой дело по ходу—и в городе люди нужны. Попрощался Илько с дядьком. По тропе бросился Феньку догонять.

5.

На скале. Над морем. В ветре. По ночи:

Костер в дыме, похожий на сиреневый куст.

Кисти спелых звезд.

Илько с Фенькой.

На шинелке. В узел схлест. Ласковая сила сердце рвет. Вспомнила Фенька Трохима! Сердце заморозил. Как просто, Тихо смеется Фенька.

А ты подломил бы меня... Как наш пулеметчик свою Марьку?..

Илько тряхнул разудалой башкой

Да.

Черное пламя пляшет в глазах Илько.

Черногрудый ветер сорвал, унес костер. Сны бурны и грозовы. Булькают крики ночных птиц. В жарком разбеге запыхалось море.

Утро градом горячих стрел. Вьются мелкие тропы. Гудит земля зверем залита. Гудят пятки Илько. Фенька легко поспевает за ним. Ноги ее сухи горячи, как ноги скакунов, от бега задыхающихся на ходу. И глаза ее веселее солнечных лесных полян.

6.

Город в лихорадке. День-ночь лавина чемоданов, сундуков, людей ползет в порт. С вокзала, с города в порт. Стонут мостовые под кованым шагом ломовиков.

Пошел—поше-е-ооол...

К пристаням жмутся английские, французские корабли. Выталкивают ящики шотландских консервов, тюки обмундировки, ящики снарядов с надписью:

Бей, не жалей, еще доставим.—

Забивают трюм, каюты. Палубы оседлывают чемоданы, розовые туши, лакированный пшик. Рев, визг, стон. И убегают в море чернокудрые кораблики.

На базаре по телеграфным столбам развешены оборванцы, проволокой за шею. Унылые руки. Толстый язык. Баста.

Вечерами пылающие кафе гноятся беззубым смехом. Улыбаются конфетные румыны. Рыдают скрипки. Сильва. Кармен. Тройка, которая по Волге матушке. Мишели. Жоржи. Дианы. Анжелики. Глаза лысые, как перламутровые пуговицы. И ноздри широкие пляшущие. Такие у загнанных храпящих коней. Спасательный порошок на кончике ножа.

А-ах

По ночам город, закованный в золотые цепи огней, вздрагивает под ударами ледяного норд-оста. По ночам на косе ружейная канитель: зарабатывает хлеб и славу контр-разведка. По заре гудит далекая канонада: по-за Кубанью стучатся красные.

Подполье. Норы. Товарищи. Удачи. Провалы. Гремучим сверкающим колесом. Прожилки часов искрой переливаются. Горячка дел. Комитет—стоглаз, столап.

В городе мобилизация.

Пару своих ребят на приемочный. Сагитировать. Нарахать. Увести в горы.

В тупике вагон патрон.

Разгрузить. Перебросить в свой отряд.

Нужны денежки:

Собрать копейки у грузчиков и цементников.
Налет на квартиру полковника: за границу собирается. Золото. Верное дело. Крой!

Волненья в артдивизионе.

Связаться. Организовать. Ночью офицеров к ногтю. Дивизион в горы.

Убрать Черныша. Черныш нач. охранки. Подвешивание за ребра. Селедка. Шомпола. Иголки. Резиновые палки. Сорванные ногти.

Из тюрьмы стон:

Уберите Черныша.

От рай-ячеек вой:

Смотайте гада.

За короткое время он перебил и перевешал три состава подпольного комитета. Не раз в него стреляли. Бросили бомбу. И все в пустую. Сегодня агентурные сведения: Черныш в штабе на заседании. Выйдет к трем. В пазухе города. Все равно кокнуть. В комнате случайно шестеро. Жребий бросили чечевицей. Илько. Расплескивая по груди хватил два стакана неразбавленного. Обветренное цыганское лицо потемнело: кровь взволновалась. Всем подержался за руки.

Товарищи... Фенька, дай закурить.

Поймал в портсигаре папироску. Прикуривает у Феньки, а затылок горит. В дверь кинулся. И вспомнил: эдак же горел затылок, когда его Ильку в Балабановскую рощу расстреливать вели.

Серебряковская. Автомобилий фырк. Крошѐво лиц. Звянь шпор. Илько через дорогу. С корзинкой на голове.

Лепошки! Горячи лепошки!

Вот папаха встречь. Усы. Светлая шинель. Ордена во всю грудь. Он. Вот! Трах-тах-тах-тах-тах! В упор обойму. Смеется Черныш, и рук из кармана не вынул. От испугу и бежать Илько не могет. Шпики, казаки из дворов. Остры сабельки посекли на парне стеганую солдатскую куцавейку.

За день сверх программы.

В бухте пароход со снарядами сожгли.

На базаре средь бела дня шпика в сортире утопили.

В горы сунули целый обоз мяса.

Из тюрьмы опять письмо.

Спасите, помогите!

Сердце в груди ворочается. А руки не достают. Не фокус ведь. Бегала, бегала Фенька—язык высунула. Связь с надзирателями. Телефоны. Сигнализация. Ключи. Охрана. Сговор с Александром. Делов выше головы. А тут ба-бах—завалилась Фенька. Весь комитет завалился.

7.

Порубленного, избитого Илько за руки, за ноги тащат по тюремному коридору. Голова бьется об ступеньки, метет пол. Ржаво тявкнул замок. Пахнуло кислой вонью, холодным камнем. Сразмаху щукой в угол. От ревущей боли и холоду очнулся. С великим трудом поднялся на ноги. Ни сесть, ни лечь. На спине посеченная в ленты рубашка скипелась. Зализал в деснах осколки зубов. От слабости прислонился к стенке. И навзрыд.

После первого допроса заправили Илько в камеру смертников. Край. Гиль. На приятелей напал. На Петьку Колдуна, на товарища Сергея. Здорово-здорово. Хомут. Какое! Так и так. Ось в колесе. Кругом пять в пять. Дело за уховертками [1]). Ожидаем. Отлегло. Отвалила смертная тошнота от сердца. Повеселел Илько.

Ленивее волов выматываются круторогие мутные дни. Гулкие ночи выползают торопливо, оставляя за собой крики, вой, шелуху шороха. Камера сутула, стара. Ни нар, ни стола. Стены. По щиколки вода. Здоровые стоят по многу дней. Слабые сидят и лежат в воде. Каждую ночь выдергивают смертников.

Собирайсь!

Какие сборы? Табачек, спички оставят. Зачем добру пропадать? Потухающим глазом, цапаясь за голые стены, уходят покорные.

Беленькие и чуют недоброе, да кончика не найти. Черныш наружную охрану вздвоил. В тюрьме сам деловых трясет. Кончика ищет. На допрос на ногах, с допроса на карачках. Как, да што, да какие твои мнения? Здорово живешь! Сукин сын. Цоп! Бяк! Брык! Ах-ах!

С допросу прочухался Илько в чужой камере. Высокое окно. Дикий камень прет. Глухо. Колодец. На койке из-под груды тряпья рыжий затылок.

Фенька, Фенька!

Стонать перестала. Приподнялась. Прыгнула. Упала на Илько. Закрыла его собой. Клушка.

Ты... Ну вот... Больно...

Давно сгорела?

Ерунда. Ты откуда? С заводиловки?

Ну как?

Без звука.

---

[1]) Ключи.

Знаешь. Нынче ночью!

Да-да. Тсс.

Шесть.

Только сейчас заметил. За ухом потемнели рыжие волосы, спеклись в лепешку. И щека чем-то проткнута.

Стукнул засов. Ленивая дверь ржаво зевнула. Кровяной глаз фонарев уткнулся в двоих. Фенька перешла на койку. Солдаты. Скотинка серая и расплывчатая. Стучат прикладами... Переступают с ноги на ногу. Деликатно покашливают в кулак. Офицер такой красивый.

Встать!

Двое подняли Илько. Встряхнули. Приставили к стенке.

Вялый офицер носовым платком чистит рукав. Говорит устало. Козни зеленцов. Налет на тюрьму. Состав комитета. Чепуха. Вздор. Все известно. Напрасные мечты. Меры приняты. В корне. И даже про них он все знает. Конечно, молодость, любовь. Но это уже он говорит не по службе: от чистого сердца. Требует пустяков: пару-другую адресов, кой-кого назвать. И все.

Молчь. Бьется луна в оконном переплете. Офицер простуженно кашляет. Старательно сморкается. За неподчинение законностям грозит спустить на Феньку взвод солдат.

Илько молчит.

Ну?

Илько отхаркивает сукровицу. Молча перебирает разбитыми губами.

Фенька глухо, ровно издалека:

Ни смей!

Офицера прорвало. Завертелся.

Вот как? Сволочь! Скотина!

Стены повалились на Илько. Ведро ледяной воды ему на голову.

Опять подняли. Прислонили к стенке.

Я тебе вытяну язык. Скот!

Илько шагнул вперед. В грудь толкнул рыжий голос:

Молчи.

Офицер, как на шарнире, повернулся к солдатам.

Сыромятников, начинай.

Сыромятников торопливо крестится. Лезет на Феньку. Илько зажмурился. Защекотало в носу. Сподымя бьет дрожь. Белеют Фенькины ноги, теплые, как весенние березки. Тошнехонько. Мутно. Партизанская кровь митингует в Илько. Закружилось, завертелось все в глазах.

Стой. Ваше благородие. Стойте!

Не смей!

Офицер тут:

Ну?

Ваше я-я...

Молчи...

Не соберет Илько мыслей, как пьяные вожжи. Шатается Илько. Видит вдруг: обняла Фенька стражника Сыромятникова за шею. Крепко-на-крепко. А другой рукой за зеленый шнур, за кобур, за наган, — и

Ба-х!..

Первую пулю в него, в Илько.

. . . .

По гулкому коридору топот, шорох голосов.

Братва, выходи!

Живо два.

Хвост в зубы, пятки за уши.

. . . .

Толпа арестантов бесшумно царапается на гору. Цепь зеленцов прикрывает отход. Радостный и размашистый Александр спрашивает об Илько. Куда подевался? Не видно парня.

Фенька вскидывает сползавший с плеча карабин.

И:

Загнулся наш Илько. Сердце у него подтаяло.

Из книги „Конармия“.

И. Бабель.

Афонька Бида.

Мы дрались под Лешнювым. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась с зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту прорывов тыла и фланговых ударов—безжалостные укусы того самого оружия, которое так долго и счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювым держала пехота. Была у нас и такая. Вдоль криво накопанных ямок слонялось белесое босое волынское мужичье. Их взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при конармии пехотный резерв. Они пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье наше перестало действовать на воображение неприятеля, и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными,—эта самодельная пехота принесла бы конармии величайшую пользу. Но нищета наша и невежественное пренебрежение к „пешке“ превозмогли. Им дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоска

мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Книги. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила упругое изящество этого небыстрого потока.

Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал тучный Репак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованой серебром. Завидев пешку, он весело побагровел и поманил к себе взводного. Афонька Бида, взводный, носил у нас прозвище Махно, за сходство свое с прославленным батьком. Они пошептались с минуту—командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, нахохлился и скомандовал негромко—повод. Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовсь!—пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Репак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону и сложил на животе негнущиеся ручки, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь?—крикнул я Афоньке.

— Для смеху,—ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху,—прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Репак, размякший и величавый, махнул своей пухлой ручкой.

— Пешка не зевай,—прокричал Афонька и надменно выпрямил свое тщедушное тело:—пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Репак построил эскадроны и рассыпал их по обе стороны шоссе. Над Лешнювым встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, эта неповротимая, высеченая пешка возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Растрелянные ветви суетливо кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов—казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал на самой обочине дороги, оглядываясь и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновенье ослабела. Казак хотел воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов триста и здесь, в наших рядах, конь кротко согнул передние ноги и повалился на землю.

Бида не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом он выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным и странным взглядом.

— Прощай, Степан,—сказал он деревянным голосом, отступил от издыхающего животного и поклонился ему в пояс,—как ворочуся без тебя в тихую станицу? Куда подеваю с под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан,—повторил он сильнее и вдруг задохся и пискнул, как пойманная мышь. Клокочущий вой достиг тогда нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви.—Ну, не покорюсь же судьбе, шкуре,—закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица,—ну беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий, глубокий, фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипенье. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновы шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел тогда Репак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Репаку рябое и ужасное лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий,—сказал Репак ласково,—иди до части.

И мы, с пригорка, увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом, сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной и пылающей пустыне полей.

Вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро,—неисчислимые сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна—на-

грудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же на Афонькином возу и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет,—сказал длинноусый Биценко,—такого коня, где его найдешь?

— Конь он друг,—ответил Орлов.

— Конь он отец,—вздохнул Биценко,—бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А на утро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, шестая дивизия пережила смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня,—говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой и свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он неустанно сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До восхищенного нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, этого отчаянного и воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Смена начдива заслонила во всех умах чахлую фигурку Афоньки, его плоские семинарские махновские кудри. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и „Махно“ стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступали в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводную кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временем, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных и сумрачных избах. Один только пан Людомирский, суровый звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом сером жеребце выехал Афонька.

— Почтение,—произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Репак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный,—ответил Афонька, мельком свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Афонька безмолвно подносил руку к истерзанной шапченке. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно сияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была, выкроенная из голубого ковра, куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него. Они задирали жеребцу хвост, щупали его ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь,—сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная,—подтвердил длинноусый Биценко.

Сашка-Христос.

Сашка это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той, поры когда заболел дурной болезнью. Это все так было.

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным. Зимой станица и без Сашки не пропадет. Сашка поработал при отчиме неделю. Потом настала суббота. Они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч, — заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за

косынку, кинул косынку долой. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой.

— Пожалуйста, не побрезгайте мной, старушкой, — прошептала она поспешно и вскарабкалась на лавку. Тараканыч лег с ней и набаловался, сколько мог. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам...

И сказавши это, она увидала Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот деточка глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачек очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачек заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, и жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка: — все святители из пастухов вышли.

— Сашка — святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил...

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу и потом выгон и увидели крест на станичной церкви. Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Таракановой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать.

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково.—Кажи детей.

— Ушли дети со двора, — сказала баба все белея, снова побежала по двору и упала на землю.

— Ах, Алешенька,—закричала она дико,—ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, в чистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел как бы во сне хату, звезду в окне и край стола, и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученых в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух громкий, как музыка, идет с полей, и радуга цветет на незрелых хлебах. Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч, — спи, стервяга.

— Я крест приму, что дело есть,—ответил Сашка,—выдь во двор.

И во дворе, под немеркнувшей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь?— спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись.

— Мне двугривенный без пользы,—пробормотал Сашка,—отпусти меня к обществу в пастухи.

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч...

— Отпусти меня в пастухи, — зазвенел Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель-Сашка, — сказал он шопотом, — вот и вся недолга, я порубаю тебя, святитель.

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи.

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал с своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище Сашка-Христос и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили итти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр Семен Михайлович Буденный заправлял делами в этом отряде и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в первой конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединялся с десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что он был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой-Христом и переложил свой сундучек на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

Рабби.

— Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную.

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружил его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременных хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката. И субботний покой сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь,—прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Он сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал, еврей?—спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы,—ответил я.

— Благочестивый город,—сказал вдруг рабби с необыкновенной силой,—звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд,—прошептал рабби и сомкнул веки,—шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия. Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ,—сказал цадик и затряс бородой,—пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть, он пьет вино, если ему дадут вина.

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек,—сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне,—ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе. Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут.

И мы уселись все рядом—бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу все еще стонут над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремлет у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это—сын равви, Илья,—прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо своих развороченных век,—проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь,—раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского. И он переломил хлеб своими монашескими пальцами,—благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. И сын равви курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек,—забормотал тогда Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс,—если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, и я ушел к себе на вокзал. Там на вокзале, в агит-поезде, меня ждало сияние сотен огней в типографии, волшебный блеск радио-станции, упорный бег машин и недописанная статья в газету „Красный Кавалерист“.

Сын рабби.

— ...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к раб-

би Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в розовом дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут Чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

— ...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торами безжизненное, покорное и прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии... И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. И чудовищная Россия, неправдоподобная, затопала лаптями по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны и переломленного на-двое солдатской котомкой, что мы, преступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек, и две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное и застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную и курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе, Василий,—мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо Ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древне-еврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня—страницы песни песней и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский...

— Я был тогда в партии,—ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару,—но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции—эпизод,—прошептал он, затихая.—Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель,—закричал он с отчаяньем.—Кулачье открыло фронт. Я принял свободный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, принял последний вздох моего брата.

Человек с бородой.

Рассказ.

Даниил Крептюков.

I.

— Такой, эдакой, всякой... А собою смирён...

Это так мужики про товарища Челнокова промеж собою мырмотали...

Был он патлат, волосат, бородат, как петух галаган... И так же тих... И так же смирен... Только

— В тихом омуте — черти водятся...

Это свои, собратья, сопартийцы, сотоварищи, соратники, со..., со..., со..., этак про Челнокова. Почему, отчего — сами не знали... А только — так положено ему на роду было: и смирён, и на Ивана богослова схож, и борода, как мак, махровитая, только черная, как жук, — а вот же — не было у человека той самой кости в душе, на которую люди, как мухи на мед, льнут, летят, липнут, нависают...

— Борьба с излишествами...

— Ну, борьба — так и борьба... Какая разница?.. Разве это не мы революцию устроили?.. Да еще какую!.. Мы же ее устроили...

Этот такой один с подслепцем, в галифэ...

Другие сидели, чадили носоверткими папиросами, поднимали руки, опускали, головами водили, тыняли, слоняли из стороны в сторону, — от жары, от тепла, от солнечной энергии, выжженной человеком из дров, из продукции Вятколеса, из суземов дикой Вотландии...

Начали с одного, собою сухопарого, беззадого, и на две пары смотрит...

Приехали к тому на трех подводах человек восемь... Подступили...

— А это что?..

— Как что?..

— Та вот... на полу у тя-а разостлано?..

— А вы шож сами поослепевали... не видите?..

— А борьбу с излишествами знашь?..

Тому стало скучно...

— Тэкс... Ермолай, запиши...

Ермолай записал.

А на полу у беззадого, — на две пары смотрит, — коврик ошарпанненький, одерганненький, сапогами заезженненький доживал не часы — минуты.

Записали ковер барахольный в большую, толстую книгу... А эту книгу препоручил Челноков остроскулому, ноздреватому, краснорожему, словно вывернутому наизнанку товарищу Ермолаеву...

Кончили с этим. Вписали, вбухали, всунули... К беззадому ближе подкатились.

— А это что?..

— А это кресло...

Руками сиденье у кресла общупывали... Было оно старо, с пружинными, острыми жилами, вывернутыми наверх...

Головой замотал Челноков, как корова от гнуса.

— А почему мягкий... с пружинами?.. А пролетарий на заводе тоже разве имеет мягкий?..

— Мягкий?.. Вот это такой мягкий?.. Да я всю шкуру на ж... содрал, а он — мягкий...

Челноков влип тому в рожу... Корил глазами, проедал, прокалывал...

А к Ермолаеву голову как на шарнире обернул — вымымрил из себя, из скважины в бородатой, волосяной трущобе...

— Запиши...

Записали еще чернильницу бронзовую, с дьяволёнком на втулке... Только было у дьяволёнка доброе, спокойное лицо, нос пуговчатый, пообтерт самую малость...

Ушли. Дверями назидательно хряпнули внизу. Стало тихо.

Только пострекотывали клавишами, буквы выбивали, машинистки в Фердикорхозпромкомгубе у беззадого зава Фердикорхозпромкомгуба.

А сам беззадый, тонкий, как лягаш, безживотый, безмясый—харкал кровью в тряпицу из кармана, руками наводил страх на стены, на стол с обломанным углом, на дырявое, просиженное кресло в кабинете.

Был он — в чахотке, в катарре кишок от фронтовых супов, в малокровии, в неврастении и во многих других хворобах...

На курорт по комиссии просился, но ему сказали:

— Очередное излишество...

Он захрипел, закашлял и ушел.

А теперь — и сам знал, и все знали:

— До весны разве только... А там — крышка...

А кресло, — рваное, ребристое, с проволочными, игластыми жилами, — точило упрек, бессмыслие упрека, нелепость упрека тощему, беззадому, кровью харкающему, домирающему человеку.

На дворе была стужа и был мороз... И за выгоном стлалась река, как огромный белый лист бумаги.

А тут, в городе, в людях — прели люди в ярких, кричащих противоречиях... Искали неискомое, большое, как мир, заливающее всех людей... Искали в просиженном, продранном, харкающем паклей и обрывками рогожи, креслице...

Борьба с излишествами...

А в Москве на Воздвиженке высокий, горбоносый человек во френче вытянулся в кресле, расправил отекающие ноги, зевнул, положил сводку дел по России „о борьбе с излишествами среди членов партии“ в заношенный, пропоченный портфелек... Сказал не сказал, а подумал:

— Заставь богу молиться — а они лбы поклонами отобьют...

Такую мораль вывел человек от сводки.

II.

Коммунист Ячеечкин был, как глиста в брюхе, когда в брюхо папоротниковой густоты, прозелени, вытяжки вглотнут.

Ходил не ходил: двигался...

Был флегматичен, как покойник на морозе, был медлителен, как вол в ярме.

Только спокойные волы все побольше сытыми бывают, а этот, — член Р.К.П. (большевиков) товарищ Ячеечкин, Единый Партбилет № 4762587582682 был гладен, тощ, алч, наг... Ну, хоть не наг, а телеса,— не телеса — телесёнки.

— Отче-е у тя-а штаны каки-то таки эдаки?..

Это один такой спроснул, вроде как из жáлю...

— С вентиляцыей... оно так, вишь ты, свою пользу оказыват...

А третий:

— Не штаны, а портки... Языка русского не знашь... Штаны — это, скажем, ежели в порядке одёжа... Тогда штаны... А так—портки...

Был в чахотке, в неврастении, в катарре не кишок — коробки желудочной, — с воркотом, с песней, с протестом, с передериверевкой, с почгой, с клейтухом в животе, под сердцем, под грудобрюшной преградой.

— Вот так подворотит под эти места — не дохнуть...

Говорил и дышал хрипотно, блевотно, на разные голоса, подголоски, подвывки.

Где-то на дальнем севере.

— Лешак занес...

в губсовнарсуд следователишкой.

— Старший следователь губсовнарсуда,—

советской рабоче-крестьянской фемиде...

Была она баба бойкая: но по библиям старым богу молилась, — толстым, пыльным, архивным, а бессердым, бездушным,

СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,—

а по своим акафистикам, марксизму, историческому материализму:

„БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ",

книжице малой, пиголь чатой, в политурках красносереньких, — одной красной краски докрасить не хватило оттого, что

разруха в производстве,—

толщиной на полдесяток козьих лапок не хватит ежели да...

— Сами понимаете... Шо кодекс?.. Ну, шо он, примерно, скажеть??. У меня — ррреволюционная законность — это раз... А второе — коммунистическое правосознание...

Это в восемнадцатом, в девятнадцатом, в двадцатом...

На двадцать первом году умные люди собрались в Кремле. Выкурили две сотни папирос. Испоили два фунта мелко искрошенного сахару. Три самовара ведерных употребили. Не кричали, не ругались, а слушали: один говорил, а другие слушали. А потом поднимали руки...

И вышло от этого то, чем фемида советская носы всем фемидам земли вытирала:

— Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р.

— Уголовно-процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р.

— Гражданский кодекс Р.С.Ф.С.Р.

Это страшно важно потому, что товарищ Ячеечкин спал с кодексами, ел кодекса, опоясывался кодексами, лоб перекрещивал — кодексами, все истины всех времен, — всех планетных, подпланетных, запланетных, межпланетных, правд, кривд, молитв, отченашей, богородиц, всего, всего — чем живет человек, и чем думает, и чем ту кишку, которая из души человеческой раструбом вытык имеет, — думал, спал, бодрствовал, жил, серединой ползал, — середкой, печонками, — искал, нюхал по кодексам... Кодексиную кровь — иссосал, выпил, вварил в себя, в свою кровь, в свои:

— Туберкулез во второй стадии...

— Катарр желудка в застарелой форме...

— Неврастения, граничащая с функциональным расстройством мозговых центров...

Собою был паршивый, чахоточный.

— Недоброкачественный какой-то... (это из губпродкома один)

тощий, впалощекий, безбрюхий, костозадый, большеголовый, остроскулый...

Это физика.

А душа в человеке была — как мир, как мироздание, как музыка, как река текучая, песнопевная веснами, успокоенная в берегах летами, в море идущая, в море людского, сурового рокота, борьбы, металла, железа, крови, протестов, горя, голода, нужды, всех анеров большой страны, заглотившей стихийным глотом одну четвертую мира.

Это психика.

Ну, а известно — бывает разное на свете: бывают стыки, свыки, мыки, ...ыки, ...ыки...

— Стык — это когда стыкаться: не от себя, не от своей воли, а по чьему-то, по чьей-то, по чьим-то... От как йиирманиць и Россия...

— Смык — это когда по-своему, по волям своим, по слабоде, по душам, по кережам своим, по болям в руках, в ногах, в душах, в мозолях... От как город с деревней... Муж ейный — город... Женка евонная — деревня... А поп, к примеру сказать—ежели для порядку старого,— власть совецка, камуния, рекепе...

— Свык—срост, привычка, навык... Собака на цепке — привыкат,— буват, —тож... Так и человек, ежели он смирён...

У Ячеечкина — не свык и не стык... У Ячеечкина — смык: по доброй воле человека кишка нутряная, — своя, — собственная, от души корень пустившая, — привела в губсовнарсуд, в следователишки, в сердца советской фемиде вонзила, в трехрублевую службишку, в недоедание, в недосыпание, в борьбу с преступностью, с воровством, с конокрадством, с бандитизмом, с хозяйственными преступлениями, с гумами, с богородско-херувимско-исусовскими трестами, — видно поп, — иже бе во Тихоне, — предом правления треста состоял,—с контр-революциями, со всей маётой жизни, начало положившей под патлой волос в мозговой каше того самого, который смотрит гранитом, алебастром, мрамором, высеченным резцом советской скульптуры, на Тверской, в том месте, где человек, по кличке Каляев, одного прохвоста в могилевскую губернию закалил, — начало положившей,—самую середину взростившей в башке, в просторной душе того, кто сказал:

— Мир хижинам — война дворцам...

У кого умные, лукавоватые, русские, мужичьи глаза, простецкий носище, середняцкий тулуб, интернациональная, космическая душа,— у кого — лекари не лекари, — лечат — не лечат,—один в Вяти сказал как-то на днях:

— Если не существует средств на земле, чтобы вылечить Ильича — надо дать задание Марксу...
сказал серьезно, оттого, что человек с ума начал сходить от горя, — должны вылечить, должны вернуть шпиль одной четвертой мира...,— а конца — конца не видно, нет, не будет, не было, потому что

— нет конца тому, что бесконечно, что неопровержимо, что как солнце, или как законы мироздания, или как высшая стихийная правда неколебимости законов природы.

Нет конца бесконечному, к чему придет человечество через

КОММУНИЗМ...

Это —

Маркс — начало,
Ленин — середина,

а коммунист Ячеечкин —тоже середина, потому что коммунист Ячеечкин — это клетка от организма Ленина, отмирающего, шелушащегося, давшего -приплод, прирост, разродившегося —

Советской властью, закреплением завоевания Октября.

Будь же ты на век благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
(Есенин.)

Ячеечкин — это Ленин, это Маркс, это все люди, которые — люди, а которые свиньи — те не люди: те вошва, те гнидва, те

капитализм, поддерживающий старые законы экономических противоречий людей.

Но Ячеечкин—напоролся на кол. Оттого он напоролся, что был он наивен, прост, целомудрен, чист... Тетка идея вневестилась в него, вгнездилась, влипла, как шевская смола в белое майское платье: не вымыть, не облизать... Выломать?.. Заплатать?.. Живой души не заплатаешь...

А кол, на который напоролся Ячеечкин, был хоть и кол, а не кол: человек был... И звали того человека по одной кличке:

— Губпрокурор...

по другой:

— Член Р.К.П.(большевиков). Единый Партбилет № 29785784297486..

по третьей:

— Товарищ Горлодеров...

А собой был Горлодеров — как клоп, который к утру, крови насосавшись, за обои норовит... Раздавишь — вонище, кровище... Видишь— кровище-то твое, от твоей крови... А от чего ж вонище-то пошло?..

Ячеечкину за срочной справкой в неурочное время к Горлодерову понадобилось. Из губсовнарсуда выгулькнул. Руки в заусенях, в ободранцах, в рогоже ногтевой — ко рту, к пару, к дыханию норовил, чтоб зябь, стужь, холод из рук выгнать...

Пришел. Позвонил. Выходит — курва-курвой, напудренная, лориганом прет, в кармине губами купалась, золотое зубье изо рта кирпичины просит. Поморщилась. Носом повела.

— Что вам угодно?..

— Мне бы к товарищу Горлодерову... По делам срочным...

— Барин отдыхают... И дома они никого не принимают...

Французский замок щелкнул. Фыркнул наморщенный зобик.

Ячеечкин в губком. Горлодеров — тоже. Но Горлодеров —

ответственный

и Горлодерову

поверили.

А Ячеечкина

за склочность

в другую губернию.

Так и вышло.

Это —

не борьба с излишествами,

это —

РАВНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЮ.

Много есть людей с разными винтами. У Ячеечкина — свой винт, да такой — ищи не ищи, — другого такого не найти.

Ячеечкин был музыкант.

На скрипке, на коробке деревянной, уродливой формы, на четырех жилах, на пучке конского хвоста выводил Ячеечкин такую музыку, такие печали, такую боль, какие живому человеку не каждому удается и во сне слышать.

А Ячеечкин был свой, знаемый...

Собрать много народу, показать как человек в мертвую коробку, в дерево, в сухие жилы жизнь влагает.

Не было случая такого... Забыли все о том, что Ячеечкин музыкант... А те, кто и знал, — как-то ни туда, ни сюда.

А выучился Ячеечкин в коробку, в дерево, в сухую жилу жизнь влагать — в консерватории в Лейпциге.

Дело давнее и неохоч был в тары-бары пускиваться. Все больше молчал. В себя заглатывал. В себе жевал, изжевывал, прожевывал. Выходила — та самая харчь, без которой человек—не человек:

— Человек не человек, а и свинья не такая...

И вышло так, что та самая другая губерния, в которую

— за склочность

Ячеечкину высылка получилась, — совпала эта губерния с той, в которой товарищ Челноков по партлинии тень наводил... Борьбу с излишествами среди членов партии открыл...

И еще вышло так, что нанесло товарища Ячеечкина, — прямо с вокзала, как только в ссыльную губернию вступил, — нанесло на Челнокова.

Сошлись. Друг в друга, морда в морду, глаз в глаз, нос в нос— вставились. Продержались так полминуты. Ни тот, ни другой не сдал

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Тот, что борьба с излишествами, тот, что с бородой черной, под кучерявленной, ляпал этому одно за другим:

— Откудова прибыли?..

— Из Цека...

— А-а-а-а-а...

— Та оно известно, шо от Цека... А все-таки... До Цека где бували?..

— В судейских органах работал...

— А-а-а-а... В судеских говорите?..

Тот мыркнул что-то в ответ.

— Ну, — а иде вы учились?.. В каких школах?..

— Учился в реальном... А потом учился в Лейпциге...

— Игде... игде?.. В Липецке?.. Это будеть из нашей Тамбовской ггубэрни?..

— В Лейпциге, а не в Липецке... Это в Германии будет...

Тот обескуражился, глазами зализал пол, потолок, портреты... Похоже было — от скуки углы считал в большой комнате губкома.

— А я думал в том самом Липецке, иде мы с нашей дивизией Деникина крыли...

— Нет, товарищ... В Лейпциге... В консерватории... По классу скрипки... На скрипке играть учился...

— А-а-а-а... Вот оно как... Ну, так мы вас направим в глухие места. Будете там играть на скрипке... Там ячейки темные, слепые... Для их будете наигрувать...

У Ячеечкина защелкали челюсти. Побелел весь. Изжелта желтый стал.

— Товарищ... Я, полагаю, принес бы пользу в губернском городе... Тоже и здесь можно на скрипке играть... Кроме того у меня вторая стадия... Врачебная помощь здесь есть... А там...

— Излишества... Недопустимо... Ведем самую суровую борьбу с излишествами среди членов партии...

— Игра на скрипке излишество?.. Вот это здорово...

— Чиво здорово?.. Дисциплины партейной не знаете... Там можна... Тут нельзя... Потому — там демократия... Равнение держим на демократию...

Через три дня тряссся в тележке товарищ Ячеечкин за двести верст от губернского города в дальнюю трущобу... Это трясся человек с консерваторским образованием, артист в душе, не нашедший себе применения, тынявшийся от тумбы к тумбе, сам не свой, себе не принадлежавший, паршивый какой-то, чахоточный, со всеми анерами страны, стихийным глотом заглотившей одну четвертую мира.

А вышло это оттого, что

борьба с излишествами,

еще оттого, что

равнение на демократию.

А через две недели человек во френче, с горбатым носом, в Москве, на Воздвиженке в кресле вытянулся... Хрустнул массивный костяк. Человек закурил, сложил разбросанные бумаги, доклады, письма в толстую папку... А на папке стояло:

Дело № 9627648759

О БОРЬБЕ С ИЗЛИШЕСТВАМИ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ.

Человек плюнул досадливо. Из себя, с середины выдохнул:

— Заставь богу молиться, так они поклонами лбы расшибут...

И человек положил папку в портфель.

Взял отдельно лежащую тощенькую папку.

Было на ней старательно выведено:

Дело № 72598457629758

О ВНЕДРЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ...

Человек раскрыл папку, глазами влез в бумагу. Сидел до четырех утра. Потом хряпнул дверью. Сел в машину. Уехал в Кремль.

А за пять тысяч морских миль от Москвы, в огромном дворце посреди семимиллионного, — в саже, в слизи, в тумане, в копоти, — города, старый джентльмен прожевывал тоненький ломтик хлеба с маслом... Человек только что проглотил кровяной ростбиф, а хлеб с маслом жевал по старой английской привычке...

Шевелились старческие губы. Пергаментные нити ползли по щекам, стянутым многолетней бритвой, затаенной, стиснутой в себе желчностью, степенностью, холодностью, сухостью застарелого британского лорда. Под глазными мешками пергамент плелся в сетку.

Человек взял секретную папку с бумагами. Со всех концов мира слали человеку верные люди то, что нужно было президенту английского кабинета...

Все отложил человек ровно, бездосадливо, как машина. Только влип глазами оловянными в папку с красными наугольниками...

Человек раскрыл папку. Мелкую дробь стенографистки глотал глазами. Прочел:

— О расколе среди большевиков...

Плотоядно ухмыльнулся. Вышел из каменного равновесия, из которого не выходил со дня увода солдат владычицы морей из варварской страны. Руки потер от восторга, заливавшего извилины мозга сердца, души холодного человека. Позвонил лакею...

А кругом млел семимиллионный город... В копоти, в гнили, в тумане, в машинном сале — билась, тряслась, скрежетала, пела, плакала, выла, стонала упругая человеческая мысль.

Человек сел в закрытый автомобиль.

Человек уехал в парламент.

III.

Велика Вять, обильна, мездревата, покорлива... Клоплива... Как овца все равно, когда о ильинадни бабы шерсть ильинку стригут: ногами, клавишами роговыми, ратицами, пальцами двумя с надпальниками — в чокот, в луск, в треск, в испуг овца ударяется... И с припахом: чуть-чуть стойлом, калом овечьим, овечьей, пряной дробью относит...

Так и Вять: обильная, покорливая, мездреватая, сыторунная...

Такие еще бабы бывают: о осьмнадцати годках дома замуж отдадут, а к сорока—двадцать двое головастых, полнобрюхих, налитых кровью свежей, красной, пахнущей мякишем ржаным, полями ржаными, суземами звонкоголосыми, телятами опоечными, неторопкой, обстоятельной, вымозгованной жизнью...

— Таких баб, как в Вятке — а ни-ни нигде нет... Гликось — одни ноги чего стоють... А зад... А утроба... А постать... Прямо детородный трактор, а не баба...

Это был такой, умный очень, только худящий: должно смалечку глиста иссосала сердешного...

Все говорил:

— От, скажем, интилигенцыя... Баба не баба, а так: пшик один... Хороший, ежели, мужик придавит — шо от ее скоится... Надо, значит, штобы для потомства — запретить рожать таким эдаким перехваченным... От их все равно не потомство, а короста, тля... Баба, ежели она, скажем, мене пяти пудов навесит—рожать не должна... Потому—люди крепкие штобы нам нужны, а не так...

Что не так — он так и не досказывал. А человяга умный был. Только от самого-то:

— Трехпудовая была—и та сбежала с комиссаром...

Млявый был человек, сухоточный, высосанный еще со студенческой парты шлюхами с Невского...

Коровы в Вяти — такие же: толстозадые, женственные, ленивые, степенные, точь-в-точь как прежде заводчихи со всех сорока сороков кожзаводов по Вятке, Вятице, Вяти: в Слободском, в Вахрушове, за Дымковым, повсюду — где яловая, выростковая, овечья, баранья, опоечная прибыль хвост покажет.

Только новые люди понаставали — крепконравые, волелюбивые, твердосердые, а собою, физикой, тулубом людским—млявые, истертые, без крови, без мяса,—нервы одни в глазах съехались...

Такие вот еще пятаки бывали в прежнее время: пойдешь за фунтом керосину, а за этот пятак и не дадут ничего: стертый, не видно и что за пятак такой...

А из какой меди сделан тот пятак, что в нем, в середке,—за магнит такой—лавочникам дела мало: рожа была бы как писанка размалевана, а до середки—начхать.

Губздрав комиссию сделал. Пустил на комиссию всех людей новых. Смотрела комиссия неделю, другую смотрела, третью, месяц, а конца все не видно было. Кончила смотреть последнего, а первый уже ноги вытянул: не дождался сердешный, пока комиссия хворь выгонять будет...

А признала комиссия:

— Вполне здоровых—12%.

— Вполне больных—70%.

— А так,—середка напополам,—все остальные.

Покрутили головами в губкоме, отправили десятка полтора в Крым, а там пошло все по-старому.

А комиссия сказала:

— Ничего не поделаешь...

Это прежний социальный гнет на потомстве отразился... Наследственность, подкрепленная лишениями гражданской войны...

— Ну, конечно, комиссия — люди умные, ученые и все такое... А только на этом месте — дурака валяют ребята... Лечить надо — это

первое. Кормить надо—это второе. Не изнурять непосильной работой—это третье.

Это тот самый такое крыл, который о бабах тоже...

— Чтобы, значит, баба не мене как на пять пудов... А мене—рожать не моги...

Золотым поджаренным блином падало солнце в сузёмы за Вятью, в луга предвечерние, ночной дымчатой истомой передернутые... За Дымково, за заводы спичтреста со огоньками по ночам многими, свет точащими в Вять, в зябь ночную, в пески прибережные, в холоде сна земного слегшиеся над Вятью.

Всплакнуло раз-другой небо... Только радостные слезы были, теплые,—такие, какими плачет мать над ребенком, когда у того на губе первым пухом обомшеет.

А от слез этих, от теплоты, от любви, от влаги сладкой, какой плакало небо, шелестели шелестом шелковым ржи на полосах длинноподолых, яри—в том клину за лесом, врезавшиеся промеж гула, промеж трепета, промеж суземной, дикой воли лесной на широком лоне земли.

IV.

Борьба с излишествами среди членов партии.

В первую неделю—набрали лошадей с полдесяток, семь ковров, четыре кресла, а прочего барахла—было не было,—а не было...

Товарищ Челноков переступал с ноги на ногу, нос чистил мизинцем долгоногтым, не курил, не пил...

Только бороду черную маленькой расчесочкой,—а толстозубой,—очесывал, скоблил, греб, выгребал дичь деревень вятских, вотляндских, кумышечных, банных, парких...

Вернулся самоглавный из Москвы: член ВЦИК и все такое...

Челноков к нему:

— Так что—борьбу с излишествами открыли... Успешно проходит...

Докладывал тому. Опережал бегущую мысль. Глазами черными,—с желтизнинкой, с суровью, с мережковатой, рябкой дрожью,—сек того в стекла, в середину, в глаза, в свет глазной впуклые...

Кончил. Бороду метельчатую, из березы сделанную,—как веник в бане,—чеснул, скребнул, одернул.

Булькнул расческу толстозубую в кармашку на левой стороне гимнастерки.

Поглядел тот на Челнокова. Сквозь стекла всверлился до сердцов тому...

— Прыти больно много, дорогие товарищи... Напрасной прыти много...

— Как это?..

— Да так... Что сделано — то сделано... Не в том дело, что на рысаках ездят, по коврам ходят, в креслах пухнут... Ежели, скажем, ответственному работнику на кляче ездить, так скорей можно пешком дойти куда надо... Не в этом дело...

— Ну... а в чем же?..

— А в том же... Не нужно допускать, чтобы все эти кресла, ковры, рысаки — в мораль человека, в идеологию, в душу въедались... Не нужно, чтобы люди от кресел — кресельниками становились... Чтоб душу, мораль, идеологию нашу все эти кресла не разъедали...

— Гм... гм... А-кхи...

Чихачка забрала Челнокова. В носу ковыряло, словно будто кто туда соломинкой порснул.

А этот,—член ВЦИК и все такое,—свое резал:

— Ты возьми вот себя к примеру...

— Гм... Гм...

— Вот же сидишь ты в кресле?..

— Гм... гм... гм...

— И на белой лошади,—куда получше чем у мужика,—ездишь?..

— Гм... гм... А-кхи... кхи...

— А на заводе когда был—ездил?..

— Гм... гм... чхи...

— Однако ты же от этого не перестал быть коммунистом?..

— Кхи-и... А-гмы...

— Или вот, скажем, когда на заводе выступаешь перед рабочими... Маслом, олеонафтом, кочегаркой несет ото всех...

— Гм-гм-гм-гм...

— Чувствуешь ты, как сливаешься с ними?.. Слышишь — как грудь тебе распирает?.. Знаешь, что они и ты—это одно целое, неразрывное тело?..

— А-мы-ы... гм... гм...

— А ты ж в креслах сидишь, на рысаках ездишь, по коврам ходишь, в теплой сухой квартире живешь?..

— Гмы... гмы... гм...

— Так-то, брат... Не в коврах дело, а в идеологии, в том, как человек эти ковры воспринимает... Если ковры для него главное — метлой такую сволочь из партии... А если по коврам он ходит так, временно, потому что есть ковры у нас—это пустяки...

Тот доколевал. Борода ершом в горизонталь, в перпендикуляр к подбородку, в прямой угол с носом взъершилась... Беленькой, необрубленной тряпочкой от сорочки жениной, вымокал лоб, нос, переносицу, омоченную чувствами, саднившими нутро.

И ругался бы, и кричал, и голосил, и так бы и дал в харю, в стекла, в скулы остроуглые этому — член ВЦИК и все такое — да чуял сердцем рабочим, середкой, селезенкой той, что у самой души

горит горем горючим, несгораемым в каждом рабочем сердце, чуял — что прав этот, что говорит он—так как и след, что зарвался он, Челноков, в своей классовой прыти, в поисках правды рабочей, в примитивном разрешении того, что веками вкапливалось в каждую клетку жизни, выпарчивало, выгнанвало, выкоростивывало всю святость, всю чистоту, всю красоту возможной жизни человеческой, такой простой, такой прекрасной, такой лучезарной,—но такой подлой, искалеченной превращенной в оконтуженного, ослепшего, безногого инвалида на костылях...

Будь ты проклята, история, направившая пути человечества по обманному руслу...

Будьте прокляты вы, навозные жуки истории, слепые, подлые кормчие, поворотившие руль корабля на заре человечества — в туман, в згу, в гной, в изъязвленные, немощные этапы канувших в вечность времен...

Возрадуйтесь, возликуйте, вострубите в трубы голосистого зыка новые вожди новых людей, новой планеты земли, в новой планетной социальной системе...

Но это неважно в данном месте... Важно только то, что человек с бородой, член Р. К. П., товарищ Челноков, беленькую, необрубленную тряпочку от жениной сорочки в карман пихнул... Хмыкнул, гмыкнул, кхыкнул еще десяток раз...

Но чихачка уже прошла, и Челноков прямо и смело глянул в глаза этому... Член ВЦИК и все такое...

Глаза их встретились, обняли, прожгли друг друга...

Два человека, через красный стол, через настольный портрет Ильича, через кипы протоколов — протянули черные, загорелые волосатые руки навстречу друг другу.

А кругом гулко билась земля в осенней сырой росхляби. Косые прожекторы лучей от солнца огненными просеками вклинивались в дымный, затабаченный дух комнаты.

За окнами стлалась площадь, усаженная молодняком, колючей порослью, живыми изгородями... А на площади человек из металла выбросил правую руку вперед... Бунтовал, кликал, звал, мятежем рвал груды людских грудей в яркую, бегущую навстречу, даль...

СТЕПАН ХАЛТУРИН.

Но два человека не думали об этом: они готовились к очередному заседанию губкома, и первым вопросом в порядке дня стояло:

о введении
в твердую систему
кампании по борьбе с излишествами среди членов
партии.

V.

Вечерами напирала тоска на душу... Сырой кирпичиной давила, гнела тощего, чахоточного человека.

Когда ехал сюда—было что-то такое в душе, что царапалось лапками о боковины, щекотало, в задор вводило человека, в блажь, в спорт к жизни, в жизненный энтузиазм, в желание—жить, просто, без мудри, жить хоть с догнивающими, охриплыми, на три четверти выгнившими легочными мешками.

Полосами, снегом засыпанными, озерами, реками, колдобоинами, омурованными зимней красой льдистой, холодной, пропекающей больное изможденное тело до печонок главных,—досовывался на клячонке, безовсой, болтушечной, помойной.

— Сродясь овсов не видывала... И каки на масть овсы ти...

Досовывался до тех краев, куда товарищ Челноков турнул человека догнивать, доживать минуты последние, досамоанализировывать челноковскую премудрость, скоившуюся на человеке в испарине теплой, мокротной, противной, в поту чахоточном, в росхляби выгнивших легочных пустот, куда дух чистый, надворный, зимний — заходил, нос намарщивая, втыкался туда, бежал очищаться из груди хрипкой, как расколотый во многих местах горшок, харкающей, на свежий дух зимы, луговин, полос, сузёмов, хлебных озимей, деревень, в дыму оплывающих, в шаньгах, в сыти, в утробе теплой, в бабах толстозадых, таких горячих утех обещающих, привольной, широкой, как земля, грубой, податливой ласки, всего-всего того, чего лишили человека Лейпциг, страсть к музыке, а самое главное, мораль товарища Челнокова, коммунистического ирода, избивающего младенцев, из-за ложно понятых, не в ту сторону выведенных, извращенных понятий, выводов, моралей, заграбастывающих человека,—не одного, не другого, а десятки, сотни,—в клеть позора, партнарушений, заклейменности, партпровинности, отщепенства, особо чутко рвущего души людей, меж которыми:

Вполне больных . . . . 70%.
Вполне здоровых. . . . . . . 12%.

Остальные—так себе: середка напополам.

А приехал товарищ Ячеечкин в края дебряные, глухие, суземные, разные,—а точь-в-точь одинаковые,—явился к кому надо, туда — куда еще борьба с излишествами пройти не доимела...

Постоял перед лохматым человеком, в пуху от подушки ночной, немытом, нечесанном, с булькающими в носу нечистотными слизями,— в насморка, в нежить, в хворь носовину людскую ударило, — в дырявых валенках, опустившихся в те опусти, в какие опускается человек малокультурный, когда свой пуп, свой руль, свою парусину направит на одну цель, в одно место, удары дает в один гвоздь... Только его вбить, вкромсать, вжилить, всучить в трухлявое, подгнившее дерево,

крестьянского, разоренного войнами, сыпняками, голодами, испанками. продотрядами, колчаками, кронштадтской братвой, маленького, такого неумного, забитого трехпольица.

Постоял Ячеечкин. Посмотрел на того. Подумал:

— Вот где она, жизнь-то настоящая... Вот куда надо было сразу... Когда печонка была здоровая...

А тот скользнул по этому глазами... Анкету взял. Понюхал ее общупал. Всасывался весь в каждое словцо в анкете. Прочел о Лейпциге, и о консерватории, и о скрипке... Сморщился под волосами в пуху. На этом глаза пригвоздил.

— Каку работу можете сполнять?..

— Судейскую... Кроме того — я музыкант... По политпросветительной части могу...

— Э... кака там музыка... У нас все кампании... Кампания за кампанией... Откончили осеннюю посевную — зачалась по сбору продналога... Недобор по уезду шестьдесят тысяч... А куды пойдешь?.. У кого возьмешь?.. Подай — и раз... Тут така музыка — подохнешь с ней...

Перед новым человеком, из губернии, из центра, из самой Москвы,— далекой, яркой, кипучей и кипящей в соку новых мыслей, в живой, творческой крови, в центре революционных новшеств,—из той самой, которую по газетам знал лохматый человек: орготделовец, он же учраспредовец, он же агитироповец, он же предутройки по сбору продналога и много-много других должностей...

Которую, кроме газет, знал еще из окна теплушки, когда везли два года назад отсюда на Польшу многими десятками эшелонов мездреватую, шанежечную, ошарпанную, кудельноштанную, волелюбивую Соврусь.

Из теплушки выгулькнул закрайком носа, с земляной грушей схожего... Увидел площадь, и людскую оторопь, и палахканье красных цветов, кричащих всему бездомному миру о том, что у него, бездомного, есть своя, — хоть и небом крытая, хоть и оборванная, — хибарка, лачуга, изба, халупа, хата: просторная, на четвертую часть мира распанахавшая свои углы, ресофесоэрская, мозольносермяжная Русь...

А Ячеечкин принимал разверстую, необъемную душу лохматого, твердом твердым втерживал в свою отвердевшую, исполинскую душу Ячеечкина, коммунара восемнадцатых, девятнадцатых, двадцатых лет какими долго-долго, многие сотни лет, опорасывалась история, каких в себе вынашивала земля, — матерая, брюхатая, толстосалая для одних разъедающая земным, классовым щелоком голодные челюсти, для других,—пьяная, беспутная, гулящая, изъеденная тлей разврата, болезне проституции, всего того, против чего кричали, пели, горланили, бубнили, говорили, визжали, трубили, выли, проскрежетывали стипнутым типуном классовой ненависти новые люди, на новой, одной четвертой всей планеты земляной:

— Мы наш, мы новый мир построим! . . . .
. . . .

Но Ячеечкин дослушал этого... Глазами впалыми в синем венчике оглядел зашарпанную комнату, мухами осиженные портреты Маркса, Ленина, Троцкого в шишаке, часы об одной гирьке с подвязью мешочка холстяного, песком набитого, плакат Наркомзема,—мужик верзило в рубахе красной рот разинул, пальцами кочевряжистыми на надпись кажет:

„Преступник тот кто режет молодняк“,—

оглядел все это, из себя выхаркнул с кровью, со слизью, с пеной, со сгустком подсердечным—выгнивший комок легких... Глянул глубоко, в самую преисподнюю серых, выпяченных глаз лохматого... И тот—тоже.

Как и те двое,—товарищ Челноков и член ВЦИК и все такое,—через стол кривоногий, через все чахотки, сухотки, катарры, через все болячки керзоновские, выконсервированные в консервных сердцах бритомордых палачей эсесесер,—через все лишения, голод, продразверстки, сыпняк, чуму киргизскую,—в юртах ни одного живого,—нечисть, вошву, гнидву, тараканву,—через все калькуляции всей трестомании, синдикатомании, электромании, тракторомании, через весь мясниковизм, через фракционности, склоки, заклоки, блоки,—через все гумы, щелкановки, через все—что в себе вваривает широкая брюшина „четвертой части мира,—эти двое протянули руки друг другу.

А за шесть тысяч морских миль от ошарпанной комнаты—бритомордого джентльмена перекочевряжило всего, свернуло, как берестину на огне, затрясло, слихорадило, макаркой в зубы, в сердца, в мозг стегнуло...

Оттого все это так вышло с бритомордым, что в большом листе бумаги, усыпанном миллионами буковок, с двадцатью вкладными листами, на самой передней позиции было вытыкано о том, что большевики—и не думают вянуть после дискуссий, но что они еще больше крепнут и что

„никакой надежды нет на развал в большевистской партии“.

Ввиду того, что большой лист бумаги назывался „Таймс“, и ввиду того, что сто пудов стерлингов пропали зря,—бритомордый просычал про себя:

— Какая бестактность... Какая нечуткость... Без них знаю об этом... Хотя бы денек-другой дали потешиться надеждой...

И он по-джентльменски тощенько выматюкался про себя... Выпил виски с содовой для укрепления пошатнувшегося престижа... Закурил полнокровную гаванну.

VI.

Умер Ячеечкин ранней повеснью, когда лапатое, северное солнце пекало землю, выпаривало из земли кровь зимнюю, со снегу накопленную.

Похоронили Ячеечкина на закрайке кладбища, там, где фигура деревянного человека изображала Маркса... Фигуру выделал из корневища кокоры старый кустарь, товарищ Ракитников, семидесяти годов... Оттого „товарищ“, что приходил он к орготделовцу в валенках в ячейку вписываться... Тот поговорил с ним, насчет одного другого спроснул... Не сошлись на чем-то... Так и остался дед Емеля без ячейки, но дедом Емелей быть перестал, а стал—товарищ Ракитников.

Этот же дед и на горбу могилы Ячеечкина звезду деревянную, схожую с крестом староверским, скоил... А на звезде, там, где „пролетарья всех сторон — соеденяйся“, только двумя верхами пониже, сделал дед Емеля вертушку из дерева круглую, гладко выточенную ножом дедовым, с крылышками... Вертушка изображала земной шар, на легчайшем ветру дреньчала, вертелась, билась упорно и постоянно пела воркотливую песню над могилой Ячеечкина.

Мальчата из деревни прибегали на закраек кладбища. Ртишки раззевали простодушно. Пальчонки замусоленные в носы несли. Слушали музыку дедова земного шара на могиле большевика Ячеечкина, партбилет № 27814391031917.

Приволакивал старые ходули голокостые дед Емеля на закраек кладбища, Мальчат сзывал. Мымрил старыми, растресканными губами...

— От так она, власть совецка, рекепе, как ветер... все охватыват... Ишь как вертит—землю-ту... планиду нашу... Десяток-другой годков—всю обернет... власть совецка... рекепе...

Мальчата слушали деда... Ушами лопоухими, ясноискрыми глазятами неслись туда, где гудел земной шар семидесятилетнего деда Емели на горбу могилы большевика Ячеечкина.

Райпросвет и Гришка.

Рассказ.

Ив. Касаткин.

Гришку мы уважаем до крайности. Худого про Гришку не скажешь. Не гляди, что молча пыхтит, а парень умный. Ростом невеличек, шапка ниже глаз, валенцы до пупа,—в этих самых валенцах он и через порог не перешагнет. Так зиму-зимскую и сидит Гришка дома.

А Гришке что? Дома так дома,—ладно и так. В зимнице оконце обледенело и выпучилось, как сычиный глаз. Но в нем можно дырочку надышать. Даже Выдрищу видно в дырочку-то...

Как раз это и есть тот самый Гришка... ну, тот самый... Да известно, какой такой Гришка есть,—отец у него кочегаром на пароходе плавает. Проезжаючи летом по Волге, глянь в люк, в машинную кромешину,—и увидишь: орудует он там у ревучих огненных форсунок, батько-то Гришкин, чисто дьявол в аду,—с непривыку даже глядеть на него, лешего, страшно!

Ну, а зимой он с Гришкой в затоне у нас живет. Тут его дело вальяжное,—знай себе скоблит да прочищает разными эдакими крючками да кочережками пароходные котлы, залезаючи в них с головой и ногами.

Тоже горазд он и в кузнице самым что ни на есть большим молотом гвáздать: почнет свистать с плеча,—даже рубаха взмокнет, со спины пар так и валит...

А то железной эдакой вагой машину вздымает. Наляжет, ощерится зверем, инда грудь трещит, а он: ух!.. ух!.. Либо еще что подходящее ворочает, вставши зáтемно.

На зимовке у нас ведь так: ни свет, ни заря, еще черти в кулáчки не бьются, а ты вставай. Илья, старик-то, как околелый дрыхнет всю ночь у своей караулки, поднявши воротник у тулупа,—но заметь: ни разу не проспит, собака сивобородая! Под утро точка в точку забарабанит в чугунную доску так, что и мертвых подымет!

Гришкина батьку мы знаем вот как—вдоль и поперек. Работяга хрипач ему в глотку. С ним не тянись. А уж ругатель,—птицу налету заругивает!..

Сутулый он, голова по уши в плечи будто колом вбита, глаз узкий, дремный,—прямо сказать: медвежий глаз. А руки и ноги—ухватами. Он и порожнем-то ходит эдак с присядом, будто дюжую тяжесть несет. Такого кряжа-раскаряку за версту отличишь...

И еще примета, — он даже в праздники не умывается, так вот и ходит головня-головней. Недаром и прозвище ему подходящее—Жук. А Гришкина мать — Жучиха. А Гришка — Жучонок. Так все и зовут их—Жуки да Жуки.

Как раз они живут в той зимнице, что с краю затона, — вон где волчьим глазом краснеет огонек из оконца... видишь? Полунощничают. Известно, раз святки, то и у Жуков праздник. А то бы давно спали и пятый сон видели.

Чу! по затону-то — гармонь, песня... Гостится, жирует народ,—из зимницы в зимницу медвежьим ладом так и шастают друг к другу через сугробы...

К разу и ночь-то месячная: гуляй-погуливай!

Зимница у Жуков—как зимница. Гляди вот: в дверь-то влезать чуть не на карачках... А влезешь, шибко не разгибайся: о потолочину стукнешься, и сажей всего окатит.

Жить можно... За день хребтину наломивши, с морозу эдак к очажку привалиться—очень даже любо. А ежели к тому кус хлеба да похлёбка—ну, шабаш, совсем хорошо!

В морозы очажок знамо надо бесперечь блюсти, а то зубом в зуб промахиваться начнешь, либо и нос отхватит. Но и дуром его, очажок-то, не насилуй: свету не взвидишь, заперхаешься в чаду хуже овцы, а напоследок колокола в башке зазвонят, в глазах радуги пойдут... Ну, тут уж не зевай, — ищи дверь. А то окочуришься без покаяния, как Терентий Ягодкин в прошлом году...

Жучиха, та обиход знает: подбросит плашку-другую, да и в сторону,—то портки чинит, то в шапку новую тулью вставит, а там, глядишь, рукавицы вдрызг продрались на пахолках...

Ведь на Жуке в этой проклятущей кочегарской работе одёжа горьмя-горит, не напасешься ему одёжи! Ладно — святки пришли: маленько подобралась с учинкой. А то ведь и переменить-то ему нечего, так на нем и чини, а он ёрзает, лается, Жук-то.

Ему все, вишь, к спеху подай. Такой рукосуй да торопыга, страсть! Намедни эдак-то, вылезаючи из котла, штанину напрочь отхватил. Прибежал и давай матюги вить... А кто виноват?

Вот он, идол праздничный, с харей-то непромытой сидит за столом да гогочет... Налил зенки, ему и ночь не в ночь. Знай муслякает карты и шлепает ими по столу, да так, что коптюшка чуть не гаснет...

Тут же кум Петруха штурвальный, да одноглазый Семен масленщик, да кузнец Рыжов со своим подручным Гаврюшкой. Режутся в козла-козловича. Кто козел, того всей колодой по носу чихвостят.

А Ваську Чумичова не в третий ли раз в Выдрищу за вином погнали! Винища этого теперь там в каждой бане—котлы, хоть окатывайся. Недаром Дементий Галочкин, машинисту помощник, вчера там опился...

А Гришка—ничего...

Гришка-то хорошо живет, смирно. Ему что? Заколобелым батькиным шубняком укрылся—ему и ладно, тепло на нарах-то, и Жучиха тут же, под боком дремлет... Гришка уже не два ли раза выспался. Кабы не требушина, еще бы спал...

Рыжов, кузнец-то, принес на закуску жирный сычуг требушины с руку. Так прямо и выложил на стол,—ешьте! Не едят, Ваську Чумичова с вином из Выдрищи ждут...

У Гришки слюна так и подкатывает. Немигаючи глядит на эту требушину: дадут или не дадут? Пожалуй, не дадут, не вспомнят... А может и дадут? И что это Васька Чумичов долго не идет из Выдрищи?

Надо в дырочку поглядеть...

Оконце как раз в головах. Гришка посунулся, надышал дырочку и глядит-глядит в нее одним глазом...

На воле от месяца светло, что днем.

Вон у караулки дремлет Илья в кирпичном тулупе, воротник поднял трубой. Вон за сугробами спят зимним сном белые пароходы и чернобокие баржи... Оснастка мачт по небу, по звездам — как струны. Вон кузница, от нее к реке черной змеей тропа натоптана. Там, из проруби, конопатчик Митька Прахов блесёнкой раз окуня вот эдакого выудил, только сорвался, ушел окунь-то.

А Васьки Чумичова так и не видно...

Со стола покатились пустые бутылки,—батько, Жук-то, на бутылки без внимания. Засучил волосатую руку до локтя—и всей колодой чешет кума Петра по носу. А Гаврюшка, кузнецов подручный, распялил хайло и гогочет. Обрадовался: не он в этот раз козел-козлович, а Петруха,—го-го-го!..

Гришка глянул на картежников и опять глазом к оконной дырочке,—в дырочку смотрит.

Илья у караулки шевельнулся, его тень на снегу тоже шевельнулась. Вот он встал, потопал ногами, отогнул и опять поднял трубой тулупий воротник — и замер, как глиняный столб. Тень его по стене караулки захлестнулась на самую крышу, а навьюженная снеговая крыша—гриб-грибом...

Поле за сонным караваном судов так и горит синей морозной искрой. За полем мигают огоньки—Выдрища. От Выдрищи сюда бежит дорога, еловыми вешками утыкана.

По этой вот самой дороге — ой, как ждали!—на святки приедет, мол, в затон... как его... рай-про-свет,—да, райпросвет самый. Приедет, мол, и зачнет очень даже замечательные представления делать, то-есть для народу, чтоб скуки о праздниках не было.

Эти дни во всех зимницах только и разговору о райпросвете, а Гришка в дырочку все глаза проглядел: вот-вот покажется он на дороге от Выдрищи... Да так и нет. Жди его!.. Кумачовую-то материю в той избе, где контора, пожалуй, зря понавесили, — лучше бы на рубахи...

Дементий Галочкин, машинисту помощник, этими делами орудовал. Меж кумачей-то да меж ёлок выставил там на картинке эдакого очкастого, с залысинкой и в бородке, — скрозь очки петухом глядит вкось... Это-де и есть на всю Россию народный комиссар, набольший всем... как их?.. райпросветам!.. А живет-де безысходно в Москве.

Галочкин-то и сам всю неделю по книжке сумасшедшего читал... Тоже о празднике хотел, заодно с этим райпросветом, сумасшедшего представлять. Он уж такой Галочкин-то: походя с книжкой. Даже щи, бывало, хлебал с книжкой, а за стол садился, не молясь.

Гришка глядит в дырочку — на зеленый месяц, на звезды, и думает всячину. Тоже и про Галочкина, что кумачи-то для райпросвета развешивал. Этот Галочкин с горя вчера ночью в Выдрище так нахлестался, — не приведи бог... Оттуда к зимницам на карачках, ползком он... Середи поля уснул, да ноги и отморозил... Увезли его сегодня. Одну ногу, слышь, напрочь отрежут,—шутка!

А Васьки Чумичова нет и нет!

Отвернулся Гришка от дырочки и вздохнул. Вчера машинистиха подала ему кусок свинятины: еле упихал... Сегодня только картошки с конопельным маслом поел. Ой, слопают всю требушину!..

Рыжов откромсал край и жрёт... Борода—пакля-паклей — по скулам так ходуном и ходит... Семка-масленщик тоже подготовился, держит стаканчик, кривой глаз в требушину целит...

Кряжами вкруг стола навалились они над коптюшкой. Картами по столу — шлёп да шлёп... Красный язычок коптюшки подпрыгивает, черные тени качаются по черным стенам... И вот очередь опять до Гаврюшки: козел-козлович!.. ура-а!

Он со страху — под стол. А Рыжов его оттуда за шиворотки. И давай всей колодой по длинному носу отсчитывать.

Действует Рыжов неторопясь: карты языком помусляет, в нос ими Гаврюшке потычет, даст понюхать, примеряется и — рраз! Гаврюха прямо к потолку подскакивает... Нос у него вспух, сделался малина-малиной, нос-то.

И не Гаврюшка он теперь, а козел-козлович—и больше никаких!

По этому случаю, сияя глазами, выпили остатки. Рыжов занес над требушиной кривой нож, искромсал ее на ломти. Закусывали, ворочая скулами, и молча оглядывали Гаврюшку. Тот промигаться не может: пальцами эдак осторожно щупает нос...

Прожевавши требушину, враз как взгогочут над унылым Гаврюшкой,—пустые бутылки на столе, и те зазвякали.

Ночь-то святочная долга.

Удумали на палках тянуться. Сели на пол, растаращились—и давай кряхтеть. Они кряхтят, выпучивая глаза, а мороз в стены: ух да ух!

Жук-то, батько Гришкин, оказался удалее всех, недаром руки и ноги ухватами. Кума Петруху через себя так жмякнул, что тот и ноги кверху, а головой малость в очаг не влетел...

С гоготу вся зимница в тряс пошла!..

Гришка под шубняком—и тот весело взвизгивает, заливается.

Гаврюшка и про нос забыл,—распалился, тоже тянуться сунулся. Жук его на одну ручку эдак принял... Покачал-покачал, стукаючи задом об пол... да-а как хрястнет кувырдышом прямо в стену! Тот налету как рот-то раскрыл, так и сидит там, и зенки выкатил...

Тем разом Васька Чумичов из Выдрищи прискакал.

Из пазухи бутылочные горлышки торчат, в руках тоже бутылки. Голова у Васьки сверх шапки платком оповязана и с морозу вся побелела. Мигаючи мёрзлыми белыми ресницами, выставляет бутылки на стол, сам—скорее к очагу... Подсовывает туда плашки, ворошит жар... Огонь трещит и пляшет, кидает на Ваську красный свет. Васька пялит над огнем окоченелые руки, лицо от жару в сторону воротит, греется, покряхтывая...

А ему уже стаканчик свеженького протянули, — стаканчик-то в тепле так сразу и запотел... Васька—чубырк его в горло!

Тут и пошли стаканчик за стаканчиком опрокидывать. Скоро требушины и званья не осталось: весь сычуг слопали. На закуску макали хлебные корки в соль. Гришка и корку бы погрызть не прочь, но вот и корки съели начисто...

Не вспомнили про Гришку, пьянчуги оголтелые!

Криком галдят, руками машут, в обнимку цепятся друг с другом...

Масленщик Семка кривым глазом Гаврюшку так и сверлит, прямо в рот ему вопит про лето да о городах: до чего, мол, привольно и уважисто навигацию плавать, а тут, зима-то,—господи ж ты боже ж ты мой, ай-ай-ай... тру-уба!

Сморщился горько и глаз в потолок выворотил... Гаврюшка забуровил чего-то головой, хлобысть тому на грудь—да в слезы... В Вольске у него Танька, вишь, осталась: об ней он...

А у Жука волосья дыбом и в глотке сила неуемная. Вихрится Жук так и эдак, и, как через поле, куму Петрухе орет: друг, мол, ты мне, или нет?.. Ну, а тот ему свое: про стрежень, про фарватер да про перекаты всякие лоцманские слова, и руку так над глазами козырьком,—это он в осенней ночи огонек зрит перекатный... Вот-де он каков—Петруха: зря пароход на мель не всадит, ни-ни!

Эх!.. распалилась душа-то у всех! Хряп труда не помнит: тело полегчало, что твое перышко! Так бы вот поднялся, да и летел, летел!.. А куда полетишь?

Лететь, знамо, некуда.

Грузно налегли грудями на стол — и запели про собачку да про отчий дом. Пели и головами покачивали: навек-де спокинут отчий дом, и верная собачка уже не взлает у ворот, гостя встречаючи...

Обкружили коптюшку вплоть, бородами по столу так и возят, заметая крошки, — коптюшка пугливо мечет красный язык туда и сюда...

Пели еще про лучинушку. Про долю тоже пели. До крайности горестные рты и глаза кривили в лад песне: чи-и-ижола-а-а-а...

А мороз в стены дубиной—ух, ух!..

Под эти песни Гришка было дремать начал.

Но батько, Жук-то, вдруг как вскочит да как хватит кулаком об стол!.. Запустил себе пятерню в затылок, другую руку в бок—да и пошел выгвазживать в пол ногами!

Ну, тут пустились грохотать и другие. Зимница — ходуном, даже нары подпрыгивают! С потолка сажа хлопьями так и жухнула... Жучиха подняла сонную голову, глянула и даже руками плеснула...

Упарились как следует быть. Опрокинули в жаркие глотки еще по стаканчику, да еще... Опять налегли грудями на стол и запели про дороженьку в поле: ой-де не одна она залегла там, в поле-то...

А Гришке что? Поют — и ладно. Вишь, жихари, сожрали требушину-то, ни столечко не дали...

Повернулся на другой бок, прильнул к теплой Жучихиной спине— и давай думать об этом... как его?.. райпросвете. Каков-де он из себя? Думал на все лады, долго думал—и догадался: его, райпросвет самый, в дырочку показывают, не иначе!..

Выйдет эдакий человек с зелеными усами и в драной шляпе—как на одной пристани летом,—а через плечо у него сундучок на ножках, а в сундучок-то проделана дырочка со стеклом...

Вот как почнет он сбоку вертеть ручку да рассказывать, а ты только успевай глядеть... И дырочка-то невелика, а в ней тебе весь райпросвет начисто!

Тут ты увидишь, в дырочку-то, и корабли морские, и города с домами до облаков, и зверьё всякое, и черных людей, что эфиопами прозываются. А то черти вдруг выскочат и почнут плясать, зенки вылупивши,—ну прямо умора!

И напоследок откроется эдакая хоромина... На красной лестнице белый статуй с вилами, внутри же все раззолочено... Окошки, например, побольше самых больших ворот. Тут короли, слышь, живут!

Об этой хоромине и королях мечтаючи, Гришка было и задремал...

Вдруг хрюкнула смерзлая дверь, распахнулась настежь—и в зимницу, с гиком и плясом, ввалились конопатчики: Прахов и Потетехин. Ноги у них гибче лапши. Напустили холодищу, мотаются в морозном пару, как на волнах...

Прахов орет во всю глотку и на гармошке тырырычит, а Потетехин конопатной колотушкой знай в заслонку зудит, подыгрывает,

щерит белые зубы и свищет, свищет... Рожи у них с морозу красные, а носы в саже...

Из-за стола, навстречь-то им, как подымутся все медвежьим эдаким дыбом го-го-го-о-о!.. Заухали, затолклись, замахали руками—да в пляс...

И такое началось тут варево—не приведи бог! Даже коптюшка на столе, мигаючи, вроде как вприсядку пошла...

Жучиха опять подняла сонную голову, одурело глянула и руками эдак плеснула: пропадите-де вы про́падом!..

А Гришке что? Ему даже занятно. К тому бы да еще... как его?.. райпросвет. Вот бы ловко! Ну-ка, не едет ли?..

Присунулся опять к оконцу. Дых-дых,—надышал дырочку и глядит. Нет, не видать райпросвета—не едет.

По дороге от Выдрищи только вешки еловые идут и идут черными монашками, а все на одном месте. Караванные мачты вытянулись остриями к ясному, впрозелень, месяцу, и в оснастке мачт, как в струнах, запу́тались звезды.

У караулки Илья в тулупе перегнулся надвое,—сидит и дремлет. Нет-нет да и клюнет трубастым воротником книзу...

От ледяного оконца у Гришки даже лоб заломило.

А в зимнице гармошка—тырыры да тырыры! Гу́дом гудит заслонка: бум-бум-бум!.. Ходуном ходят головы, руки, ноги... Ух и топ стоит прямо непроносный, даже нары под Гришкой прыгают.

А Гришке что? Юркнул под шубняк—и нет его... Угрелся и давай по́д гармошку думать про зеленый месяц и про все, что нагляделв дырочку. И про Илью—тоже: как-де он там, старичище, не замерзнет?..

Так-то вот думаючи, Гришка и не приметил, как этот самый Илья вошел в зимницу. Поправил уханку-малахай и тоже, вишь, старый хрен, под гармошку пошел вычувиливать крапчатым своим валенком, припевая: чу́ли-ви́ли, на́виль-виль, переви́ль чувиль на виль!..

Хлопнул рукавицами, как пирогами, за здоровье всех выпил из зеленого стаканчика, крякнул—и подошел к Гришке. Взял эдак его за плечо и говорит:

— Пойдем, Гришка, пора!

А Гришке что? Пора так пора...

Встал как встрепанный: отчего не пойти? Подпоясался батькиным ремнем, рукавицы надел, а шапку не нашел. Искал на нарах и под нарами,—пропала шапка! Ну, пес с ней, ладно и без шапки...

Ры́кнула смерзлая дверь зимницы и затворилась. Чуть ли не по колена в снегу, Гришка с Ильей стоят уже за порогом, на круглый месяц смотрят и на звезды, что́ запутались в мачтовой оснастке сонного каравана.

Выдрица за полем чуть мигает огоньками. И оттуда ли, из зимницы ли,—мельтешит в ухе песня под гармошку, ор, свист...

Тут только Гришка и приметил: а ведь шапка-то на нем! Вот она—лезет на глаза и даже мешает смотреть... Он ее пихнет-пихнет, а она опять чуть не на носу...

— Ну, Гришка, пора...—говорит Илья тихо и рукавицей себя по тулупу эдак похлопывает: мешкать, мол, нечего.

Гришка обеими руками спихивает с глаз шапку и хочет спросить деда: куда-де итти-то?.. Глядит, глядит... а Ильи-то и нет!—стоит перед ним один огромный тулуп, как глиняный столб. Подпоясан, и шапка-уханка сверху, честь-честью, но — пустой, тулуп-то, и шапка пустая: ни бороды, ни лица... Под шапкой—черная пустая дыра, туда хоть руку суй...

Гришку со страху даже шатнуло... Он было бежать, да валенцами в сугробе захряс: ни туда, ни сюда... А тулуп в самое ухо ему как взгогочет по-жеребиному! Гришка тут и сел... А тулуп рукавицей его по плечу—хлоп! Да и говорит опять голосом Ильи:

— Спужался? То-то... Вставай!..

Глянул Гришка из-под шапки: и впрямь—Илья. Щеки и нос лупленые, борода сивая в пояс. Смеется Илья на Гришку, щуря глаза щелочками, и трубкой-носогрейкой попыхивает. Как пыхнет, так и осветится весь зеленым, либо синим, а из носу, нет-нет, да огонь язычком, будто в коптюшке...

В это время хрипнула дверь из зимницы, распахнулась—и на пороге засеменил мягкими ногами пьяный Прахов с гармошкой. За ним выскочил Потетехин, размахивая заслоном и колотушкой. Жук, взъерошенный, как демон, тоже тут как тут,—изловчается схватить кого-ни-то за горло...

Но всех их сразу как бы отбросило лунным светом в зимницу, и оттуда, из-за черного косяка, осторожно высунула голову Жучиха— и глядит, глядит в белое поле... Вдруг увидала Гришку с Ильей, ахнула в страхе, плеснула руками—и быстро захлопнула дверь.

И как только она дверью хлопнула—зимницу как помелом смело!.. Пропала зимница!

На том месте лишь заколелые батькины портки на снегу лежат...

Но Гришка больше на Илью дивится.

Глядит на деда во все глаза, придерживая шапку. Илья-то ведь вон какой: во рту у него зараз три трубки попыхивают, а борода делается все длинней да длинней, так и лезет из-под шапки вниз по тулупу...

Хитро прищурясь на Гришку, дед вдруг как хлопнет перед его носом рукавицами, — да и пошел вывертывать валенцами вроде как трепака... Кружил до тех пор, пока не сделался сквозной, старик-то. Сквозь его тулуп, как через окошко, Гришка даже Выдрищу видит...

А Илья тем разом эдак выплюнул изо рта все три трубки, опахнул Гришку сквозным своим тулупом и, не говоря слова, взвился что твой вихорь и понесся неизвестно и куда...

А Гришке что? Ему и ладно,—теплынь под тулупом-то... Закорючил ноги коленками к самому подбородку и знай покачивается в сладкой эдакой обморочи, инда в носу свербит...

А погодя глянул сквозь тулуп-то—и очунел!

Серебряным короваем летит над самой Гришкиной головой месяц, ни чуточку не отставая, а звезды — вот они!—так мимо носа и чкалят, хоть пригоршнями их греби!..

Внизу, в кромешной пропасти, без числа мелькают огнями деревни, деревни, деревни... В каждой—песни орут под гармошку, бьют в заслоны, топочут ногами, свищут и ухают, инда звезды и небо вздрагивают...

В самую поднебесь огромным махом оттуда вздыбаются темными лесинами головы, бороды, руки,—того и гляди сшибут Гришку из-под месяца!

В иной руке зеленый стаканище с нефтяной бак, либо бутыль с колокольню, и летучие звезды об эти бутыли и стаканы—дззинь, дззинь!..

Илья и на лету чудит: то ни на порошину его не видно, то вот он, весь тут, с натуги даже покряхтывает и бородой по Гришкину лицу веет—хлещет, что твоим веником... Ногами же, старый хрен, в зоб ему оладью! нет-нет, да и выкинет финтифлюшку!..

Оттуда, с земли, из деревень, приметили эти стариковы дела и загоготали лошадиными голосами... Туча-тучей заходили по́ небу лохматые головы, бороды, руки зашарахались темными столбищами, вроде как изловчаясь выловить деда из-под звезд...

Илья свирепо отхаркнулся в их сторону и, придерживая шапку, взмыл повыше звезд и месяца, да так круто, что Гришка не удержался, выскользнул из сквозного тулупа и—камнем книзу...

Летит, летит... сердце замерло, волосы дыбом, в ушах свист... Крикнуть бы—голос осекся, нет голоса! Вот-вот сейчас шваркнется о-земь—тут и смерть!..

А вышло даже совсем иначе. Будто на лопате его ссадили, тихонечко очутился Гришка на той самой красной лестнице с раззолоченными перилами и с белым статуем, где короли живут...

Не успел он и носа вытереть, как окружил его всякий чистый народ. Чьи, откуда—неизвестно, но только все шибко тощие и все в очках...

Не говоря слова, ведут Гришку в хоромину, величиной с поле, окна—что твои ворота,—из окон-то зараз видны все города, деревни и затоны. Вот она, рукой подать, видна даже завьюженная снегом караулка Ильи, а неподалечку и Гришкина зимница, и заколелые батькины портки на снегу...

Народу в хоромине тьма-тьмущая. Поголовно все в очках, все уперлись в Гришку сычами,—от очков у того инда в глазах рябит и слеза прошибает...

Иные вскакивают куда повыше и, стукаючи в ладоши, похваляются: мы-де Гришку давным-давно ждали, чтоб, значит, в люди произвести...

Избоченясь, выскочила тоже одна такая баба простоволосая, очки на ней темные, как две сковородки... Плеснула руками и давай вопить, нет-де хуже Гришкиной жизни, так и знайте, анафемы проклятущие!— и эдак сердито и горестно очками взблеснула.

И как только она очками взблеснула, у ней тотчас борода выросла и во рту три трубки очутились...

Откуда ни возьмись, Дементий Галочкин на одной ноге, а другую, отмороженную, держит в руках и тычет ею в Гришку,—дескать, глядите, какой он, Гришка самый, полюбуйтесь!

Тьма-тьмущая очков так и впилась в Гришку...

Тут только все и заметили, что рубаха на нем от грязи колобом, на голове рыжие болячки по пятаку, валенцы ему до пупа, а из валенцов пальцы высунулись...

Галочкин распалился, волчком завертелся на одной ноге. Кричит, размахивая отмороженной ногой:

— Ага!.. мы вас на праздники ждали, ждали!.. Подавай сюда на́большего!

Вышел сам на́больший, что̀ безысходно в Москве живет. Очки ясным жаром горят, лоб с залысиной, бородка кукишем,—живьем тот самый, что̀ на картине в конторской избе, где кумачи развешены...

Перед ним все так и расступились... А он—прямо на Гришку.

— Чего тебе, Гришка, надобно?

Гришка, не будь дурак, и выпали:

— Райпросвет!..

На́больший боком, как петух, глянул на Гришку, подумал, дергая бородку, поправил очки и дал решительный приказ:

— Показать Гришке райпросвет!

И как только он это сказал,—очкастых, вместе с на́большим, как не бывало!..

Расступилась тихо эдак на две стороны стена—и Гришка видит: сидят за золотым столом короли и требушину жрут. Перед королями черные эфиопы с белыми глазами вихляются, бьют в заслоны и прыгают без малого до потолка...

Вышел знакомый Гришке человек в зеленых усах и драной шляпе, за плечами у него сундук с ножками и дырочкой... Поклонился этот человек королям, да с плеча как грохнет сундук о̀б-пол!.. И что же? Этот самый сундук вдребезги, а из него—бурый медведь, да на королей—дыбом!..

Эфиопы, заслонами укрываючись, бросились в стороны, влипли в черные стены, белея ощеренными зубами...

Короли повскакали с мест, махая над медведем руками. Но тот—без внимания: сгреб в обе лапы и хряснул главного короля на пол...

Отколь ни взялся Галочкин, вскочил на стол, замахнулся на всех отрезанной ногой, а нога-то и загорись!..

Тем разом медведь, раздираючи рот на аршин, дико взревел и двинулся на остальных королей...

Гришка со страху крикнул, просверлил кулаками глаза, глядит, глядит из-под шубняка... Ничего не понять!

Стол вверх ногами, коптюшка красным языком чадит на полу... Гаврюшка размахнулся над Рыжовым головней... А Жук, рыкаючи медведем, мнет кума Петруху. Одноглазый Семен тискает в углу Прахова. Чья-то рука из темноты найзвороть тянет за волосы Ваську Чумичова, который петухом рвется на конопатчика Потетехина, размахивающего заслоном...

Жучиха туда и сюда мечется, да где там разнять,—бабьих ли рук дело!

А коптюшка, что вспыхивала красным языком, под ногами катаясь,—фырк-фырк, да и погасни... В зимнице стала темь—черней сажи... Только из мерзлого оконца эдак вкось посунулась в дымную черноту светлая прозелень от высокого ясного месяца...

Там хрип, рык, кряк, пыхтят и отдуваются, как запаленные лошади, а Гришке что?—ему свое в ум лезет...

Он сейчас это головой к оконцу, надышал дырочку—и глядит, глядит...

Илья в кирпичном тулупище как дремал, поднявши воротник трубой, так и дремлет у своей караулки. Гóрьмя-горят на снегу морозные искры, а над Выдрищей—голубая звезда с кулак.

Вот чуднò... Спит Илья-то!

Заметки из дневника воспоминания.

М. Горький.

Городок.

...Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно-маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей,—издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток,—ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик нищий Затинщиков хвастливо говорит:

— Мы при обоих бунтовали...

С бесплодного холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей,— это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый, расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно-белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной слободы,—сто лет

тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным мучительством крепостных рабов.

А город—накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это—дыхание спящих людей.

Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочного завода, человек солидный, не глупый, четвертый год читает Карамзина „Историю Государства Российского", дошел уже до девятого тома.

— Велико сочинение!—говорит он, уважительно поглаживая кожаный переплет книги. — Царская книга. Сразу понимаешь — мастак сочинял. Зимним вечером начнешь читать и—все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку — книга! Ежели она с высоты разума написана...

Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:

— Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живет, а к нему, на свидания, барыня одна,—не наша, приезжая—ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я, даже, бинокль у татарина, по случаю, купил, и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство...

Парикмахер Балясин называет себя „градским брадобреем". Он— длинный, тонкий, ходит развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа—маленькая, с желтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Город считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.

— У нас естество простое, а доктора — это для образованных людей,—говорят горожане.

Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:

— Усердный лекарь; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли...

Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.

— Я думаю—врут ученые,—говорит он.—Неизвестна им точность ходов солнца. Я, вот, гляжу, когда солнышко заходит и думаю: а, вдруг, не взойдет оно завтра? Не взойдет и — шабаш! Зацепится за что-нибудь,—за комету, скажем,—вот и живи в ночи. А то—просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать—у солнца тоже есть свой характер. Придется нам тогда для жизни, леса жечь, костры раскладывать.

Похохатывая, щуря глаза, он продолжает.

— Ха-арошее небо у нас будет тогда: звезды есть, а—ни солнца, ни месяца! Вместо месяца черный шарик будет торчать, коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи—ничего не видать. Для воров—удобно, а для всех других сословий — очень неприятно, а?

Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:

— Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах—наводнения бывают, землетрясения,—у нас ничего! Холеры—и то не было, а кругом везде—холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово...

Одноглазый арендатор городской купальни,—он же—„картузник",, делает фуражки из старых брюк,—человек, которого город не любит боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идет прямо на картузника, наклоня голову, точно собираясь боднуть его. Тогда картузник уступает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищурив глаз, усмехаясь.

— За что вас не любят?—спрашиваю я.

— Я — беспощадный, — хвастливо говорит он. — У меня такой навык, что я — чуть кто неправильно действует, — сейчас его к мировому тащу!

Белок его глаза воспален, пронизан сетью кровавых жилок и в этой сетке гордо сверкает рыжеватый круглый зрачек. Картузник коренастый, длиннорукий, ноги у него—колесом. Похож на паука.

— Действительно,—меня не уважают, потому как я права знаю,— рассказывает он, свертывая папиросу из махорки. — Чужой воробей в мой огород залетит—пожалуйте к мировому! Я из-за петуха четыре месяца судился. Даже сам судья сказал мне: ты, говорит, напрасно человеком родился, по характеру ты—овод! Даже били меня за мою беспощадность, однако бить меня—невыгодно. Бить меня—все равно, как железо каленое, только руки обожгешь. После битья я такое начинаю...

Он пронзительно свистнул. Он, действительно, кляузник, местный судья завален его жалобами и прошениями. С полицией картузник живет в дружбе; говорят, он любит писать доносы и ведет какую-то книгу, куда вписывает различные прегрешения горожан.

— Зачем вы делаете это?

Он отвечает:

— Потому что уважаю мои права!

Лысый, толстый Пушкарев, слесарь и медник — вольнодумец, атеист. Поджимая дряблые губы, странно изогнутые, цвета дождевых червей, он говорит сиплым басом.

— Бог, это—выдумка. Над нами ничего нет, только один синий воздух. И все наши мысли—от синего воздуха. Синё живем, синё думаем,—вот где загадка. Вся суть жизни моей, вашей—очень простая: были и сгнили.

Он—грамотен, много прочитал романов, особенно хорошо помнит один: „Кровавая рука".

— Там французский архерей взбунтовался и обложил войском город Ларошел. А против него действовал капитан Лакузон,—что делал, сукин сын! Даже слюнки текут, когда читаешь. Шпагой действовал он—без промаха, ткнет и—готов покойник! Замечательный воин...

Пушкарев рассказал мне:

— Сижу я, вот эдак же, вечером, праздник; читаю. Вдруг заявляется земский счетчик, — статистик, по ихнему: желаю, говорит, познакомиться с вами. Ну, что ж, говорю познакомьтесь. А сам—боком сижу к нему. Он и то, и се,—прикинулся я дураком, мычу и все гляжу в сторону, в стенку.—„Слышал я,—говорит,—что вы в бога не верите?"— Ну, тут я на него и вскинулся: „Это—как так?—говорю.—Разве это допускается? А—церкви зачем, попы, монахи, а? А ежели я в полицию заявлю, что вы меня к неверию склоняете?".—Испугался он: „Извините,—говорит,—я думал..."—„То-то, вот,—говорю,—думаете вы, о чем не надо. Мне эти ваши мысли не к чему"—Выкатился он от меня, как мячик. Потом, вскоре, застрелился. Не люблю я этих земских,—фальшивый народ. Сосут мужика, тем и живы. Некуда девать ученых этих, ну— наладили им земство. Считайте! Они считают. Человеку все едино, что делать, только жалованья ему побольше давай...

А часовщик Корцов, по прозвищу „Лягавая блоха", маленький, волосатый человечек с длинными руками,—патриот и любитель красоты.

— Нигде нет таких звезд, как наши, русские!—говорит он, глядя в небо круглыми глазами, плоскими, как пуговицы.—И картошка русская—первая, по вкусу, на всей земле. Или—скажем—гармонии,—лучше русских нет! Замки. Да — мало ли чем можем мы нос утереть Америкам этим.

Он сочиняет песни и, выпивши, сам поет их. Стихи его как будто нарочно надуманно нелепы, но песня, которую он поет чаще других, такова:

Сиза птичечка, синичка,
Под окном моим поет,
Она маленько яичко
После завтрея снесет.

Я скраду яичко это,
Положу в гнездо сове,
Пусть, что будет, то и будет
Моей буйной голове.

Ах, к чему мне ночью снится,
Будто череп мой клюет
Та сова, ночная птица,
Что, одна, в лесу живет?

Корцов поет эту песню на удалой, веселый мотив. А череп у него аккуратно кругл, совершенно гол, только от уха до уха, на затылке висит рыжеватая бахрома кудрявых волос.

Он любит восхищаться красотой природы, хотя окрестности города пустынны, вспухли бесплодными холмами, изрезаны оврагами, нищенски некрасивы. Но часовщик, стоя на берегу мутной, пахучей реки, отравленной войлочными заводами, восклицает с искренним чувством лирического восторга:

— Эх, красота же! Ширь, гладь. Иди, куда хошь. До-смерти люблю я эту красоту нашу!

Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья, волоса. В комнатах пыльно, неуютно, все сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен вместо гири кусок свинцовой трубы. Где-то в углу стонет и ворчит больная жена, а по двору молча шмыгает сестра ее, старая дева, желтая, худая, с оскаленными зубами; на ногах у нее опорки мужских сапог, подол подоткнут до колен и обнажает икры ног в синих узлах вен.

Корцов изобрел замок, который заряжается тремя ружейными патронами и стреляет, если в него всунуть ключ. Замок весит двенадцать фунтов и имеет вид продолговатого ящика. По-моему, он должен стрелять в небеса, а не в того, кто решится отпереть его.

— Нет, прямо в морду угодит!—заверяет изобретатель.

Его любят как чудака. А, может быть, горожанам нравится, что он несчастливо играет в карты,—все обыгрывают его. Ему нравится сечь детей,—говорят, что сына своего он засек до-смерти, но это не мешает знакомым приглашать Корцова, как знатока дела, для экзекуций над мальчишками, опустошающими сады и огороды.

Не спеша, заложив руки за спину, ходит по городу Яков Лесников, высокий, тощий, с длинной и узкой бородою и большим, унылым носом. Нечесаный, грязный, он одет в какой-то балахон, подобие монашеской рясы, на вихрах его полуседых и жестких волос торчит студенческая фуражка. Большие водянистые глаза напряженно вытаращены, как будто этого человека одолевает сон, а спать ему нельзя.

Позевывая, он смотрит в даль, через головы людей и спрашивает встречных:

— Ну,—как?

Ответы, видимо, не интересуют его, да они, наверное, знакомы ему:

— Так себе. Ничего. Живем.

Он славится как женолюб и великий распутник. Корцов не без гордости говорил мне:

— Он даже с испанкой жил! Ну, а теперь, конечно, и мордовками не брезгует...

Говорят, что Лесников „незаконный" сын знатного лица — архиерея или губернатора. У него есть несколько десятин огородной земли и лугов, он сдает землю эту в аренду слобожанам и одиноко живет на квартире у моего соседа, больного чиновника казначейства.

Как-то вечером он валялся в саду на траве, под липой, пил пиво со льдом и рычал, зевал. К нему подошел домохозяин, худенький, кисловато-любезный человечек в очках.

— Что, Яша?

— Скушно,—сказал Лесников.—Вот,—думаю—чем бы заняться?

— Поздно тебе заниматься делами...

— Пожалуй—поздно.

— Староват.

— Да.

Помолчали. Потом Лесников, не торопясь, проговорил:

— Очень скушно. В Бога, что ли, поверить?

Чиновник—одобрил:

— Это—не плохо. Все-таки—в церковь ходить будешь...

А Лесников, с воем зевнув, сказал:

— Во-от...

Зимин, торговец галантерейным товаром, хитрый мужик, церковный староста, сказал мне:

— От ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, потеряли простоту. Сердце у нас—честное, а ум—жулик!..

Сижу, глотая знойный воздух, вспоминаю речи, жесты, лица этих людей, смотрю на город, окутанный горячей опаловой мутью. Зачем нужен город этот и люди, населяющие его?

Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни—„арзамасский", мордовский ужас, но—неужели только для этого жил и живет город от времени Ивана Грозного?

Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали так бессвязно, беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно—в уездной.

Арзамасские мысли случайны и похожи на замученных мальчишками, полуощипанных птиц, которые иногда со страха залетают в темные комнаты, чтоб разбиться на-смерть о непроницаемый обман прозрачных, как воздух, стекол окна. Бесплодные „синие“ мысли.

Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потом уже — и поэтому — грязно, скучно озлобленно и преступно. Талантливые люди, но—люди для анекдотов.

С реки доносится шум и плеск воды, — прибежали мальчишки купаться. Но их мало в городе, большинство ушло в лес, в поле и овраги, где прохладно. В садах поднимается голубой дымок, это проснулись хозяйки и разжигают самовары, готовясь к вечернему чаю.

Пронзительно верещит тонкий голос девочки:

— Ой, ма-амонька, ой, рóдная, ой, не бей меня по животику...

И — точно в землю ушел этот вопль.

Зной все тяжелее. Солнце как будто остановилось. Земля дышит сухим пыльным жаром. Кажется, что небо стало еще более непроницаемым, — очень неприятна и даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то небо, как везде, а—особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цветà стекла, выгоревшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу прозрачной, но непроницаемой стеною.

Черненькими точками бестолково мелькают мухи,—это снова напоминает о непроницаемости стекла.

А тяжелое, горячее безмолвие—все гуще, тяжелее.

В тишине певуче звучит полусонный, разнеженный голос женщины.

— Таисья,—одевайеся?

И такой же голос, но более низкий, томно отвечает:

— Одеваюся.

Молчание. И — снова:

— Таисья, ты—голубó?

— Я—голубо-ó...

Знахарка.

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День—великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка; гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся, как будто, особенно упорно.

— Прохожий один сказывал,—сипит Мокеев,—дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен,—нехорош, стало быть. У нас все—по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое ворkованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно—князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет—князи. Я и в начале внушал мужикам—бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поровнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной, лыковой корзиной—в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся. Я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход,—не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха—знахарка, известная всему уезду.

— Ты только не считай, что ведьма—нет, это у ней от Бога! Ее и в Пеньзю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу—замуж! И пошла, ведь, девица, пошла, братец мой. Дураки, говорит родителям ейным, детей, говорит, родите, а—для че, не знаете. А родители—пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру,—она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему

где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальченко-то, ей за то—двадцать пять рублев да шерстяное платье—получи!

— У нас она—первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она—все может. Она—бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя, да как спросит, внезапу: ты чего думаешь? Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха—дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу [1]), бунтарю, приятелем был...

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей,—леса Сергача славились обилием этого зверя и до семидесятых годов XIX века мужики „сергачи“ были лучшими дрессировщиками и „поводырями“ медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя „по-мордовски“: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее до плеча сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько, — видал ты, как неладно она шеей владает? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно,— сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

[1]) В 50-х годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — Мокши и Ерзи, — населяющей Нижегородскую губернию.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татара, али— чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ—важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму, весну, штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином—народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его— Федор Карлыч. Ха-арошим барин...

Мокеев говорил точно с горы ехал извилистой дорогой и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось — час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во - он - те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки, под глиняным рукомойником, сердито покрикивая.

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея—сила,—обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне—семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы; на чисто вымытом полу катались пушистые котята; аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста—некрасивое растение сырых мест, корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите— сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то,—чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто

волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутс‹ они как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

— Сильна была. Меня в те поры только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только— нельзя: муж. Шутя я его и борола, а всерьез—нельзя, не смела этого Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь — зверь — богу служит. Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек - богу. Кереметь сказал: бей медведя, покуда я терплю побьешь много—солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет. Человек согласился: человеку скота жалко. Меду жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот, тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься—ничего, и с девятью—ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая и—конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой Это—судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу—детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я. Она как будто удивилась отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко,—этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это, вот, умные звери, они никому не верят,—сказала Иваниха.—И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый, заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу, — сказала Иваниха. — Ты почто остановился у Мокеева? Это семья несчастливая. Ты, вдругорядь, у меня остановись. Я заезжих люблю.

И провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи...

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала, али фунт баранок,—она баранки любит с анисом. Сначала—смеялись над ней, после—привыкли. А она ругалась; дураки, кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот жалеете, а девок не жалеете? Это, она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся—и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после бьет,—не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свеже скошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух, какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, гонит и гонит. Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого. Ему докладывают: да она хоть и баба, а страшнее лешего. Не верит. Так она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: ну-те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, чорта! Так она и осталась сторожихой, а после

сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму пьяного волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, — заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

... Месяца через три, в праздничный день мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку и поет днем, ночью: мамонька, бежим, родная, бежим!

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще, она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Кеpемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились, и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю, — говорила она.

— А Кеpеметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь — бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как-будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее ста́л выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог веру любит, Кереметь — правду,— говорила она.— Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее чорту не даст. Ваш бог, христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они христа с Кереметью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова, чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: „бог правду любит, да не скоро скажет“ — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда — лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся,— живите без меня. Это плохо нам. Это чорту — хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шопот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидал, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее не-

обыкновенный глухой голос странно булькал,— казалось, это яростн кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникл странные сочетания слов.

— Ая-яй, христос, ая-яй... Стыдно, христос... Илья сердится, т сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой А-я-яй, христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы тво мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-ех...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темны пятнам икон, то прижимала к бедрам, или била ладонями по грудям И все шептала глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуж тебя разве? Э-э, плохо, христос! Бог бога гонит — чему учит людей Ох, ты, христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий т бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван — зачем поме молодой? Мишка,— одно дитя, такой светлый Мишка — зачем? Коров Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж н пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, христос? Каким людя служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам и чуваше,— мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не та надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э,— христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слуша меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу над знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучш тебя, прежде тебя знаю, э-эх, ты, христос...

Так она укоряла христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горьк и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зл взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека...

На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом,— может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

— Э, христос...

Паук.

Ермолай Маков, старик, торговец „древностями", человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка, в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым,

в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная чертах его характера: принесет продавать чернильницу подьячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст— и вдруг могильным голосом скажет:

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Охоты нет.

— Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжко и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда—через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

— Бери.

— А что ж ты прошлый раз не продал?

— Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, по многу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил — бездомно, переходя от поместья в поместье из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль—и снова являлся в Нижнем, всегда останавливаясь в грязненьких „Номерах“ Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья;— они искали его лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человечьего мусора Маков пользовался особым вниманием как „ходовой“ человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются—„хизнут“—старые „дворянские гнезда“. Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков:

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками,—игра такая. И сами, как шары эти, стали,—совсем бессмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-то. Мы разговорились—и вот, что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов и водился я с одной бабой, не иначе, как—ведьмой. Муж у нее—приятель мой—был добрый человек, а — больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я—спал, бабенка эта окаянная изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-от был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он, и—сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не любил я, просто—баловался

8*

с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее—не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта — лицо огня! Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душой живу. А — моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне—где же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу, — углядела меня прачка, зашумела — вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока — в голове, а третье — меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда ни иду, он, невступно, за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня, — вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? — спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь — безумен я? Вот ведь, стража моя, вот он прихилился, паук-от...

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравишь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы — краденая. Лет десяток назад тому задумал я утопиться, — бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт, да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А, — вот она, поддевка-то, какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная, что сказать человеку, который живет бок-о-бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а—не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай,—говорил он тихо и просительно.—Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по-твоему: от бога паук этот охрана мне, али от дьявола?

— Не знаю.

— Подумал бы ты... Я полагаю—от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, не достоин я ангела. А, вот, паук,—это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

... Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего-Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что—жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь, провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А—вот он...

Спустя три года, я узнал, что в 1905 г. Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

С.С.С.Р.

Потрескалась и заскорузла
Твоя огромная ладонь,
Но бьется по подкожным руслам
Горячий, кровяной огонь.

Он вырывался, он палил,—
Ты вся натугою дрожала
От голубых балтийских жил
До крепких мозолей Урала.

Насильно стиснутый кулак
Раскрыв с усилием жестоким,
Ты твердо пальцами легла
Тысячеверстными к востоку.

Но самый гибкий твой сустав,
Притиснутый к железам жестким,
Залег у западных застав,
Когтистым согнутый отростком.

Леонид Пивоваров.

Наступление.

Щелкает зубами пулемет,
Прожевывая ленту за лентой...
По гривам свинцовый взлет!
Передних принимай с колена...

Мать вашу так-так-так...
В кольтовском резвом такте—
Натиск и быстрота,
Лихорадочная тактика.

Прянули конные назад,
Волчьи хвосты уносят,—
По полю вперехват
Красную б сотню бросить!

По полю б напрямик
Хлынуть тройною цепью!
Только чужой броневик
Смертью в упор зацепит.

Скоро ли контр-атак
Бешеный сломим натиск?
Мать вашу так-так-так...
Нате, свинца вам, нате!..

Леонид Пивоваров.

Вечер черные брови насупил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!—
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была.
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

Сергей Есенин.

Журавлиная.

Соломенная Русь, куда ты?
Какую песню затянуть?
Как журавли, курлычут хаты,
Поднявшись в неизвестный путь.

Я так заслушался, внимая
Тоске сермяжных журавлей,
Что не поспел за светлой стаей
И многого не понял в ней.

Соломенная Русь, куда ты?
Погибель—солнечная, высь!
Но избы в ранах и заплатах
Над Миром звёздно вознеслись.

И с каждой пяди мирозданья,
Со всех концов седой земли
Слыхать, как в розовом тумане
Курлычут наши журавли.

Совсем устали от дозора
Мои зеленые глаза.
Я видел—в каменные горы
Огнем ударила гроза!

И что ж? Крестом, как прежде было,
Никто себя не осенил.
Сама земля себя забыла
Под песню журавлиных крыл.

Ой, Русь соломенная, где ты?
Не видно старых наших сел.
Не подивлюсь, коль дед столетний
Себя запишет в комсомол.

Иные ветры с поля дуют,
Иное шепчут ковыли.
В страну далекую, радную
Шумят крылами журавли.

Петр Орешин.

Америка.

I.

Если руки стали суше корки—
Кто кричит о бунте?
В золотые челюсти Нью-Иорка
Камнем плюньте!

Сытым псам—броневикам Брадвая
Только ль ропот?
Может быть, их ребра насчитают
Рудокопы?

Иль стосильным, синим кэбам,
Берегущим тело,
Повидать поближе небо
Захотелось?

Или может—так к лицу им—
Небоскребов стены—
Стены вам фокстрот станцуют,
Джентльмэны?

О, о стойку стойкий доллар,
Разменяв на пули—
Пчел обратно, к чорту голых,
За работу, в ульи...

От берега к берегу,
В надокеанскую высь
Прочная ночь Америки,
Черная ночь Америки,
Точная ночь висит.

II.

О, еслиб над нею
Из тысячи тел,
Как прерия, взвеян—
Ропот взлетел!

Руками погони
Ломая межи—
В кэбы, в бетон и
В расплеснутый джин.

О, если б спеть им
Слов наших сто—
О, если б—но ветер
Ответит не то!

Нечаянным заревом вызвездит высь
Прочная ночь Америки,
Черная ночь Америки,
Точная ночь...

III.

Между мохнатых, дружных трав
Холмистыми расколами,
В огне зеленого утра
Звенело птичье полымя.

И, скатываясь в синий стог,
Ложились в отдых облака,
И чернобыльник на восток
И черный зверь тянул бока.

Невод утра нам принес
Жарких рыб, желтых ос.

Скачет снежный конь—
Золотой Юкон.

В ручьях омывает глаз
Дымношкурый пастух Техас.

Алмазами сыпет, рассыпая, сорит
Голубая рука Миссури.

Сам полдень рыбачит и крепит паруса
И в невод—Невады бросает леса.

Сам полдень меж мохнатых трав,
Как никогда—сегодня прав.

Он сам ведь дорогу стягивал
На новую память узлом—
В прибое—оружье и стяги,
В прибое—на мысы и ночи,
В прибое—все море несло.

Николай Тихонов.

* * *

Да, такие бывают напасти,
Что на сердце ложатся, как ночь,—
У веселой уборщицы Насти
Умерла в понедельник дочь.

Я частенько захаживал к Вере,
И ко мне приходила она,—
Палец в рот и станет у двери
Или сядет на стул у окна.

(Знала, знала, что я скучаю,—
Угадывала по лицу...)
— Вера! Хочешь сладкого чаю?
И сквозь острые зубки:
— — Хоцу...

А когда я читал о Донбасе,
О финансах, о кровном враге
Приходила и...
— Дядя Вася,
Покацай меня на ноге...

— Сколько лет тебе Вера?
— — Двести...
— Что сегодня?..
— Сегодня—вцера...
Сколько раз коротали мы вместе
Незаполненные вечера...

Да, такие бывают напасти,
Что на сердце ложатся, как ночь,—
У веселой уборщицы Насти
Умерла в понедельник дочь.

В. Александровский.

Н. Асееву.

I.

У лошади железные подковы,—
Ногам в железе веселей.
Тяжел свинец, а слово тяжелей,
Но кто из нас не любит слово?..

II.

Свинцом и словом нагруженный,
Пролей над нами их, пролей,
Тяжел свинец, а слово тяжелей,
Но слово требуют Гужоны,
Но слово требую и я,
Свинцом покуда нагруженный,
И ты ответил: „Нате соловья“.

III.

...И руку к уху приложив,
Я вечером его услышал:
Друг друга проклинали этажи,
И лезли друг на друга крыши.
Он пел, он щелкал соловей,
Притихли соловьи иные.
Кружились перья огневые...
И перья кровь напоминали,
И перья были цвета стали,—
То слово и свинец ронял твой соловей.

IV.

Закончится совет ветров,
С ветрами разойдемся все мы,
Но по мостам стальных стихов
Пройдут косматые поэмы.

Завидев осень, голова
Опустится. Придут другие
И молнии вплетут тугие
В твои горячие слова.
Но и у них, но и у новых
Потребуют, как у тебя,
Или несказанного слова,
Или невиданного соловья.
И будет так от века и до века.
Покуда вместо соловья
Нам скажут: „Нате человека“.

Михаил Голодный.

* * *

Пухлый снежок—словно заячьи лапки,
Красное солнышко—заячья кровь,
Как виноватые, скинувши шапки,
Смотрят две ели на ворохи дров.

Весну и лето тутукали дятлы—
Два душегуба—колун да топор,
С сосен сшибая зеленые патлы,
С елей срубая зеленый пробор.

Весну и лето, и в осень по лесу
В прохолодь пела пила-верезга—
Некуда деться полесному бесу,
Некуда лосю укутать рога.

И не заметил никто, как в тумане
Рос из земли за сугробом сугроб.
Заступ-могильщик на грудь глухомани
Насыпь-змею земляную нагреб.

Выбег на насыпь нечаянно ночью,
Рельсу попробовал на зуб барсук.
Эх, и в каком это вырос урочье
Этот без листьев и веточек сук!

Фыркнул и с ветром смахнулся с дороги,
В норке свернулся в щетинистый ком,
Жадно следил, как шевелятся ноги
Сосен, упавших под топором.

В норке тепло, как в избе, и уютно,
Пахнет сосновой смолою песок.
Только беда вот: все ждешь поминутно,
Кто бы с обоих крылец не поджог.

В сумерках в снег залегла и загробла
Девы-зари золотая коса,
И над зарею по вечеру облак—
Словно над печью на пялках лиса...

В сумерках вдруг заорет что есть духу
Бык краснозубый—шальной паровоз,
Выйдет на вырубку верба-старуха,
Поросли крестит и шепчет под нос,—

Ели оденутся в заячьи шубки,
Выпадут звезды, как заячий след,
И на накат от саней по порубке
Сыпется иней и с инеем свет.

Сергей Клычков.

Несколько слов о падении марки.

У Отто Брайта прерван первый сон.
Зовет его дежурный телефон:
— Смена.
    На Вену
    Идет в два тридцать собственный вагон.

— Вне очереди. Известим пути.
Поедет не министр, но почти.
Проверить
Перед
Отходом тормоз. Можете итти.

У Отто Брайта камень голова,
Ресницы, точно сорная трава.
Но Отто Брайт
Не возражает
И с яростью ныряет в рукава.

А рукава свистят, как соловей.
— Не худо бы монатку поновей,
    Но только
    Изволь-ка
    Купи ее на жалованье, сшей.

— Эх, если б эту ветошь, да спалив,
Как прошлогодний... к дьяволу... тариф,
Да лапы
В драпы,
Чтоб грело, словно нефть или кардиф!

У Отто Брайта, потного от сна,
Как в лихорадке, прыгает десна.
Но служба—
Не дружба.
Собачья жизнь! Проклятая страна!

В два двадцать подан поезд на перрон.
Садится Herr Direktor в свой вагон.
Портфели
Еле
Вмещают чеков сплющенный бутон.

Вагон—как персик: замша и шагрень.
Читает Herr Direktor бюллетень:
Цены
Вены
На сахар, на сукно и на ячмень.

Над небом биржи Herr Direktor бдит.
Упала марка. Фунт ползет в зенит.
— Это—
Монета!
Чем ниже марка—выгоднее сбыт.

— Чем легче марка—выгоднее нам.
На твердый, на растущий не по дням,
Тяжелый
Доллар
Мы продаем послевоенный хлам...

На паровозе Отто Брайт в своей
Стеклянной клетке, словно соловей,
Но тонки
Плёнки
Стекла во время рева скоростей.

На паровозе—ураган жгутом
Стегает соловьиное пальто,
И вой, и свист:
— Эй, машинист,
Работай, купишь новое за то!

— Не купишь. Марка падает к чертям.
На твердый, на растущий не по дням,
Тяжелый
Доллар
Нам продают послевоенный хлам.

Дрожит рука. Озноб... Чахотка... Тиф...
— Эх, если б эту ветошь да спалив,
Да лапы
В драпы,
Чтоб грело, словно нефт ıф!

— А там в тепле, с фуфайкой на груди,
Зевает не министр, но почти.
Доволен
Долей,
Одних пальто не меньше двадцати!..

Свирепый ветер под гору—гроза.
Дрожит рука. Сощурены глаза.
— Проверить
Перед
Отходом тормоз. К чорту тормоза!..

На утро режет радио туман:
— Курс доллара... Конфликт... Афганистан...
Крушенье
В Вене
Из-за того, что машинист был пьян.

Вера Инбер.

Локомотив.

Г. Энгельке (умер в 1918 г.).

(Из книги „Ритмы Новой Европы“, выходящей в Ленингосиздате.)

Вот это—тридцатиаршинный зверь,
Машина паровая;
На полированные рельсы припадая,
Ярится вся, к прыжку готовая теперь;
Стальная колея прыжка машины ждет,
А пот чудовища—и масло, и вода,
Как человека кровь, горячая всегда,
Опасно жаркая с колес его течет.
Машину шестьдесят каленых держат лап;
На них лежит она, подобная больному,
Который весь в жару горячечном ослаб,
И хрип вздымается по горлу вверх стальному,
А туловище все пропитано огнем,
И охает, и стонет, и скрежещет,
В поспешном ритме паровом трепещет,
И исчезает речь людская чадом в нем.
Сопенье все растет,
Тебя оно гнетет,
Из скважин ярость начинает рваться;
Уж достигает в трубах пар
Давленья атмосфер в шестнадцать,
И силы судорожной жар.
Скотина мычит, скотина мычит,
И паром машинист покрыт,
Вот влево стрелка рычага пойдет,—
Железный бык лишь этого и ждет...
С какою мощью в трубах пар клокочет!..
Теперь он вскочит! Теперь он вскочит!

И:
Колеса осями блестят и кружатся,
Спокойно по рельсам скользят, убегающим вдаль,
Массивно, размеренно поезда части ложатся,
Волочится тело его за машиною вслед.
Там сзади—темнеет оставленный путь.
Там сверху—разносится чад.

Перев. В. Пяст.

У склепа.

А. Воронский.

Под кремлевской стеной, где вызванивают невнятно куранты III Интернационал, у братских могил,—свежий наскоро сделанный склеп, обшитый досками, и на них, выкрашенных в стальной цвет, начертано одно, ставшее большим, как мир, слово:

Ленин.

Склеп застыл неподвижно-строгим броневиком у этого штаба краснозвонной, краснозвездной рати. Склеп стоит, как верный, молчаливый страж.

...Дни прощальных, последних приветов отошедшему и упорно, неотвязно горькое горечью недавней утраты имя:

Ленин.

Призыв и знамя, пароль и лозунг, клятва верности и зов в грядущие века, боевой клич и символ братства и товарищества.

Двоится образ подвижного крепкого человека и того, чьи уста больше никогда не разомкнутся в живом трепете слова. Кажется, сказано все, что нужно, в сотнях и тысячах статей подведены итоги, и вместе с тем есть что-то важное, о чем не написано и что будет написано гораздо позже и нескоро. В такие моменты с особой остротою ощущается бедность и ограниченность языка.

...Ленин...

...Россия издавна жила в бунтах, в восстаниях, в кровавой и крестной борьбе трудовой, исподней народной массы. История этой тяжбы уходит в глубь и в темь веков. Она известна в самых общих очертаниях. Историческая жизнь наших окраин протекала под знаком этой борьбы. Туда спасались наши бегуны, протестанты, не умевшие мириться „смерды“ и „холопы“, пострадавшие от царского чиновничьего, дворянского гнета. Вольная, буйная запорожская сечь, глухие таежные места Си-

бири, бескрайные степи Оренбурга, холодные скалы и тундры северного края давали приют искателям „праведной жизни“, тем, кто отстаивал свои права на лучшую жизнь и прежде всего право владеть и обрабатывать свободно землю.

Не раз и не два с Пугачевым, с Разиным, с другими народными атаманами и вожаками поднималась наша „голытьба“, огнем и мечом мстя дворянству и купечеству за свои тяготы и за свою беспросветную жизнь. То, что представлялось идиллией в учебниках истории, в повестях и романах, в поэмах и стихах, было напоено, наполнено до краев то глухой и скрытой, то явной и звучащей, как набат, борьбой угнетенных против угнетателей.

Но всегда бывало так, что движение, борьба крестьянских масс разбивались о гранит деспотического государства. Государство было организовано, имело сложный административный аппарат, регулярную армию, опиралось на поместное дворянство со своеобразной культурой. Крестьянство жило в неподвижных, патриархальных, отсталых, крепостнических условиях, было распылено, поголовно неграмотно, бескультурно; оно поднималось стихийно, неорганизованно и так же стихийно бросало оружие при первых неудачах. Такие поражения были неисчислимы и постоянны. Складывалось убеждение, уверенность даже: „против рожна не попрешь“, „не нами началось, не нами и кончится“. Казалось, что верхние и нижние социальные этажи будут существовать вечно, а борьба угнетенных обречена на поражения.

Так было не только в России, так было в Турции, в Индии, в Китае, в Японии.

В так называемую „эпоху великих реформ“ крестьянству нашему удалось расшатать классическое крепостничество, но здесь не было победы. Царский и дворянский гнет остался, крепостничество осталось в своих пережитках.

Во второй половине XIX века пришла революционная народническая интеллигенция, но она была слишком чужда народу, далека от него, новый класс-борец еще не сформировался, и героические усилия нашей интеллигенции разбились также о гранит деспотизма, распылившись в подвижнической борьбе одиночек, небольших кружков и групп.

Ленин был первый, кто возглавил победоносную революционную борьбу трудового народа, смывшую и пережитки крепостничества, и наш азиатский подлый капитализм. Он был и остается прежде всего вождем масс, далеко вышедшим за пределы России; вся его жизнь крепчайшими узами связана с классовой борьбой пролетариата всех стран и народов, но

это ничуть не меняет положения, что для России, в России он был первым вождем-победителем, организатором революционной победы, дочиста, досуха смывшим старый строй.

Разумеется, борьба народных масс неизмеримо далеко ушла вперед от бунтов, от пугачевщины и разиновщины. Страна жестоко перемалывалась и пережевывалась железными челюстями капитала. В стране образовался, вырос, окреп новый класс работников наемного труда, и самый наш исконный крестьянин проходил предварительно беспощадную выучку машинно-бетонного века. Новое „четвертое сословие“ в меру своего роста, в меру общего разложения капитализма, своим идеалом, своей конечной целью поставило социализм—не утопический, не отвлеченный, а реальный, научный. Главным проводником его, проповедником в рабочих массах был Ленин. Но Ленин не был никогда только проповедником и учителем. Он был гениальным практиком. Он знал, что рабочий не добьется социализма, не победит царизма, если он не сумеет привлечь одну часть (беднейшую), нейтрализовать другую часть крестьянства (середняка). И одной из основных задач своей политики он поставил стык, смычку, добрососедство рабочего и крестьянина. В той степени, в коей это нужно было для победы над царизмом, над временным правительством, для подрыва власти господина Купона, для установки диктатуры пролетариата, он эту задачу разрешил гениально. Чрез рабочих, опираясь на них, с ними Ленин объединял, сплачивал, обучал, поднимал и бросал в бой наше крестьянство, ни на минуту не упуская основной цели—борьбы за коммунизм. В России этот стык облегчался тем, что большинство наших рабочих было связано с деревней.

Благодаря этой смычке, он и одержал победу. И оттого образ его выдвинулся и оставил позади себя пламенных борцов, глашатаев, сторонников, ратователей революционного дела. Он разбил косность, обломовщину, непротивленство; он стер в порошок нашу родную азию. Он доказал, что угнетенные побеждают, победят, победили, он показал, как организуется победа. Русь советов, это—достаточно наглядный аргумент. Тем самым в самые отсталые народные трудовые массы в России, в Европе, в Азии, в Африке, всюду он вселил, влил, усилил, укрепил веру, уверенность в свои силы, в торжество своих затаенных дум и надежд. С Лениным, через Ленина, в Ленине миллионы людей убедились на опыте, воочию, что победа труда не есть мечта, не есть чудесная, но несбыточная сказка. После Ленина нельзя говорить: „так было—так будет“, „не нами началось, не нами и кончится“. В нашей отсталой, косной стране это имеет бесценное значение.

Ленин не творил историю подобно демиургу или библейскому Иегове. Он не изменял направления, характера, русла исторического потока, но двигался вместе, внутри него, он был его частицей; но поток был живой, людской; Ленин был впереди его; он вносил в стихийное движение планомерность, он предупреждал, где были опасные пороги, где можно было разбиться временно, потерять множество лишних жертв, и он бросал и бросался сам с бешеной энергией, где это нужно было, чтобы смыть, размыть, снести, уничтожить. Он ускорял движение, внося в него разум.

Ленин организовал победу революционных масс в России и подорвал старый мир во всех частях земного шара, объединяя пролетариат и крестьянство. Простое, ставшее стертым слово „смычка" означает не только трезвый учет, но огромное внимание и любовь и чутье к нуждам не только рабочим, но и крестьянским. Недаром Ленин не уставал доказывать, что две души у крестьянина: одна—собственническая, другая—трудовая. Вот почему Ленин стоит теперь как нечто исключительное и монументальное, как Гималаи в цепи гор и предгорий, заслоняя собой многое другое крупное и значительное. Вот почему имя его на устах миллионов людей и мимо гроба его прошло свыше миллиона людей, отдавая ему в рваной одежде при 20-градусных морозах свой прощальный долг, — и стоит в раздумьи у склепа рабочий, и причитает по-народному темная, неграмотная крестьянка, и плачет ребенок, и чтит его могилу кавказский горец, армянин, индус, китаец и негр, и смерть его стала огромным общественным явлением.

Ленин происходил из типичной интеллигентской семьи, но в нем не было ничего характерного для нашего прошлого интеллигентского поколения: ни гамлетизма, ни безалаберности и разбросанности, ни интеллигентской „широты натуры", ни обломовщины, ни чеховщинки, ни достоевщинки, ни амикошенства, ни много иного подобного. Ленин — яркое, самобытное, индивидуальное лицо, но он не был индивидуалистом. Он—массовик с головы до пят. Он впитал в себя лучшие заветы революционного интеллигентского подполья от Герцена до народовольцев, но все же в целом он далек от них, и самое важное, чем он отличен, заключается в том, что Ленина нельзя мыслить, нельзя представить обособленно от широких масс рабочих и крестьян, между тем как все наши русские революционеры старого покроя из интеллигенции были всегда одиночками, вне народа, над народом. Конечно, Ленин жил в пору, когда трудящееся человечество пришло в великое социальное движение,

когда оформился и созрел рабочий класс, но очень многое принадлежит ему, достигнуто в упорной работе над собой, Н. К. Крупская на XI съезде Советов очень точно, глубоко и верно сказала, что на мучительные, настоятельные вопросы т. Ленин нашел ответы у Маркса и пошел с ними к рабочим: „Но пришел он к рабочим не как надменный учитель. Он пришел как товарищ. Он не только говорил и рассказывал: он внимательно слушал, что говорили ему рабочие". Он учил рабочих и сам умел учиться у них. В этом нужно искать тайну мудрости Ленина. Именно благодаря этому умению он стал массовиком, слился с людьми труда, стал идейным выразителем их интересов, надежд, дум. По этой же причине, происходя из интеллигентской среды, он так мало походил на российского интеллигента и так много у него было от рабочего. Ленин—гениален. Его точный, ученый, вышколенный ум социального стратега, тактика и прозорливца, твердость и закал его воли, необычайная трудоспособность, уменье сплачивать, организовывать, действовать сообща, скрытый революционный пафос, ненависть до конца ко всему филистерскому, мещанскому, эксплоататорскому, деловитость, простота и полное отсутствие позы,—все это его, ленинское, индивидуальное. Но эти индивидуальные черты являются также и кровными типическими свойствами класса наемных работников. Такой контакт получился оттого, что Ленин учил и умел учиться у рабочего.

Многие интеллигентные мещане не понимают и удивляются бесстрашию Ленина. Да, он был бесстрашен, он умел итти до конца; раз убедившись, он действовал без колебаний и сомнений; он не мстил никогда ради мести, но в интересах революции он не останавливался ни перед какими жертвами, он не боялся крови, где нельзя было обойтись без нее. Почему? Потому, что он умел ощущать потенциальную волю рабочего, умел „внимательно слушать“, знал и понимал, чем они живут, чем дышат.

В нем билось поистине великое сердце с горячей любовью ко всем трудящимся. Это чувство покрывалось, скрывалось деловитостью Владимира Ильича. Можно сказать, что у него это чувство целиком ушло в дело, в практику.

В уменьи учить и учиться у рабочих нужно искать объяснения и тому исключительному единственному влиянию, каким тов. Ленин пользовался в рядах коммунистической партии. Русская революция, это — большевизм. Большевизм, это — Ленин. Коммунистическая партия—ленинская партия.

Ленин и наша партия — синонимы. Но партия большевиков только потому разбила и разнесла в щепки царский трон, подорвала власть господина Купона, привела к банкротству ме-

щанских социалистов, что следовала за своим вождем: училa и сама училась у масс. Оформляя и переводя на ясный социально-политический язык то, что бродило в рабочих низах, что часто только инстинктивно переживал рабочий, Ленин создавал в партии особую атмосферу, психическую, общественную среду, в которой чудесно перекраивались, переделывались лучшие революционные интеллигенты: они совлекали с себя интеллигентщину и проникались настроениями и мыслями наиболее передовых рабочих. Лучший пример—кадры профессиональных революционеров, старая гвардия, в большой степени пополнявшаяся интеллигентами.

Но ни партия, ни Ленин никогда не льстили, не потакали рабочим массам, не плелись в хвосте. Наоборот, партия Ленина всегда старалась поднять рабочую массу до уровня наиболее революционного, решительного и сознательного авангарда, беспощадно борясь с трэд-юнионизмом, с экономизмом, с реформизмом, с ликвидаторством. В этом сочетании чистоты движения, ортодоксальной твердокаменности со способностью учиться у рабочих масс—вся суть большевизма. Это—тот камень, на котором зиждется наша партия,

„и врата адовы не одолеют ее“.

Этому учил тов. Ленин свою партию.

Ленин, это—стык Запада и Востока и не только Востока. Ленин сумел объединить новейшую революционную классовую борьбу пролетариата Запада с освободительной борьбой порабощенных, отсталых, находящихся на низших ступенях культуры народов Азии, Африки, Австралии, Америки.

Ни в чем с такой силой, наглядностью и очевидностью не обнаружилась изумительная чуткость тов. Ленина, понимание и знание нужд и положения угнетенных, как именно в его отношениях к этим народностям, находящимся под самым нечеловеческим гнетом своих и иностранных поработителей. Ленин твердо знал, что ни о каком подлинном социалистическом общежитии не может быть речи, пока целые нации превращены в рикш на потребу мистеров и лордов, банкиров и финансистов, пока не потрясен патриархальный экономический и политический уклад этих наций, государств.

Великой заботой об этих дремлющих недавно Тегеранах, об этой всесветной Азии, порабощенной и разграбляемой, проникнута была вся жизнь тов. Ленина. И здесь он не уставал, не утомлялся бороться с мистерами и лордами, с национальными деспотами и угнетателями. Он не давал потачки и тем верхуш-

кам и прослойкам западно-европейских и американских рабочих, получавших подачки от всесветных грабителей, которые так или иначе, активно или пассивно, сознательно или бессознательно прикладывали свою руку или попускали капиталистов своей страны, государства убивать, обирать, превращать во вьючных животных, в пушечное мясо индуса, негра, китайца. И он бил по самым больным, по самым опасным местам старый мир, бил твердо, точно, неустанно.

В этой области почти вся оценка тов. Ленина впереди, в веках, ибо у нас нет достаточных данных для подведения хотя бы приблизительных итогов. И не случайно, конечно, Ленин вышел из России. Именно, Россия лежит на стыке Востока и Запада, и в России на-ряду с высоко-развитым капитализмом бок-о-бок гнездился азиатский уклад жизни.

Он был интернационалистом таким, каких не было. И к нему больше, чем к кому-либо, должны быть отнесены слова поэта:

> Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
> И назовет меня всяк сущий в ней язык:
> И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
> Тунгуз, и друг степей калмык.

Друг трудового человечества, никогда, ни в чем, нигде не изменявший ему,—таким жил и таким сошел он в могилу.

О Ленине, выдвинувшем идею власти Советов и практически осуществлявшем диктатуру пролетариата, нужно писать особо. В этой области требуются целые исследования. Кроме того, деятельность тов. Ленина в этот период протекала на глазах миллионов людей. Здесь достаточно отметить одну черту. Борясь за осуществление диктатуры пролетариата, Ленин не уставал противопоставлять формальный, „чистый“, буржуазный демократизм пролетарскому, плебейскому. Вместо игры во свободы, в парламенты с четыреххвостками тов. Ленин двинул сотни тысяч рабочих и крестьян в хозяйство, в Красную армию, в государственные и партийные органы. Он дал им реальную, а не призрачную власть и находил, что сущность пролетарского демократизма заключается именно в том, чтобы рабочие получили доступ в школы, в университеты, чтобы они овладели „храмами науки“, чтобы они управляли фабриками, заводами, государством.

Большие и маленькие Керенские до сих пор льют слезы и не понимают, как это случилось такое грехопадение, что ра-

бочие отвернулись от всех великолепных свобод и предпочли „режим террора и насилия". Дело же очень простое и ясное: „режим террора и насилия" на наших глазах создал огромные кадры нового демоса, ставших хозяевами экономической, политической и культурной жизни страны.

И в этом тов. Ленин в конечном итоге только „внимательно слушал, что говорили ему рабочие", ибо Советы стихийно выдвинула прежде всего сама рабочая масса.

Смерть и похороны тов. Ленина показали и подчеркнули, что он подлинно-национальный, народный вождь и герой. Смерть тов. Ленина нашла такой могучий, массовый отклик во всей стране, какого никто не ожидал. Дрогнула и печаль утраты почувствовала вся Россия. Стало видным, наглядным и знаемым, какое неисчислимое количество людей—вся трудовая Русь—считало его близким, нужным, любимым, единственным, своим. И недаром мы являемся свидетелями того, как сотни тысяч мозолистых людей, стоявших в стороне от коммунистической партии, решили продолжать дело тов. Ленина в ее рядах.

Ленин принадлежит к тем великим людям, значение, удельный вес которых со смертью непрестанно растет в веках, в будущем. Уже теперь, на наших глазах его имя становится легендой, сказкой, сагой. Разные группы нашего пестрого населения уже сочиняют, создают, творят своего Ленина и ищут в нем воплощения своих надежд, идеалов и мыслей. Одни видят в нем непротивленца, другие—доброго американского дядюшку, третьи—культуртрегера, четвертые - хитроватого, хозяйственного мужичка, пятые уже окутывают его мистическим туманом.

Можно также быть уверенным в том, что буржуазный мир помимо клеветы и проклятий постарается извратить образ тов. Ленина, и одна из очередных задач будет заключаться в том, чтобы решительно бороться против таких извращений. А в этом, конечно, недостатка не будет.

Но что сказать о тех „социалистах", которые во дни общего траура не нашли ничего лучшего, как тявкнуть из-под зарубежной подворотни облезлой шавкой. А было и это. В № 368 „Дней", органе эс-эров и эн-эсов, напечатано было: „В промежутке между революцией 1917 года и началом 1914 года лежит мрачнейший для биографии Ленина период „циммервальдизма". Не сама по себе борьба против войны кладет темное пятно на репутацию революционера. Пацифистов, агитировавших против войны, можно найти в каждой из боровшихся наций. Ленин умер, не погасив и не стараясь погасить прямое

обвинение в его связи с германским штабом". Писалось все это во дни, когда буквально вся Москва шла ко гробу Ленина. Днёвская шавка до того безмозгла и тупа, что называет Ленина, бросившего лозунг „война войне"... пацифистом. А о связи с германским штабом сейчас, после 6 лет революции нашей, могут говорить только выродки: тут нечего опровергать.

Тов. Ленин оставил нас в сложных, противоречивых условиях общественной жизни: государственного социализма и нэпа, признания Сов. России буржуазным миром и неустанных, новых, тайных и явных, подкопов под республику Советов и т. д.

Ленин сделал коммунизм вопросом дня, сделал его практической и тактической проблемой. Далекое стало близким, осязаемым, зримым, идеальное—реальным. Коммунизм теперь не доктрина, а дело, практика, повседневная борьба и работа.

В этом смысле тов. Ленин стал новым Прометеем, сведший священный огонь социализма с небес на землю.

Много грозных опасностей каждодневно, ежечасно, на каждом шагу подстерегают паладинов новой земли обетованной. Но мы уже в пути; отошли слишком далеко от плена капиталистического Египта. Возврата нам нет, да и не могут хотеть его испытавшие это иго. На нас, современниках, соратниках тов. Ленина, на нас, старогвардейцах, проходивших свой жизненный путь плечо с плечом вместе с ним, сковавшим свою жизнь с ним нерушимо, лежит особо тяжелая, почетная и великая ответственность: довести дело до конца, быть последовательными и непреклонными, как последователен и непреклонен был он. К одному из главнейших заветов, к одной из самых сложных проблем—к смычке пролетариата и крестьянства—мы обязаны отнестись с особым вниманием: ведь Ленина, который с особой остротой выдвигал постоянно этот вопрос, теперь нет.

Да не дрогнут руки наши, да не опустятся наши боевые красные знамена!

Ленин—гений рабочего класса.

(Социологический очерк)[1].

Е. Преображенский.

„Ленин, это—мы сами". (Из речи одного уральского рабочего в 1917 году.)

Каждый гений, как явление социальное, менее всего является сыном своего отца и матери. Мы хотим этим сказать, что гениальность есть прежде всего общественное, а не физиологическое свойство. Вернее, гениальность, это—определенный социальный процесс, который возникает на основе соединения определенных психо-физиологических свойств выдающегося человека с социальными потребностями общества или данного класса. При ближайшем анализе гениальности отпадает почти весь элемент мистического и таинственного; его место занимает изучение социальных и классовых потребностей, ищущих своего выражения в деятельности того или иного таланта или гения. Конечно, человек, являющийся по своим психо-физиологическим данным идиотом, не может стать гениальным выразителем потребностей своего класса. В этом смысле для проявления гениальности нужны известные психо-физиологические предпосылки. Но эти предпосылки останутся мертвым капиталом, их не позовет „к священной жертве Аполлон", если социальная необходимость не заставит физиологию работать на общество. В этом смысле общественный гений родится не от отца и матери. На десятки и сотни тысяч людей, живущих сознательной общественной жизнью в той или иной стране, давит социальная и классовая необходимость в самых различных направлениях. Изобретайте новые машины! Давайте музыку, выражающую наши переживания! Давайте нам художественные образы, отвечающие нашим запросам в литературе, живо-

[1]) Первая часть брошюры о Ленине.

писи! и т. д. Ведите нас к победе на фронтах! дайте нам классового вождя, который приведет нас к победе с наименьшей тратой сил! и т. д.

На почве давления этих социальных потребностей происходит выбор наиболее подходящих мозгов из всего наличного человеческого материала, и затем происходит процесс соединения работы этих мозгов с социальной потребностью. Прежде всего, делается ясным, что при наличии достаточных физиологических данных, играющих роль материала для горения, степень гениальности будет пропорциональна степени давления социальной потребности на личность. Чем глубже, шире, чем грандиознее исторические проблемы, стоящие перед обществом или классом, тем больше сила гения, который все это должен выразить. Сила гения пропорциональна величине исторических задач, стоящих перед его классом.

Но, когда произошла установка способностей выдающегося человека на классовую потребность (при чем выдающимся он делается post factum, т.-е. после того, как класс проявил его, выдвинул его вперед, как своего выразителя), дело не кончается этим, а только начинается. Когда завязывается эта внутренняя связь между потребностями, мыслями, всей мозговой работой таланта и социальной потребностью (на прежнем мистическом языке это называлось вдохновением), то начинается длительный, постепенный, никогда не прекращающийся процесс приспособления таланта к социально-классовым потребностям. Примером несостоявшегося приспособления является „неудачное произведение", „ошибка" и т. д. Примером удачного приспособления является все то, что общество квалифицирует, как талантливое, гениальное и т. п. Этот процесс приспособления продолжается непрерывно. Вообще гений, это—не качества, которые человек носит в кармане или за своей черепной коробкой, а это—социальный процесс, это—движение, в котором определяющая роль принадлежит коллективу, хотя внешне представляется, что дело обстоит как раз наоборот. По мере роста классовых потребностей, их углубления, изменения их характер, талант или развивается, совершенствуется, поднимается миллионами рук и социальными потребностями этих миллионов рук до высоты гения, либо социальные потребности, выжав все, что можно было выжать из данного таланта в данный период, переходят к другим объектам, которые способны лучше выразить новые запросы, выполнить новые задания коллектива. В первом случае талант развивается в гения, питаясь соками своего класса и возвращая классу продукт своей гениальности, т.-е. в сущности продукт классовой гениаль-

ности, лишь индивидуально выраженный. Во втором случае, талант не двинулся вперед, остался на старом уровне. А не итти вперед в области таланта и гения, значит потерять талант. И, разумеется, не индивидуум здесь что-то теряет, а, наоборот, класс теряет в данном случае точку приложения социальной потребности к данным индивидуальным мозгам и вынужден устанавливать смычку с другими.

Эти несколько общих предварительных замечаний будут нам необходимы как для понимания социальных корней ленинского гения, так и для понимания индивидуального развития Владимира Ильича на протяжении трех революций.

Рабочий класс нашего Союза сильнейшим образом отличается от пролетариата Запада. Исторически он сложился из двух слоев. Во-первых, из рабочих, которые сорганизованы нашим национальным капиталом при постоянной поддержке со стороны государства; сюда относятся прежде всего рабочие горных заводов, рудников, оружейных и аммуниционных заводов, а во-вторых, это—рабочие мануфактурных фабрик, созданных нашим российским капиталом. Другой слой представляют рабочие нашей тяжелой промышленности и отчасти транспорта, рабочие крупнейших предприятий, построенных по последнему слову европейской техники, прежде всего на юге. Эти рабочие были продуктами вторжения к нам иностранного капитала. Несмотря на свою историческую молодость, этот слой пролетариата сразу стал играть руководящую роль в русском рабочем движении. Не текстильщик центрального района, не уральский рабочий старых уральских заводов, а металлист с предприятий иностранного капитала делается теперь застрельщиком и коноводом пролетарской борьбы. Этот новый рабочий представлял и совсем другой тип по сравнению с рабочим старых российских заводов, не особенно легким на подъем, жившим в условиях полумещанского быта наших мелких городов и местечек. Новый рабочий, явившийся продуктом вторжения к нам иностранного капитала, очень быстро раскачал и старого рабочего, очень сильно изменил его психологию, действуя на него примером своей борьбы.

Европейский пролетариат развивался медленно, как медленно мануфактура душила ремесло, как сравнительно медленно крупная машинная промышленность вытесняла мануфактуру и мелкое производство. Европа, выбрасывавшая промышленный капитал в другие страны, начиная со второй половины XIX века, в период развертывания в ней капитализма, строилась за счет

своей собственной прибавочной стоимости. При этой медленной стройке рабочий класс был в некотором смысле приручен капитализмом. Буржуазия научила его ценить блага буржуазной культуры. Она заставила его проникнуться уважением к предпринимателям, как к организаторам нового способа производства. Получая сверх-прибыли от эксплоатации колоний, европейский капитал, прежде всего английский капитал, заинтересовывал частично аристократию рабочего класса в своей колониальной политике и во всей той системе, которая на одном конце означала зверскую эксплоатацию колоний, расстрелы сопротивлявшихся туземцев, вымирание их от сифилиса и водки и прочих благ европейской цивилизации, а на другом — гарантированный ростбиф к столу квалифицированного рабочего Англии. И в то время, как рабочий-аристократ Запада был силой, которая сковывала весь остальной рабочий класс и держала его в моральной узде эксплоататоров, передовой отряд рабочих нашей тяжелой промышленности, созданной иностранным капиталом, играл по отношению к остальной рабочей массе России как раз обратную роль.

Наш рабочий был классово молод. Его отцы и деды были в большинстве крепостные помещиков. Ненависть к барину он перенес полностью на хозяина. Наш рабочий не уважал своего благодетеля-хозяина. Он начал ненавидеть весь уклад буржуазных отношений, раньше чем стал уважать и ценить буржуазную культуру. Русский рабочий, это—бунтовщик деревни, поставленный около машины. Естественно, что рабочий класс, сделанный из такого теста, явил миру совершенно особый тип пролетариата. Это был пролетариат высоко концентрированной промышленности,—следовательно, с этой стороны он ни в чем не уступал передовому пролетариату буржуазной Европы. А с другой стороны, психологически, этот пролетариат был совершенно не покорен буржуазной идеологии, не приручен капиталом, не разложен, не подкуплен в лице своего авангарда. Такой пролетариат был предназначен исторически к роли гегемона в нашем революционном движении. Что касается нашей буржуазии, то на нее гораздо больше могла рассчитывать реакция, чем революция, ибо „чем дальше на восток, тем подлей буржуазия". Крестьянство не могло играть никакой самостоятельной роли в революции, несмотря на целый пороховой погреб классовых противоречий, скопившихся в деревне на почве аграрных отношений. Интеллигенция могла лишь примкнуть к тому или иному основному классу. Ее удельный вес, как самостоятельной силы, был измерен поражением народников, „Народной Воли" в 70-х годах.

Вот какой пролетариат, вот в какой междуклассовой обстановке взял к себе на службу, на службу революции дарование Ленина.

В развитии гения Ленина надо, мне кажется, строго различать два периода. Первый период—до мировой войны 1914 года, и второй период—до его кончины. В первый период дело шло в общем и целом о буржуазно-демократической революции, и талант Ленина мы должны исследовать под углом зрения того, насколько верно он наметил путь и основы междуклассовой тактики для пролетариата, вынужденного исторически довести до конца буржуазно-демократический переворот, не только преодолевая сопротивление помещиков и самодержавия, но и проводя его последовательно до конца против воли самой буржуазии и отчасти даже самой буржуазной демократии.

Во второй период дело шло о переходе буржуазно-демократической революции в социалистическую в обстановке мировой войны и о первых шагах по пути строительства социализма в крестьянской стране.

В своей знаменитой брошюре: „Две тактики", Ленин категорически отверг такую постановку вопроса, при которой пролетариат осуждался на роль подручного буржуазии, на роль пушечного мяса для российского либерализма. Он провозгласил лозунг, что буржуазно-демократическая революция может победить лишь на основе революционного блока пролетариата и крестьянства, направленного против помещиков и против самодержавия. На протяжении революции 1905—1906 г.г.-правильность такой постановки вопроса была подтверждена лишь от противного. А именно: революция 1905 года была разгромлена именно потому, что она не успела развернуть свои классовые силы в направлении установления рабоче-крестьянского блока. Рабочий класс, выступивший изолированно, был раздавлен крестьянской армией, которая, несмотря на большие колебания, в общем дала себя использовать самодержавию в период революции против пролетариата. 1917 год подтвердил правильность основной оценки классовых сил нашей революции, сделанной Лениным,—и подтвердил уже в положительной форме. Буржуазно-демократическая революция, развиваясь в социалистическую, т.-е. лишь исчерпав себя, как буржуазно-демократическая, в состоянии была вскрыть в процессе этого перерастания своих пределов основы своих собственных внутренних сил. И эти силы оказались такими, как их расценивал Ленин в 1905 году.

С этой точки зрения все спорные вопросы в полемике с меньшевиками, коренившиеся в различной оценке характера

русской революции 1905 и 1906 г.г. и в различной оценке ее классовых сил, были решены против меньшевистской концепции революции. Так решились: и вопрос об отношении к либеральной буржуазии, и вопрос о роли Советов, как зародыша революционной власти, и вопрос о захвате помещичьих земель, и программа национализации, и вопрос о вооруженном восстании и технической подготовке к нему, и, наконец, вопрос о социально-классовой оценке партии меньшевиков. Так как революция 1905—1906 г.г. победила только в 1917 г., то правильная тактическая линия Ленина не могла целиком и полностью найти себе подтверждения и проверки как раз на протяжении той революции, в ходе которой создались основы большевистской тактики. Поэтому-то гениальность ленинского прогноза не могла быть оценена по достоинству в первой революции, а позиция меньшевиков представлялась тогда не в такой степени предательской и глупой, какой она выглядит в перспективе 1917 г.

В 1905—1906 г.г. спор шел о том, какая тактика вернее всего приводит к завершению буржуазно-демократического переворота при данном соотношении классовых сил, но вопрос вовсе не стоял так: какая тактика лучше всего соответствует революции, идущей к краху? В программе дня была победа революции, а не ее крах. Меньшевистская же тактика была целесообразной лишь в том случае, если бы провал революции был программной задачей для этой фракции.

Эта гениальная оценка классовых сил нашей революции, сделанная Лениным, не исключала ряда ошибок в частностях. Например, в 1902—1903 г.г. тов. Ленин отдал дань марксистскому доктринерству в своей аграрной программе „с отрезками". В 1906 г. он ошибся в оценке размеров революционного подъема, откуда проистекла и ошибка с бойкотом Думы, и ошибка с линией на восстание в 1906 г. Все мы, большевики, участники тогдашней борьбы с ее автоматизмом в развертывании революционных процессов, с тогдашними перспективами 1906 года, знаем хорошо, что не сделать последних ошибок можно было бы прямо чудом. А если бы даже эти ошибки и не были сделаны, то сманеврировать на новую тактику, не отрываясь от своих масс, мы вряд ли бы смогли.

Так самоопределил себя гением Ленина авангард наш пролетарский в первую русскую революцию. Тактическая линия, намеченная Лениным, лишь переводила на марксистский язык и на язык политической борьбы то, что несли рабочие массы в неотесанных кирпичах своего элементарного понимания вещей, что отвечало их массовым настроениям, что улавливал их классовый инстинкт. Большевистский лозунг—поддерживать кадетов,

но только дубиной,—соответствовал стихийному недоверию рабочих масс к купеческо-помещичьему либерализму. Лозунг свержения самодержавия и вооруженного восстания соответствовал огромному озлоблению масс против царизма, помещиков, фабрикантов и решению бороться до конца. Массы не шутят в революции, и, если они вступили в движение, они идут, как говорится, до точки, до предела. С этой точки зрения интеллигентскими умничаниями и марксистскими „выкрутасами“ являлась позиция меньшевиков по вопросу о неучастии во власти со стороны победившего рабочего класса. И, наоборот, только лозунг революционной власти, построенной на диктатуре пролетариата и крестьянства, соответствовал силе натиска рабочих на самодержавие и их решимости довести дело революции до конца. Наконец, и отношение большевиков к крестьянству соответствовало российским условиям. В то время как меньшевики пытались пересадить на русскую почву то вековое недоверие потомственного почетного пролетариата Запада к своему крестьянству, у нас в России, где связь рабочих с деревней никогда не прерывалась, лишь большевистские отношения к крестьянству соответствовали реальному взаимоотношению между нашим рабочим и нашей деревней.

Меньшевики, большие импрессионисты в политике (мелкобуржуазная черта вообще), умели очень тонко улавливать и отражать в своих решениях и лозунгах колебания и даже поверхностные нюансы рабочих настроений. Но они прошли мимо главного и основного, они либо прошли мимо стержневых фундаментальных классовых настроений, либо в большинстве случаев предательски отшатнулись от них. Наоборот, тов. Ленин и большевики были весьма неподатливы („меднолобые“, „твердокаменные“ и т. д.), когда дело шло о том, чтобы принизить лозунги движения, приспособляясь к минутным настроениям рабочего класса, к настроению сегодняшнего дня рабочей массы. Но в то же время Ленин понял и схватил главное и основное в стремлениях революционного пролетариата,—схватил основные тенденции пролетарской борьбы и ее неизбежные конечные результаты. В этом смысле в 1905 году он антиципировал пролетарскую победу 1917 года.

Что касается организационного вопроса, то и здесь тов. Ленин лишь гениально писал под диктовку классовой необходимости. Состав сил, которыми можно было располагать партии, был в общем таков: очень небольшое число совершенно сознательных и убежденных передовых рабочих, а также революционеров из интеллигентов, за ними сочувствующие слои рабочих и мелко-буржуазной интеллигенции, за сочувствующими

рабочими—рядовик-рабочий; за рядовиком-рабочим—крестьянин. При таких условиях задача формулировалась так: как при минимальных руководящих кадрах получить идейное и организационное господство над максимальным количеством людей, во-первых, из своего класса, а затем—из класса союзного. Вторая задача, связанная с первой, формулировалась так: как при максимальном вовлечении в движение широких масс сохранить максимальное единство действия, максимальную однородность кадрового стержня рабочего движения. Между той и другой задачей было известное противоречие. Чем многочисленнее массы, которые идут за партией, тем больше опасности разнобоя в их действиях, а тем более в мыслях, чувствах, лозунгах и т. д. Чем бо̀льшим успехом пользуется партия в массах, тем больше людей ломится в ее двери, тем быстрее она растет, тем больше опасности для нее потерять свою однородность, идейную похожесть, монолитность. Необходимо было массовое движение рабочих и массовый характер партии совместить с максимальным единством действия, с чистотою принципов и с однородностью состава партии. Ленин нашел правильным выход в том, что взял курс не на партийного интеллигента, который способен от сектантской однородности и однотонности переходить к противоположной крайности—к мещанскому индивидуализму, к разнообразию мнений, точек зрения и т. д., а взял курс на рабочего в партии. Он взял курс на то типовое классовое единство, на ту классовую однородность в главном и основном, которая характерна для рабочей психологии. В результате кадр старых большевиков, воспитанный Лениным и в большинстве состоящий из профессиональных революционеров-интеллигентов,—этот кадр, обработанный применительно к требованиям рабочего класса путем идейной и практической тренировки, соединился с резервами из новых, большевистски настроенных слоев рабочего класса, т.-е. соединился с широким кадром „натуральных“ большевиков-рабочих. Взяв курс на рабочих-большевиков, Ленин тем самым предохранил партию от разбухания ее за счет интеллигенции, и благодаря этому ее единство, ее однородность и ее монолитность он переместил на единственно твердую основу,—переместил на естественную классовую базу партии.

Таким путем были заложены в ходе практической борьбы основы для того замечательного социологического феномена, каким является Р.К.П. Задача—с малыми, но хорошо спаянными и однородными силами двигать большими силами—была решена. Структура Р.К.П., ее методы работы внутри и вне партии—вот метод решения этой задачи. Это решение не является, раз-

умеется, единственно возможным и единственно целесообразным для всех рабочих партий, идущих к революции. Не везде есть те элементы, из которых можно было бы получить такие слагаемые, как у нас. Мы имели революционный рабочий класс, молодой, неиспорченный капитализмом, с огромной потенциальной революционностью и самоотвержением; мы имели не мирную, а революционную ситуацию в стране; мы имели несколько поколений революционной интеллигенции, из которой было что́ выбрать и притянуть к себе пролетарскому магниту; у нас были отводные каналы для мелко-буржуазной революционности (с.-р.) и для марксистски прикрытого интеллигентского оппортунизма (меньшевики). Наконец,—и это не наш плюс,—партия строилась на базе культурно очень отсталого пролетариата, при огромной дистанции, отделяющей идейных передовиков-интеллигентов и рабочих не только от всей рабочей массы, но и от массы членов своей же партии. А это делало объективно неизбежным усиление централизма, усиление, в том числе формальное, партийного авторитета руководящих кадров, и соответственное уменьшение самодеятельности партийных низов.

Решение организационной проблемы, представленное в лице Р.К.П., не есть единственное возможное для рабочих других стран, но оно было единственно возможным для нашего пролетариата в условиях первой революции. Гений Ленина проявился в том, что он выбрал единственный целесообразный путь строительства большевистской партии из данного материала в данных исторических условиях.

Важнейшей предпосылкой в идейной однородности большевиков является их теоретическая непримиримость, их ортодоксальный марксизм. Но сам по себе марксизм не гарантирует еще единства действия, ни революционности в этом действии. Меньшевистское оскопление марксизма—достаточно яркий этому пример. В то же время марксистское книжничество и буквоедство совсем не гарантирует и от большого разброда в области практической деятельности. Все зависит от того, в каких головах помещается этот марксизм и корректируется ли он практикой живого массового рабочего движения. Между теорией в голове и между практикой политической борьбы класса лежит целый ряд промежуточных ступеней, представляющих достаточный простор, чтобы свихнуться той или иной „личности“, чтобы от книжного марксизма в теории докатиться до оппортунистической, а иногда прямо контр-революционной практики. Ленин был превосходнейшим марксистом. Он был одним из лучших знатоков текста Маркса в нашей партии; можно было бы сказать без преувеличения, что он был идейно влюблен в Маркса

и марксизм, который был его „натуральной“ точкой зрения. Но он никогда не был книжником от марксизма. Он презирал и высмеивал буквоедов от марксизма, этих старых кукол, заснувших с „Капиталом“ под подушкой около живого рабочего движения и проспавших величайшую в мире революцию. Он смотрел на теорию, в том числе и на теорию марксизма, как на орудие классовой борьбы, как на необходимый инструмент при руководстве массами в этой борьбе. Он ценил его больше всех, между прочим, и потому, что больше всех видел на практике, что значит теоретическое марксистское вооружение к политической борьбе. Применять марксизм — для политического деятеля—значит считать в области социально-экономической большими числами, это значит уметь проводить учет классовых сил, их расположение в данный момент, их изменение, их динамику, и все это не ради марксистского искусства для искусства, а для того, чтобы безошибочней действовать в интересах пролетариата своими собственными силами, силами своей партии и авангарда рабочего класса. Марксизм Ленина, это — марксизм действенный, в котором теория переходит в практику, а обобщения в практике тут же сгущаются в теорию. Ленин хорошо прочувствовал и не раз сам повторял слова Гете: „Сера теория, но зелено вечно растущее дерево жизни“. Да, для него дерево жизни всегда было растущим! Он был истинным диалектиком. Он всегда отдавал себе отчет в том, что в общественной среде все движется, все меняется. То, что было верным вчера, является ошибочным сегодня. Он понимал и понимал на деле душу марксизма. Он проявил величайшее искусство в том, чтобы изменять изменяющуюся социальную среду. Марксизм был для него не орудием познания самим по себе, а орудием наилучшего изменения социальной среды, при помощи наилучшего ее познания. Марксистская теория, без применения к практике, была для него бесплодной смоковницей. В области теории для него не было ничего такого, что было бы ценным само по себе, вне конкретных задач в борьбе за освобождение трудящихся. В одном своем произведении Чехов, говоря о том, что в художественном произведении не должно быть ничего лишнего, писал: „Если на первой странице рассказа у вас в кабинете висит ружье, то на следующей оно должно выстрелить“. Для Ленина в теории марксизма так же не было ничего лишнего, теория марксизма была для него тем ружьем, которое надо сегодня заряжать, и которым надо вооружаться, затем, чтобы завтра оно могло выстрелить во врагов пролетариата. Ленин был не только учеником Маркса: среди учеников Маркса есть и тупицы, и педанты, и люди в футлярах. Он был

гениальным марксистом, т.-е. свободным при применении марксизма к практике сегодняшнего дня, к практике вечно зеленого дерева жизни. Отсюда и другой вывод: кто хочет быть в этом отношении похожим на Ленина, кто хочет быть настоящим ленинцем, тот не должен быть буквоедом и ханжой ленинского текста, а диалектиком революционной борьбы пролетариата и его социалистического строительства, нужно быть духовным учеником Ленина, а не его начетчиком.

Ленин как гениальный тактик, как тактик не только российского (каковым он был до 1914 года), но и тактик мирового рабочего движения, выдвигается эпохой мировой войны. Предвидение в политической борьбе означает все. На правильном предвидении будущего усиливаются и растут одни партии, на неверной оценке гибнут другие. На предвидении в большом историческом разрезе, с одной стороны, на ошибках, с другой стороны, одни делаются политическими вождями, другие сходят со сцены в качестве политических банкротов. Ход истории имеет свои узловые пункты, от которых начинаются новые эпохи. Тот, кто правильно поймет смысл такого исторического перелома, тот окажется пророком на полстолетия вперед. Такой узел мировой истории завязался в 1914 году. Точнее, в этом году с катастрофической быстротой начал разрубаться мечом империалистической войны тот узел, который завязывался, начиная с буржуазных революций, самим ходом капиталистического развития мира. Социал-предатели в каждой стране высказались в своем патриотическом усердии за сегодняшний день своей буржуазии. Ленин высказался за завтрашний день пролетариата. Он схватил с точки зрения рабочей основной нерв эпохи. На данной стадии беременности буржуазного общества социализмом Ленин расценил мировую войну, как начало краха капитализма, как сигнал к социальной революции. Он выбросил в 1914 г. свой знаменитый лозунг, на который будут смотреть столетия, как на гениальнейшее из пророчеств XX века: превращение империалистической войны в войну гражданскую. Мы знаем, как мало было тех, кто понял сразу и сразу воспринял этот лозунг. Мы знаем, сколько заплатил убитыми, ранеными и искалеченными мировой пролетариат, сколько крови и костей он отдал за то, чтобы к концу мировой войны уловить смысл этих слов.

С 1914 года Ленин делается постепенно вождем всей революционной части мирового пролетариата. Рабочие массы, отходя от социал-предателей, связавших свою судьбу с буржуазным строем и взваливших на себя ответственность за войну, идут по линии большевистских лозунгов.

Здесь мы должны остановиться на вопросе, почему эти лозунги были брошены с российской территории и почему здесь именно впервые начали осуществляться. С этим связан и другой вопрос,—вопрос о второй стадии развития ленинского гения.

Наша революция 1905—1906 г.г., хотя и имела известное международное значение, поскольку и наш царизм был международным жандармом, однако ее влияние за пределами наших границ было все же довольно скромным. Она имела отзвук в Турции, Персии, Китае, она имела известное влияние на усиление революционного движения германских и английских рабочих. Но это было не то влияние, которое оказывает революционный процесс, когда он делается главным процессом для развертывания революции в целом ряде других стран. Наоборот, наша февральская и октябрьская революции выдвинули наш рабочий класс на авансцену мирового пролетарского движения. Или, если быть ближе к социологическому описанию факта, мировое рабочее движение прорывалось через кору капитализма русской революцией. Это объясняется, во-первых, слабостью капиталистического сопротивления на этом участке, поскольку развитие капитализма в России происходило не только за счет национального, но и за счет иностранного капитала, который не отлагался социально в стране в виде соответствующих групп капиталистического класса и его окружения из промежуточных классов, связанных с ним идейно и материально. Вследствие этого силы сопротивления капиталистического класса не соответствовали степени капиталистического развития страны. Это объяснялось далее революционностью рабочего класса, перенесшего на фабрику бунтарский дух крестьянских восстаний и крестьянскую ненависть к помещичьему строю и прибавившего к этому всему классовую ненависть к своим непосредственным буржуазным эксплоататорам. Это объяснялось далее накоплением острейших классовых антагонизмов и огромной революционной энергией в российской деревне, где развитие капитализма, разлагая старые отношения, создавало многомиллионные кадры безработных или скрыто-безработных рабочих сил, обостряло земельную тесноту, подготовляя в социально-экономическом фундаменте предпосылки для страшного взрыва аграрной революции. Ко всему этому надо прибавить истощение от войны, военное банкротство самодержавия, голод, дороговизну и все сотрясения, связанные с большой войной.

В результате, придушенная в 1905 году революция, революция, не успевшая добраться до своих глубоких крестьянских корней, с тем большей силой прорвалась в 1917 году, т.-е в период, когда уже не одна буржуазная революция, вследствие

дряблости самого капитализма на территории Европы, не могла не перейти стихийно в революцию социалистическую.

Рабочий класс России оказался на авансцене мирового пролетарского движения, и выдвинутый им вождь не мог тем самым не стать вождем мировой революции. Ленин должен был стать мировым вождем, ибо „развитие обмена установило такую тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что великое освободительное движение пролетариата должно было стать и давно уже стало международным" (из старой программы Р. С.-Д. Р. П.). Это—вторая стадия развития ленинского гения. Этот второй период отнюдь не вытекал логически из первого. Ленин вошел бы в историю в качестве вождя левого крыла пролетарского движения, если бы февраль и октябрь 1917 года не сделались первым этапом мировой пролетарской революции. То, что Ленин дал нам и отчасти международному рабочему движению в период первой революции, бледнеет перед тем, что дал он во второй этап. Персонально же это был один и тот же человек. Здесь мы имеем одно из поразительных доказательств того положения, что гениальность отдельного лица пропорциональна глубине, широте и размаху исторических задач, стоящих перед классом, пропорциональна силе давления социальной необходимости, которая общественно формирует гениев. Лишь грандиозное сотрясение капиталистического мира, вызванное войной, лишь предчувствие топота миллионов пролетарских ног, идущих от окопов империалистической войны к баррикадам войны гражданской, лишь дыхание назревающей классовой битвы, лишь эти события, напирая на мозг Ленина и найдя в нем адэкватный отзвук, могли так высоко поднять его над изумленным миром, вызывая проклятия и злобу на одном полюсе, веру, энтузиазм и братскую поддержку—на другом.

Вторым прогнозом всемирно-исторического значения явилась данная в апрельских тезисах Ленина оценка наших Советов, как государственной формы диктатуры пролетариата.

Когда Ленин в начале войны пришел к твердому убеждению, что эта война будет началом социалистической революции, он не занимался пророчествами насчет того, в каких конкретных организационных формах будет протекать процесс ниспровержения старого строя и формирование новых общественных отношений. В этом отношении Ленин держался лучших традиций своих учителей, Маркса и Энгельса, которые не любили заниматься сочинением конкретных картин будущего общества, которые считали, что „каждый шаг действительного рабочего движения важнее дюжины программ", и с величайшим вниманием изучали формы этого действительного рабочего движения.

Достаточно указать на тот глубочайший интерес, с которым Маркс изучал опыт Парижской Коммуны, чтобы уловить реальные черты и контуры нового типа государства, рабочего государства. С тем же глубоким и жадным вниманием следил и Ленин за советской формой организации восставших трудовых масс, которая явилась продуктом стихийного революционного творчества самих этих масс. Он сразу понял, что в лице Советов закладывается фундамент не только такой организации масс, которая поможет им организованно сбросить буржуазную власть временного правительства, но и создается фундамент для нового пролетарского государства. Уже в своей речи на I съезде Советов в июне 1917 г. он дал анализ советской формы организации масс, как постройки нового типа государства. В этом анализе он проявил глубочайшее марксистское понимание структуры государства вообще. Он тогда с полной теоретической ясностью набрасывал картину того, что мы потом нащупывали собственными руками, когда после Октябрьской революции начали уже сознательно строить, или вернее достраивать, то государственное здание, фундамент которого восставшие массы вывели так же бессознательно и стихийно, как бессознательно, инстинктивно, верно первый раз строит птица свое гнездо, плана которого она не имеет перед глазами. Гений Ленина сознательно выразил, сознательно объяснил пролетариату смысл его собственной стройки.

Этот момент сознания гением рабочего класса стихийного творчества самого рабочего класса есть одна из захватывающих по своей глубине и красоте страниц нашей великой революции 1917 г. Сочинять,—значит делать нечто лишнее. А в гении, в его работе, как в высоко художественном произведении, нет ничего лишнего, и я бы сказал еще, и нет ничего личного. Во время одного митинга на Урале летом 1917 г., когда нам приходилось отбрасывать от нашей партии гнусные клеветы кадетов и эс-эров насчет „немецких денег“, которыми-де подкупили большевиков, один рабочий, взяв слово в защиту большевиков, сказал: „Ленин, это—мы сами“.

Слова этого рабочего есть не только выражение классовых чувств и дум нашего пролетариата, но и глубочайшая научно-социологическая правда о Ленине. Ленин, это—сам рабочий класс в его величайшем творческом достижении, в его титаническом порыве к созданию нового общества, в наивысшем проявлении его собственного самосознания.

Перейдем теперь к Октябрьской революции. Если есть после Красной площади место, где должен быть прежде всего поставлен памятник Ленину, так это на том участке земли, где он

писал свои знаменитые статьи о восстании. Перечитайте эти статьи. Перечитайте эти строки, в которых клокочет и бурлит стальная лава пролетарского порыва к власти. Эта классовая воля к власти так законченно выражена в этих статьях, что кажется как-то мало вероятным их индивидуальное авторство даже по внешней форме. Кажется, что это—страницы из того периода жизни человеческого общества, когда еще не существовало способов индивидуального выражения социальных процессов, когда толпа коллективно слагала свои песни, либо рокотом и гулом тысяч голосов на все выявляла свою волю, сейчас же претворявшуюся в действие. Если есть из всего написанного и сказанного Владимиром Ильичем что-либо более сверх-индивидуальное даже по форме выражения, то именно статьи о восстании. А когда, читая эти статьи, смотришь одновременно на наиболее типичные и удачные из его портретов, и прежде всего на тот величественный портрет, который лучше всего было бы назвать „Власть пролетариата“, то начинает казаться, что самым характерным для тов. Ленина является как раз не его индивидуальное, а его сверх-индивидуальное, родовое, его классовое начало. Это классовое начало в Ленине и есть настоящий Ленин—вождь пролетариата.

Если марксизм в политике, это—умение считать в больших числах, умение взвешивать без больших ошибок социальные силы общества и следить ежечасно за их изменением, то марксизм в тактике, это—умение оперировать большими классовыми силами в борьбе за коммунизм. Это умение есть сущность того, что мы теперь называем ленинизмом. Гений Ленина достиг своего высшего напряжения, своего полного развернутого проявления прежде всего в этой области, когда Ленину пришлось от имени пролетариата оперировать всеми силами этого пролетариата, организованного в государство и, вследствие организации в государство, получившего возможность двигать и силами других классов, прежде всего силами своего классового союзника,—крестьянства. То новое, что сказал Ленин об отношении пролетариата к крестьянству в буржуазно-демократической и в социалистической рабочей революции, еще недостаточно теоретически осмысленно и оценено нашей партией. И сам Ленин, творя великие дела в области тактической, в области практических отношений пролетариата к крестьянству в революции, не имел времени и охоты обобщить и привести в систему свои взгляды в этой области. Дело у него было на первом плане. И здесь он, пролагая новые пути, своей гениальной интуицией лишь схватывал из жизни то, что представляло из себя продукт стихийно складывающихся отношений между этими классами

в совершенно новой и небывалой исторической обстановке. Умение организованно и сознательно сочетать „рабочую революцию с крестьянской войной“, с тем, чтобы при этом диктатура пролетариата оставалась диктатурой пролетариата, — это было одно из величайших достижений Ленина в области тактики. Чем больше опасности было на этом пути, чем сильней были колебания в крестьянстве, чем чаще отдельные слои крестьянства стремились уклониться от того, чтобы их „сочетали“ с рабочей революцией и стихийно стремились самоопределиться против рабочей революции, тем больше требовалось напряжения и тактического искусства от гения Ленина, от гения рабочей революции.

„История взвалила на плечи наших рабочих чудовищно тяжелое бремя. Они должны были пробить первую брешь в стене капитализма, ослабленного войной; они должны были в стране со стомиллионным крестьянским населением построить первое социалистическое государство; они должны были отстоять это государство, воюя крестьянской армией со всем буржуазным миром. Эта задача могла быть выполнена как вследствие той исключительно счастливой обстановки, благодаря которой наша пролетарская революция соединилась с крестьянским восстанием против помещиков, так и благодаря гениальному руководству тов. Ленина.

„Гений Ленина подсказал партии единственно правильный выход: опереться в натиске на капитализм и войну на союз рабочего класса с крестьянством и мудрой политикой обеспечить революционному, героическому, но малочисленному рабочему классу поддержку крестьянских резервов страны.

„Под руководством Ленина партия и рабочий класс на спинах аграрной крестьянской революции ворвались в октябрьские дни в Зимний дворец и в Кремль. Под его руководством партия отступила на позиции Брестского мира, преодолевая наступательный автоматизм Октябрьской революции, чтобы не порвать связи со своей пехотой от сохи и плуга, не желавшей воевать. Под его руководством партия, после курса на комитеты бедноты, берет курс на VIII съезде партии на середняка, эту основную массу нашей Красной армии. Под его руководством наша партия, прощупав предварительно ребра европейского империализма походом на Варшаву, делает крутой поворот от военного коммунизма к нэпу с той же целью: не порвать с резервами деревни и сохранить политическое руководство пролетариата над крестьянством.

„В чем проявился организационный гений Ильича? В том, что он создал такую форму организации партии, при которой

слабый численно пролетариат и недостаточно культурно-развитый имел шансы победить в крестьянской стране с наименьшей затратой сил.

„В чем проявился тактический гений Ленина? В том, что пролетарскую революцию, которая, по всем объективным данным, имела 90% шансов потерпеть поражение на одной из извилин ее пути, он провел через узкий проход этих 10% к победе".

„Тактический гений Ленина был пропорционален опасностям, которые угрожали революции, которые давили на его мозг, напрягая все его творческие силы, всю дальнозоркость, всю изобретательность, всю хитрость против врагов рабочего класса. Тов. Ленин был выдвинут вперед первыми шагами массового рабочего движения в России, предвестниками революции 1905 года; он развился в гениального вождя в период мировой войны и трех революций; он был рожден и воспитан на стыке Запада с Востоком и на историческом стыке буржуазных революций с пролетарскими. Он отдал весь свой гений революционному процессу. И пролетарская революция, вскрывшая в нем силы гения, общественно породившая его, как гения, она же и убила его, безжалостно высосав все соки его мозга для своих исторических задач" (из моей статьи в „Правде").

Врачи определили причину его смерти, как „Abnutzungsclerose". В переводе на наш язык это означает: использован полностью пролетариатом.

В заключение я хотел бы еще коснуться одного вопроса, который имеет не только биографическое значение, но и известный социологический интерес. Вопрос этот является общим как по отношению к Марксу и Энгельсу, так и по отношению к Ленину. Почему интеллигент по происхождению и воспитанию мог так прочно, плотно, идеально слаженно и внутренне спаянно приттись в качестве первой головы к рабочему классу? На это даются обыкновенно такие ответы. Человек понял неизбежность гибели капитализма и победы рабочего класса и примкнул к последнему. Другой ответ: примкнул, потому что понял неизбежность гибели капитализма и вследствие сочувствия и желания помочь в борьбе угнетенным. Первый ответ является по существу неверным, потому что понять неизбежность гибели капитализма невозможно, если не искать заранее решения вопроса именно в этом направлении по каким-то побудительным мотивам, которые лежат за пределами чисто теоретических рассуждений. Второй ответ является эклектическим, но по существу он ближе к истине. В действительности же то, что представляется внешне, как акт свобод-

ного выбора жизненного пути и класса, к которому хочет примкнуть революционер, на самом деле является процессом как раз обратным. Не лицо свободно выбирает класс, а определенный класс выбирает здесь вне его пределов тех, которые ему нужны и для него подходят, которых он притягивает могучим классовым магнитом и использует для своих классовых задач. Чтоб это слияние с классом состоялось, нужно с ним известное сродство и тяга к нему под действием социального инстинкта. И только после того, как происходит это социально-психологическое слияние с классом по мотивам совместной борьбы, только после этого, либо одновременно, но только под влиянием этого процесса начинает работать теоретическая мысль в интересах данного класса. Ленин принадлежал к тому героическому поколению нашей интеллигенции, которое в 70-х годах дало кадры для народнического движения и для Народной Воли, а в 90-х годах дало умственные силы для рабочего движения. По самым глубоким, наиболее интимным мотивам своего участия в борьбе за коммунизм Ленин был народником, рабочелюбцем в самом лучшем смысле этого слова, без всякой сентиментальной слащавости; он пуритански строго прятал в себе эти пружины, лишь редко удавалось их подметить в нем. И понятно, почему он их прятал: это было в нем то единственное, чем он отличался от потомственного пролетария, который участвует в борьбе психологически по другим мотивам.

Но эти мотивы есть мотивы социальные. Следовательно, Ленин и как гений рабочего класса, и как революционер — в одинаковой степени является продуктом социально-классовой необходимости.

Мужицкий сказ о Ленине.

Л. Сейфуллина.

Большой, от столиц и крупных городов далекий, уезд. По захваченным верстам он не меньше иного иноземного государства. Были в нем золотые прииски, черноземные земельные угодья, винокуренные и салотопенные заводы, гурты баранов, овец и козы с мягким тонким пухом для прославленных оренбургских платков.

Население его—старожилы-казаки и переселенцы из губерний: Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Харьковской, Екатеринославской, Воронежской, Полтавской, Таврической. С разных краев, с разной повадкой и обычаями. И еще набросаны по речке Сакмаре и глубже в степях деревушки мордовские, башкирские и киргизские зимовки.

Люди разных кровей, с различным бытовым укладом и разной веры: православные, старообрядцы, магометане, субботники, дырники, евангелисты, скопцы, хлыстовствующие и много других сект, затаившихся здесь от правительственной веры.

Крестьяне-богачи с тысячами десятин и безземельные, „квартиранты“, не могущие поставить даже собственной избы. И крапинами разрозненными вкраплена в станицах, селах и деревнях мелкая, глушью придушенная, интеллигенция: с десяток врачей, учителя, агрономы и библиотекари. Газеты и вести о жизни всего государства Российского получались из Оренбурга. Доходили быстро только до станиц на большой дороге с телеграфными столбами, до приисков и до уездного города. Он—деревянный. Этапы существования своего—от одного большого пожара, после которого сызнова надо строиться, до другого. И низкорослый. Высились в нем только колокольни и онемевшая с девятьсот четырнадцатого труба винокуренного завода. Газеты и вести сгасали в его сырьевой глухоте. Деревни и села в глубине уезда отделены были сотней и больше верст от него и от одноколейной железной дороги на Оренбург. И к нему

и к железнодорожным станциям от этих сел и хуторов вели неверные проселочные дороги через степь, через овраги, горные увалы и перелески.

Каждое село, каждый хутор творили свою отдельную веру, свой обычай. Изживали тяготу своих налогов, совсем не интересовались не только всероссийским, но даже губернским масштабом. О министрах, царе не хранили никаких рассказов, преданий. Солдаты, приносившие их со службы, быстро забывали свои сказы. Сменяли их на близкое, ощутимое: о земских начальниках, становых, урядниках. И мобилизация на русско-германскую войну и февральская революция были негаданны здесь, как камень с неба.

Земство посылало лекторов и агитаторов. Но они не могли объехать всех деревень, хуторов и зимовок в буранные зимы, пашен, покосов и жнивья в крестьянскую рабочую летнюю пору; аулов в период кочевья.

И хоть с тысяча девятьсот четырнадцатого накатаны стали даже недавно проложенные отчаянным человеком сокращенные пути в уездный город—все же вывезенные оттуда имена военачальников и революционных правителей скоро сглыхали в застарелой тишине. В волостном нашем селе были мужики, путавшие Керенского с Родзянкой. А бабы и подростки вовсе именами не интересовались.

Но в зиму бурливого тысяча девятьсот восемнадцатого большевистская тревога властно разворошила и низкорослый город, и весь уезд. С этой тревогой пришло имя „Ленин".

Пришло и прошло не только по большаку с телеграфными столбами. Проникло на хутора и в зимовки. Ни одного из жителей уезда, разных по крови, по достатку, по мыслям не оставило теплохладным.

И о нем, далеком, не только всероссийского, но и мирового масштаба, в этом глухом, разношерстном уезде сложились сказания. В богатых казачьих станицах, в селах, где верховодили многоземельные старообрядцы, у сектантов, сумевших нажиться в общинном землевладении и приобрести под рукой отдельные собственные поля и пашни, эти сказанья пропитаны той высокой степени ненавистью, какую внушает только большой и сильный враг, которая звучит уже, как экстаз уважения. Им мало казалось в сказаньях обвинять его в корыстных расчетах. Они создали легенды о нем по библии, как о существе мистического сверхчеловеческого мира. Я слышала старообрядцев и сектантов, вдохновенно кричавших наизусть целые страницы библии, утверждавшие за Лениным число зверя, число шестьсот шестьдесят шесть, число антихристово.

Сектантский наставник, чернобородый, властный мужик, на сходке в нашем бывшем волостном правлении, кричал об языке подписанных Лениным декретов. Он от имени пророка Исайи страстно грозил всем, повторяющим сокращенные слова указов: „Не увидишь больше народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным!". И эти сокращенные слова называл ленинскими.

Другой сектант, по ремеслу шорник, на митинге уже в самом уездном городе, вздергивая седоватую, бобриком стриженную голову, взмахивал руками и кричал из писания уж в защиту Ленина. О том, что он по писанию поступает, отнимая „жирные пажити богатых": „Ибо горе им, прибавляющим дом к дому, поле к полю, так что другим не остается места, как будто они одни поселены на земле". Ленин для него был носителем справедливого священного гнева, осуществляющим предсказанное пророком Исайей. В старообрядческом поселке Карагай сухощавый, красновато-рыжий, наследственный кержак Болдин тоже по писанью, фанатично, как все из этого писания, принял Ленина.

Записался в партию, надел винтовку, стал носить наган без кобуры. И на каждом сходе грозно размахивал им и кричал утверждающие правильность политических деяний Ленина тексты. Из этих выступлений, из споров о „божественном" и Ленине вместе—создалось много сумбурных, но пафосных рассказов о нем в уезде. Разного настроения, различного к Ленину отношения, но равно горячих. От вдохновенья художественно-ярких. Никто не остался теплохладным. Безземельные „квартиранты", малоземельные поселенцы, батрачье, беднота русская, мордовская и башкирская создали о Ленине целые былины. В этой статье, спешной и взволнованной, которую пишу в час, когда еще не закрыта Ленина могила, я не могу многого вспомнить. И не о своих мыслях—о нем пишу. Я пишу о глухом уездном, где застревали и сгасали имена. И где вдруг одно большое осталось жить. Осталось и чудесно расцветилось редким и редкостным мужицким вдохновением. Более точно и ярко я вспоминаю один рассказ.

На хуторе, по пути в город, я слышала его. За сто сорок верст, в буранную зиму тысяча девятьсот восемнадцатого, ехал за новостями в город мужик Никита Минушев. И прихватил меня с собой. Обжигающий, холодный ветер и колючая позёмка заставили нас еще до сумерок свернуть к ночлегу. В избе у знакомых Минушева, на расшатанной деревянной кровати, на деревянных скамьях у стола за прозеленевшим самоваром, оказалось много свернувших с дороги путников. Тоже хозяевам знакомцев. Тоже — за новостями в город, не боясь переметенной

бураном дороги. До темноты оглядывали друг друга затаенными мужицкими глазами. Обменивались утвержденными, как обычай, при встречах сообщениями о ценах на хлеб, об отсутствии товаров и очень сторожко о новых порядках. Но в час, когда от нечистоплотной мужицкой одежды, от дыхания сбившихся в маленькой избе людей начал тускнеть и мигать огонек пятилинейки под потолком, разговорились бабы. И сухощавая serолицая хуторянка, с пеплом седины на выбившихся из-под бабьей повязки волосах, с выцветающими черными глазами, рассказала не спящим сказку про Ленина. Как Ленин с царем народ поделили:

„Вот приходит один раз к царю Миколашке самый главный его генерал. „Так и так, ваше царское величество, в некотором царстве, в некотором государстве объявился всем наукам обученный дотошный человек. Неизвестного он чину-звания, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И грозит этот самый человек: на царя Миколая приду, всех царевых солдатов одним словом себе заберу, а генералов всех, начальников, офицеров-благородию и тебя, царь Миколай, в прах сотру и по ветру пущу, слово такое есть у меня". Испугался тут Миколашка-царь, ногами вскакнул, руками всплеснул, громким голосом воскричал: „Отпишите скореича человеку тому, чину-звания неизвестного, без пашпорту, а по прозванию Ленину, пусть не ходит с тем словом на меня, не крушит в прах меня, генералов моих, начальников, офицеров-благородию, а за то отдам я человеку тому полцарства моего!". Набежали тут к царю люди ученые, скоро-скоро, с задышкою, обточили перья вострые, отписали тому Ленину: „Так и так, не ходи ты, Ленин, на царя Миколая со словом твоим, а забирай себе полцарства Миколаева без бою, без ругани". И мало ли, много ли, а в скорости прислал ответ письменный тот человек, чину-званья неизвестного, без пашпорту, а по прозванью Ленин. И отписывает Ленин царю-Миколашке: „Так и так, прописывает, согласен я получить от тебя, царь-Миколашка, половину царства твоего. Только отписываю я тебе уговор, как мы делиться с тобой станем. Ни по губерням, ни по уездам, ни по вòлостям. А вот как, прописываю я тебе, на какую дележку с тобой я согласен, и чтоб без никаких больше разговоров. Забирай ты себе, царь-Миколашка, всю белую кость: генералов, начальников, офицеров-благородию со всеми их отличьями, со всеми чинами, крестами, наградными аполетами, с супругами благородными, с детями их белокостными. Господинов-помещиков со всем их богачеством, с одёжей шелкòвой и бархатной, с посудой серебряной позолоченной, с супругами ихними и с отродием.

Забирай себе купцов с товарами ихними, с казною несметною, и из банков пущай заберут всю казну свою. Забирай себе всех заводчиков и с казной, и с машинами, и со всем их заводским богачеством. А мне отдавай всю черную кость: мужиков, солдатов, фабричных, с немудрящей ихней шараборой. Только скот на племя оставь, поля травные да землю-родильницу для пахотьбы". Прочитал письмо Миколашка-царь, заплясал ногами в радости, зашлепал в ладошки в веселости и приказал своим генералам, офицерам и начальникам: „Сей-же-час отпишите тому Ленину на все полное согласие. И какой же он есть всем наукам обученный, слово тайное знающий, коль от всей казны несметной моей, от товаров купеческих, от припасов помещичьих отказывается, а забирает себе черную кость безо всякого способия. А на тую казну мы себе другую черну кость наймем, из тех нанятых в солдаты заберем, и будем жить опять в спокое да в богачестве". Набежали тут опять к царю спешно-спешно, с задышкою, многие люди ученые, обточили перья вострые, отписали тому Ленину царево согласие. А насчет надсмешки и не гукнули, чтоб не одумался, не пошел на них с тайным словом своим. И мало ли, долго ли, а в скорости наезжает тишком-тихонечком тут Ленин к своим солдатам, мужикам и фабричным. А царь с костью белою уж подальше отъехали. Глядят мужики, солдаты, фабричные, а приехал к ним простецкий хрестьянский человек и говорит им: „Товарищи, здраствуйте". Куда глаз хватил, всех за ручку подержал и объявил громким голосом: „Буду с вами я в одном положении, как есть мы теперь товарищи. Только вы меня слушайтесь, я всем наукам обученный и своих товарищев на худое не выучу". Солдаты по солдатьей своей выучке сейчас: „Точно так, товарищ Ленин, слушаюсь". Фабричные, городской народ грамотный, со сноровкою тож ему не прекословили. А мужики изобиделись, что в расчете просчитался он, зашумели, загалдели, задвигались: „За что, про что опустил из рук казну и богатство несметное? Разделил бы нам, мы бы в хозяйстве поправились". Засмеялся тут Ленин, головой качнул и сказал им в ответ такое слово: „Не галдите, не корите, забирайте землю-скот и хозяйствуйте. А там будет дело видное. Не хватило бы казны той про вас, как есть вас многие тысячи, а белой кости малые сотенки. А нащет того, чтобы всю белую кость совсем со света свести, то слово я знаю, еще неполное. Не докумекал маленечко. Но есть у меня другое, достоверное на всю черную кость по всёй земле. Как скажу его, нигде белая кость не найдет себе ни солдатов, ни работничков. Все под мою руку уйдут, а от их откажутся. И как

есть они не добытчики, а прожитчики, то им долго на белом свете не выстоять". И мало ли, долго ли, а в скорости, как сказал, и приключилось так. Прискакал верховой к Ленину, привез ему известие от Миколашки-царя. И отписывает в том известии Миколашка-царь: „Так и так, Ленин, надул ты меня. Взял себе всю черную кость, а мне отдал не добытчиков, а прожитчиков. Генералы мои, офицеры-благородия, как кони стоялые без солдатов нашинских. Только пьют, едят да жир нагуливают. Господины-помещики все припасы свои уж покончивают, одежу из сундуков донашивают, без опаски изорвали всю, позамазали. Проторговались купцы мои, без мужиков некому им товар свой лежалый сбывать. Заводчики мои все машины посбивали, перепортили. Как нету сноровки у них, по-книжному и знают, а к винту не подладят. А чужеземный чернокостный народ на службу к нам не наймается, под твою руку прёт, на твое слово тайное. И как дошло нам дело, что хоть ложись да помирай, то идут на тебя войной генералы мои, офицеры-благородия, чтоб отбить нам назад к себе всю черную кость". И с того теперь война пошла промеж белой костью да черною. Только долго белой не выстоять, как привыкли генералы, офицеры-благородие команду на солдата кричать, войски туды-сюды передвигывать, а сами в войне отбиваться непривычные, как есть в их жила тонкая. И недолго им на белом свете выстоять"...

Погасла лампа. Храпели мужики. Бормотала спросонок баба. А худощавая стареющая хуторянка, сидя на тулупе своем, на полу, истово, напевно, как молитву, выговаривала смешные и трогательные слова своей сказки. У ней были добавления и отступления, которых я не помню. Не помню точных слов, но характер слов, содержание, ритм речи ее я помню. Как сейчас слышу. Оттого смело воспроизвожу. Это—первая мужицкая легенда о человеке с именем Ленин в бедном легендами уезде, где сгасала яркость многих имен. И для меня она—убедительное свидетельство: дана была Ленину вера тугой мужицкой души. Только о том мужик рассказывает сказы, что вошло в его сердце и память в живых образах, чему он поверил. Оттого в печальный час я не боюсь смешных слов простой его сказки. Этими сказками входил Ленин в душу к мужику. И я жалею, что не могу сейчас восстановить еще один рассказ, башкирина-подводчика. Надо тщательно вспомнить сочетанья его слов, детали содержания и ритм рассказа. А этого сейчас мне не сделать. Он говорил о красном тюре (начальник, господин) Ленине, который башкир от русской жестокости и хитрости защищал. Разноплеменный состав населения часто служил

причиной долгих распрей, иногда и кровопролитных схваток в уезде. Равно невежественные были, равно и жестоки. Долгая их тяжба еще не кончена. Окончится только тогда, когда придет знание, а с ним уважение к разноверцу и разнокровцу. В этом уезде и посейчас для большинства русских крестьян киргизин, башкирин — низшее поганое существо. Они выпьют из одной чашки с заразным, но после здорового башкирина отодвинут брезгливо посуду. А в Ленина верили и те и другие. Я во вступлении подробно выписала уезд. Для того, чтобы стало понятно: какая яростная, какая жестокая была там схватка из-за утвержденья Октября. Некоторые села и поселки по пять, по семь раз переходили от белых к красным. Многие хутора сметены с лица земли. Выжжены, обеднели станицы, затоптаны, незасеяны богатые земли старообрядцев. Умирает полуразрушенный уездный город. Этим летом я была в нем и в селах уезда. В городе площади и редкие тротуары поросли травой. Разрушено не меньше трети домов. Разбиты школы. У города нет средств ремонтировать их. В нем не ожила торговля. Торгует случайным товаром одна кооперативная лавка. От многих башкирских зимовок одно пепелище. Грозная ступня войны четко отпечаталась на том уезде. Нищенствуют учителя. В селах мужики позакрывали школы. Кроме войны притоптал уезд еще голод. Такой же, как в Поволжьи, и в тот же год. Вот в этом уезде, где столкнулось столько групп и мировоззрений, деревянный глухой мещанский город выдержал двухмесячную казачью осаду. При сдаче города, поддержка населения помогла красноармейцам пробиться на соединение с главными силами армии. Этот невероятный уезд, приявший всю страсть Октября, сохранил нерушимой веру в Ленина. Легендами она прочно утвердилась в нем, и тяжкие испытания не задушили ее. О Ленине расспрашивали, как о своем кровном родственнике. И подробно, будто каждому, побывавшему в Москве, легко знать ежедневную Ленина жизнь.

— Ну, как он там? Где живет?

— А как он нащет хлебного займу?

— Как Ленин теперь? Слышно, выздоравливает. Пищу ему всякую разрешается или нет? Что он говорит? Нащет деревни что высказывает?

— А семейство его вы видали?

— Вот надо бы Ленину до сведения довести. Этот правильно рассудит.

И простое любопытство могло продиктовать эти вопросы. Простая хитрость научить. Но я годы жила в деревне. Знаю мужицкие расспросы себе на уме. Знаю рабью мужичью льсти-

вость. И знаю тон, в котором правдив искренний „родственный" интерес. Этот тон у мужика часто не услышишь. Туго запертая душа—его защитная броня. И он редко впускает в нее большую веру. Редко отмыкает душу. Для Ленина отомкнул. Даже в ненависти богатых крестьян был фанатизм веры в неуступчивость Ленина, в его хозяйственную стяжательность для бедноты. Кряжистая стойкость и хозяйственная сметка в крестьянском ощущении—величайшие добродетели. Мужик награждает ими только того, в кого верит. Один богатый мужик, ругательски ругая коммунистов и местную власть, неожиданно наивно заключил:

— Если бы на каждую волость по Ленину!.. А то у нас—один... культпросвет. Дак чего же тут?

Этот сбитый из населения разных губерний сказ мне кажется малым отображением всей мужицкой России. Его сказы о Ленине—подлинное свидетельство того, что „толщу бытия" российского прокалило это имя. Знаю я, что будут случаи, когда жена деревенского коммуниста закажет в церкви по Ленине тайную панихиду, какой-нибудь старик, отомкнувший для Ленина душу, поставит свечку с молитвой об упокоении большевика Ленина. Но это смешение двух вер тоже подтвердит, что неисповедимыми путями принял в душу Ленина даже старозаветный русский мужик. Принял, верит ему, примет и его заветы. Идут о нем и новые рассказы. Старая крестьянка, что недавно в Москве вызвала у целого съезда величайшее душевное волнение простыми словами о том, как не знали в деревне они, „какая есть Москва и какая есть в ней театра", теперь узнала Москву, обсуждала государственные вопросы и передала Ленину от деревни „последнее целование". Она в деревне по-новому о Ленине расскажет. И по неверным проселочным дорогам, и по удобному тракту пойдет не один ее рассказ. И тот, чья жизнь даже в передаче историка будет звучать, как легенда, художественно-ярко оживет для потомков в мужицком устном предании, где правда переплетется со сказочным вымыслом, и все вместе будет самой убедительной правдой...

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем.

(Ответ профессору И. Павлову.)

Н. Бухарин.

Академик И. Павлов — один из крупнейших русских ученых. Он имеет мировое имя. Он создал целое направление, целую школу в области физиологии. Крупнейшие его заслуги перед человечеством несомненны. В особенности они несомненны для нас, марксистов. Ибо об'ективно выходит так, что проф. Павлов, который политически, повидимому, страшно далек от рабочего класса, работает, в первую очередь, на рабочий класс. Его учение об условных рефлексах целиком льет воду на мельницу материализма[1]. И исходные методологические пути и результаты исследований проф. Павлова есть орудие из железного инвентаря материалистической идеологии. А материализм сейчас, в нашу эпоху, в общем и целом, есть мировоззрение пролетариата. Здесь не место об'яснять, почему это произошло. Мы констатируем лишь этот факт. В то время как буржуазия, преисполненная скепсиса, все больше подымает свои очи к небу и философский идеализм расплывается, подобно масляному пятну, по всей поверхности буржуазного сознания, аналогичный процесс переживает и вся буржуазная наука в целом. Мистицизм и здесь свивает свое прочное гнездо. Неовитализм, критика дарвинизма, телеология, абсолютный релятивизм, чистый

---

[1] Автору этих строк, излагавшему диалектику материализма с точки зрения равновесия, в особенности приятно отметить следующие положения проф. И. Павлова: „Что собственно есть факт приспособления? — Ничего... кроме точной связи элементов сложной системы между собой и всего их комплекса с окружающей обстановкой. Но это, ведь, совершенно то же самое, что можно видеть в любом мертвом теле. Возьмем сложное химическое тело. Это тело может сущесвовать как таковое лишь благодаря уравновешиванию отдельных атомов и групп их между собою и всего их комплекса с окружающими условиями. Совершенно так же грандиозная сложность высших, как и низших организмов остается существовать как целое только до тех пор, пока все ее составляющее тонко и точно связано, уравновешено между собою и с окружающими условиями. Анализ уравновешения системы и составляет первейшую задачу и цель физиологического исследования“. Акад. И. Павлов. „20-летний опыт“ и т. д., стр. 14—15. См. нашу „Теорию ист. материализма.“

логизм и всякие прочие «изм... ...мого скверного пошиба быстро распространяются и в среде естественни... Если у нас «ученый батюшка» отец Флоренский пытался доказат... бытие божие при помощи математических формул и астрономических вы...ислений, то подобные же явления носят характер настоящей эпидемии в ...ападно-европейской науке. Она, эта наука, чрезвычайно приблизилась тепер... к позиции какого-нибудь Мережковского, который копается в ас...ирологии, чтобы вывести «большие циклы» апокалиптического календаря, предсказывать гибель мира, и вместе с г. Бердяевым иметь,—как выражался Ницше,—«маленькое удовольствийце на день и маленькое удовольствийце на ночь», квалифицируя большевистскую революцию как происшествие «Зверя», а советский режим, как «сатанократию». Мистицизм или, в лучшем случае, старческий скепсис с постоянным рефреном насчет бренности всего земного,—таковы основные черты современной западно-европейской научной мысли. Вполне понятно поэтому то уважение, которое в нашей марксистской среде имеет и будет иметь всякий ученый, который мужественно выступает против мутного мистического потока. Повторяем: такой ученый, независимо от его суб'ективных намерений, работает для того же дела, для которого работаем и мы, революционные марксисты. А именно к таким ученым и принадлежит проф. Павлов.

Однако и на солнце есть пятна. И эти пятна принимают весьма и весьма почтенную величину, как только такие специалисты естественных наук, как акад. Павлов, берутся за дело, которого они — пусть простит меня автор теории условных рефлексов — просто не знают. А как раз это и произошло с акад. Павловым, взявшимся в своей вводной лекции за критику марксизма, нашей партии в частности и в особенности — за критику пишущего эти строки.

Проф. Павлов протестует против разрушения культурных и научных ценностей невежественными коммунистами. «Не берись за то, чего не понимаешь», — вот основная «мораль» нашего критика. Мы об этом будем говорить ниже. Но все же мы уже сейчас заметим, что и общественная наука есть наука. Ее нужно знать. А вот этого-то знания и нет у проф. Павлова. Оттого он и впадает в такие наивности касательно общественных вопросов, каким, напр., была бы в естественных науках защита Линнеевской точки зрения или какой-нибудь флогистонной теории.

1. Философия научной свободы и теория ак. Павлова.

Самое общее соображение, которое проф. Павлов выдвигает против нас, есть соображение о догматическом характере марксизма. «Догматизм марксизма или коммунистической партии... есть чистый догматизм, потому что они (коммунисты. *Н. Б.*) решили, что это — истина; они больше ничего знать не хотят, (они. *Н. Б.*) постоянно бьют в одну точку» [1]).

[1]) Перед нами стенограмма лекции проф. Павлова, повидимому, неисправленная. Поэтому мы позволяем себе вставлять в скобках стилистически необходимые слова, которые, само собой разумеется, ни в коей мере не нарушают смысла.

Между тем «наука и догматизм — совершенно несовместимая вещь. Наука и свободная критика — вот синонимы; а догматизм — это не выходит... Сколько было крепких истин? Возьмите, напр., неделимость атома. И вот прошли года, и ничего от этого не осталось. И наука вся переполнена этими примерами».

Отсюда проф. Павлов, обращаясь к слушателям, дает им и соответствующую директиву:

«И если вы, — говорит он, — к науке будете относиться как следует, если вы с ней познакомитесь основательно, тогда, несмотря на то, что вы — коммунисты, «рабфаки» и т. д., тем не менее, вы признаете, что марксизм и коммунизм, это вовсе не есть абсолютная истина, это — одна из теорий, в которой, может быть, есть часть правды, а может быть, и нет правды. И вы на всю жизнь посмотрите со свободной точки зрения, а не с такой закабаленной».

Этим призывом к свободе и заканчивается «общественная» лекция физиолога Павлова, который не хочет, как он выражается, быть «ученым сухарем».

Рассмотрим это, наиболее абстрактное, почти «философское», положение академика Павлова.

Прежде всего, что́ значит смотреть со «свободной», а не с «закабаленной» точки зрения? Мы не должны наивничать. Мы знаем, какие фокус-покусы проделывают со с л о в о м «свобода» в области политики. Но ведь и в научной и даже философской области имеется такая же игра. Ведь протестуют же г.г. Бердяевы, Мережковские и проч. против «ц е п е й разума». Ведь всем известен тот факт, что самые разнообразные мистические школы рассматривают з а к о н ы п р и р о д ы как кабалу, а рациональное познание, в противоположность интуиции, как работу каторжника, от которого несет пóтом: ведь договорились же некоторые из них (напр., Булгаков в «Философии хозяйства») до того, что весь эмпирически данный мир представляется лишь «греховной скорлупой мира», где свобода невозможна по самой, этому греховному миру имманентной, логике вещей? Что же, разделяет э т о т взгляд на «свободу» проф. Павлов?

Конечно, нет. Это противоречило бы сущности его естественно-научных воззрений. А между тем, он настолько не продумал своих положений о «свободной точке зрения», что из них прямо вытекают «иррациональные» выводы.

Ибо: что́ значит у Павлова «свободная точка зрения»? Очевидно, о т с у т с т в и е точки зрения. В с я к а я точка зрения есть «связывающее» начало. Раз вы имеете определенную точку зрения, вас всегда могут обвинить, что вы — ее «р а б», что вы у нее «в плену», что вы — «закабалены» и проч. и проч.

Но самое забавное во всей этой абракадабре то, что полного отсутствия точки зрения н е м о ж е т б ы т ь. Что́ значит, напр., «свободная точка зрения» в механике? Последнее оперирует целым рядом понятий, которые вы volens-nolens должны употреблять. В каком смысле вы их употребляете? Вот Э. М а х произвел критический анализ этих понятий. Прав он или не-

прав? Любая наука говорит о «законах». Но что же, эти законы есть об'ективная связь явлений или продукт нашего упорядочивающего разума, который на манер хозяина, по Канту, устанавливает из хаоса «правовое государство» космоса? Любое понятие любой науки можно критически взять под лупу. Как же должен поступать «настоящий» ученый по Павлову? Не думать ни о чем этом? Но это тоже будет «точка зрения», только самая худшая из всех возможных: это будет точка зрения обывателя в науке. Это будет худший вид догматизма, ибо он на веру принимает все установившиеся понятия и оперирует ими с невинным видом дикаря.

Итак, точка зрения, и при том определенная точка зрения, есть вещь, необходимая для всякого ученого, который не хочет ходить в идеологическом халате и стоптанных туфлях!

Спрашивается теперь, что же должен делать такой ученый, который стал на определенную точку зрения, смеет «свое суждение иметь», считает это «суждение» наиболее правильным, наилучшим из всех имеющихся решений задачи? Что должен делать в целях роста науки человек, который по безбрежному океану познания плавает не «без руля и без ветрил», а руководствуется выстраданной, проверенной, прошедшей через критическое сравнение с другими теориями, точкой зрения?

Он будет эту точку зрения защищать, бороться за нее. Ведь и наука знает своих борцов. Такие люди и двигали дело науки вперед; они были тем полезным общественным бродилом, которое обеспечивало рост научного познания, а вовсе не обыватели, пугающиеся определенной точки зрения. Последнее свойственно компиляторам, эклектикам par excellence.

И нам совершенно ясно, что в своих рассуждениях о «закабаленности» и «свободе» проф. Павлов совершенно зря клевещет на самого себя. В самом деле. Возьмите его сборник: «Двадцатилетний опыт об'ективного изучения высшей нервной деятельности животных». По одной этой книге можно видеть, что ее автор «с превеликим упорством» «бьет в одну точку». Но именно в этом-то и состоит достоинство работ проф. Павлова, что он в эту «точку» «бьет». Разве не так, наш почтенный оппонент?

С каким усердием акад. Павлов защищает эту точку зрения даже в лабораторных исследованиях, мы видим из заявлений самого автора теории условных рефлексов. Он, между прочим, пишет: ««Мы совершенно запрещали себе (в лаборатории был об'явлен даже штраф) употреблять такие психологические выражения, как: «собака догадалась», «захотела», «пожелала» и т. д.»»[1]).

Марксисты, «коммунисты» и «рабфаки», правда, еще не вводили штрафа за, скажем, употребление антропоморфических, телеологических или идеалистических выражений. Но они, несомненно, оправдали бы даже ту лабораторную «диктатуру рубля», которую ради науки устанавливали павловцы при своих экспериментах.

---

[1]) Акад. Павлов, „Физиология и психология при изучении высшей нервной деятельности животных", указ. сборник, стр. 195.

Как же, однако, все это кажется с выпадами самого профессора против «закабаленной» точки зрения? Ведь малому ребенку ясно, что научная практика самого Павлова стоит в самом резком, самом кричащем противоречии с его положениями о «свободе» и «кабале».

Что сказал бы акад. Павлов, если бы его критик, став в благородную позу защитника и рыцаря прекрасной дамы Свободы, разразился бы по адресу знаменитого ученого примерно следующей тирадой:

«Догматизм теории условных рефлексов или сторонников проф. Павлова... есть чистый догматизм, потому что они решили, что у них — истина; они больше ничего знать не хотят (совсем, напр., не слушают виталистов), постоянно бьют в одну точку и надоели со своими слюнными железами до смерти. Между тем наука и догматизм — совершенно несовместимая вещь... Сколько было крепких истин? Возьмите, напр., неделимость атома» и т. д. и т. д.

И что сказал бы проф. Павлов, если бы его критик обратился к нему и его ученикам уже с непосредственным увещеванием, примерно, в таком стиле:

«И если вы к науке будете относиться как следует, если вы познакомитесь с нею основательно, тогда, несмотря на то, что вы—сторонники теории условных рефлексов, «павловцы» и т. д., тем не менее признаете, что Павловская теория, теория условных рефлексов, это вовсе не есть абсолютная истина, это—одна из теорий, в которой, может быть, есть частица правды, а может быть, и нет правды. И вы на всю жизнь посмотрите со свободной точки зрения, а не с такой закабаленной, и уж, конечно, никогда не будете штрафовать своих сторонников за вольные выражения, ибо ведь сказал поэт:

Над вольной мыслью богу неугодны
Насилие и гнет.

Мы не сомневаемся, что проф. Павлов с негодованием прогнал бы такого болтуна, даже если бы этот болтун имел большую бороду. Он сказал бы ему: «Не мешайте нам работать. Бросьте свою фразистую болтовню».

И он был бы совершенно прав. Очень опасным иногда бывает обывательское, некритическое употребление слов. Незабвенный Козьма Прутков писал: «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе». Но «колбасам» подобны не только многие люди, но и многие словесные оболочки. Мы готовы бороться всеми силами за свободу общественных низов, за свободу от капитала, за свободу развития рационального начала над стихийным и проч. Но мы отнюдь не сторонники освобождения капитала от цепей пролетариата; мы не сторонники освобождения от цепей разума; мы не сторонники свободы от определенной точки зрения и т. д. и т. д.

Вот это нужно понять проф. Павлову. Ему нужно свести концы с концами в своих же собственных рассуждениях. Ему нужно сделать общественно-философские выводы из своих же материалистических предпосылок. Ему нужно разделаться с остатками словесного фетишизма, который еще тяготеет над ним, как только он заглядывает в область обществоведения.

Ему нужно понять то, что понял много лет тому назад даже либеральный Тургенев.

В «Стихотворении в прозе» есть один замечательный отрывок: «Житейское правило»:

«— Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику,—говорил мне один старый пройдоха, — то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте... и упрекайте!

Во-первых, — это заставит других думать, что у вас этого порока нет,

Во-вторых, — негодование ваше может даже быть искренним... Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.

Если вы, например, ренегат,—упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!

Если вы сами лакей в душе,—говорите ему с укоризной, что он—лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! — заметил я.

— И это можно, — подхватил пройдоха».

2. „Беспристрастие науки", или проф. Павлов против проф. Павлова.

Проф. Павлов, критикуя мою брошюру «Пролетарская революция и культура», ссылается на свою об'ективность.

«Надо сказать, господа,—говорит он,—что я к делу отнесся чрезвычайно добросовестно... Мой обычай, когда я чем (нибудь. *Н. Б.)* интересуюсь, читать не один раз книгу, а... несколько раз... Я эту маленькую брошюрочку прочел целых три раза, прочел (с. *Н. Б.)* чрезвычайно напряженным вниманием и, как мне кажется,.. с возможным для меня беспристрастием. Вы понимаете, что я всю свою жизнь, стало быть, полстолетия, провел в лаборатории, в экспериментальной лаборатории. Это что значит?—Что я каждый день проверял мое беспристрастие, мои мысли. Это — во-первых... Во-вторых, (я говорю о. *Н. Б.)* моем беспристрастии, потому что всегда действительность должна была решить — прав ли я или не прав. Действительность никак не обманешь».

Уже из этого подхода видно, как наивна постановка вопроса проф. Павловым. Мейделеев был знаменитым химиком, но вряд ли кто-либо решится утверждать, что он был «беспристрастен» по отношению к самодержавию и не имел слабости к протекционизму в сфере экономической политики. Ньютон был гениальным ученым, но вряд ли он отличался беспристрастием по отношению к Апокалипсису. Вильям Крукс был признанным астрофизиком и выдающимся экспериментатором, но всем известна была его слабость по отношению к спиритизму. Разве эту «действительность» можно обмануть?

Да и проф. Павлов противоречит самому себе, когда говорит не о ком ином, как о проф. Павлове. Ибо вот как он, по его же собственному утверждению, познает общественную действительность:

«Моя жизнь, — говорит он, — проходит чрезвычайно просто: я знаю свою квартиру, свою лабораторию, абсолютно никого и ничего не вижу, следовательно, жизни в целом у меня нет. По теперешним газетам понятие о жизни едва ли можно (составить. *Н. Б.*): они слишком пристрастны, и я их не читаю».

И проф. Павлов поэтому читает наши книжки, а затем их «беспристрастно» критикует.

Посмотрим «в корень». Проф. Павлов «теперешних» газет не читает, ибо они пристрастны. Но раньше проф. Павлов газеты (не «теперешние»), конечно, читал. Следовательно, он их читал потому, что они были, в общем, беспристрастны или — скажем лучше и осторожнее — гораздо менее пристрастны, чем «теперешние». Это вытекает с неумолимой логикой из заявления проф. Павлова о методах его ознакомления с общественной жизнью.

Мы спросим теперь проф. Павлова: неужели прежние газеты, которые во время войны писали о ее целях, были беспристрастны? Неужели те Гауризанкары лжи о свободе, цивилизации, самоопределении малых наций, о кресте св. Софии и проч. и проч., которыми были наполнены «прежние газеты», представляются Павлову даже теперь, даже в свете после Версальского «мира» — святой и беспристрастной истиной? Или это — такая действительность, которую можно обмануть?

Быть может, однако, газеты после февральской революции были беспристрастны? Тогда, когда они Ленина об'являли германским шпионом. Тогда, когда они воспевали Корнилова?

Ведь нужно же договориться проф. Павлову до конца, чтобы быть честным с самим собой, чтобы осознать действительность. Он «беспристрастно» не видит «пристрастия» буржуазных газет к буржуазии, но зато ему в высшей степени претит «пристрастие» «теперешних» газет к рабочему классу. Так стоит в действительности вопрос, а не как-нибудь иначе.

Но если у проф. Павлова есть этакое «беспристрастие» по отношению к нашим газетам, то у него должно быть примерно такое же отношение и к нашим книжкам или брошюрам. Только непоследовательностью мысли можно об'яснить себе «методологию» усилий проф. Павлова подойти к решению общественных проблем, когда он не читает газет, но читает доклады тех людей, которые этими газетами руководят. Ясно, что «ложная апперцепция» здесь заранее дана.

Характерно то, что иногда все же проф. Павлов подходит к правильной постановке вопроса, но только тогда, когда этот вопрос берется в совершенно другом логическом контексте. Он, например, пугает «коммунистов и рабфаков» ужасами гражданской войны в Европе и выдвигает при этом ссылку на конфигурацию общественных сил, ссылку, которая, сама по себе, в высшей степени правильна.

Он пишет:

«В случае гражданской войны это (военная мобилизация сторон. *Н. Б.*) пройдет через всю нацию. Если бы там оказалось больше на стороне рево-

люции материальной массы, то сколько бы оказалось ума, знаний и т. д. на другой стороне?»

Много ума и много знаний. Мы в этом согласны с акад. Павловым. Но неужели он не видит, что этим утверждением он вдребезги разбивает свои ссылки на беспристрастие людей науки? Почему же,—спросим мы акад. Павлова,—почему же ваши ученые, привыкшие к экспериментам, к проверке действительности и проч., почему они обнаруживают такое удивительное «беспристрастие», что становятся **против** материальной массы? Нельзя ли здесь найти некоторую **об'ективную закономерность** такого «внешнего поведения» людей «ума, знаний и т. д.»? Почему это «Bildung und Besitz» становятся по одной стороне баррикады? Или, быть может, от господа бога так положено, что люди ума, знания и прочего обязательно должны быть настолько «беспристрастны», чтобы **обязательно** выступать против «материальной массы»? Но тогда чем же об'яснить «пристрастие» таких людей, как Тимирязев или Эйнштейн, к этой самой «массе»? Или чем тогда об'яснить тот поворот в головах интеллигенции, который происходит у нас, а отчасти и в Германии? И что же тогда остается от «беспристрастного» поведения людей науки вообще?

На все эти вопросы проф. Павлов не сможет ответить, если он будет стоять формально—на точке зрения формального же беспристрастия, а по существу—на точке зрения охраны буржуазного режима, который нуждается в формальном идеологическом прикрытии, т.-е. на точке зрения, которая не может быть беспристрастна по **самой своей природе**.

После всего этого проф. Павлов, подходя к решению великой социально-экономической проблемы современности, благодушно поливает человечество розовой водицей успокоения. Прямо и непосредственно после совершенно правильного указания на то, **где** будут во время гражданской войны стоять силы «ума и знания», наш ученый с наивным (или наивничающим?) видом приходит к следующему «выводу»:

«Лично я,—заявляет профессор,—по своей профессии ученого, думаю иначе (чем коммунисты. *Н. Б.*)... Выход все-таки один, выход все-таки в науке, и на нее я полагаюсь и думаю, что при помощи ее человечество разберется не только в своем состязании с природой, но и в состязании со своей собственной натурой... Так что для меня все-таки выход в развитии и в проникновении в человеческую массу научных данных. Они остановят человечество перед этим страшным видом взаимного истребления, на пролетарском или капиталистическом основании, — все равно».

Относительно знака равенства между империалистской и гражданской войной и пр. речь будет итти ниже. Здесь нам интересно вот что. Конечно, распространяться «о пользе наук и искусств» — в высшей степени наивно. Но, — спросим мы проф. Павлова, — **какие** же научные данные, из **какой** научной области, «исправят» «человечество»? Нужны ли такие данные, чтобы понять, что дырка в черепе от свинцовой пули не способствует здоровью носителя этого черепа? Что же даст в **этом** смысле, в смысле избавления от империалистских войн, от эксплоатации, от колониального мародерства

и проч. наука? Возьмем, напр., химию. Павлов признает, что люди науки против «материальной массы». Значит, они эту химию и повернут соответствующим образом. Биологи и физиологи помогут (и помогают) химикам: они открывают наиболее чувствительные места у организмов и дают директивы при выборе ядовитых газов. Или проф. Павлов думает, что математика спасет человечество? Или, быть может, общественные науки? Но здесь—да будет это известно проф. Павлову—существуют две диаметрально противоположных системы: одна из них—воинствующий марксизм, который, рассматриваемый прагматически, есть не что иное, как орудие революции; другая—буржуазные общественные науки, которые в целом являются не чем иным, как идеологической охраной частной собственности и капиталистического режима. Мы не в состоянии подробно доказывать это положение, в достаточной мере известное каждому «коммунисту и рабфаку», но, к сожалению, мало известное многим ученым профессорам. Мы ограничимся только несколькими, наудáчу выбранными, примерами.

Вот перед нами лежит новое, очень «солидное» исследование известного австрийского экономиста Ludwig'a Mises'a: «Die Gemeinwirtschaft». Это произведение кончается на 503 странице таким выводом: «Является ли общество добром или злом (ein Gut oder ein Uebel) — об этом можно судить поразному. Но тот, кто предпочитает жизнь смерти, блаженство—страданию, благосостояние — нужде, тот должен принять и утверждать (bejahen) общество. А кто признаёт общество и желает его развития, тот должен также быть за частную собственность (Sondereigentum) на средства производства без всяких ограничений и без всяких оговорок (ohne alle Einschränkungen und Vorbehalte)» [1]).

Вот перед нами «углубленная» буржуазная общественная философия, представленная нашему вниманию г. Бердяевым в его последнем труде: «Философия неравенства» [2]).

Здесь мы читаем:

«Собственность, по природе своей, есть начало духовное, а не материальное... Начало собственности связано с бессмертием человеческого лица» (стр. 215).

«Аристократия есть порода, имеющая онтологическую основу, обладающая собственными, незаимствованными чертами. Аристократия сотворена Богом и от Бога получила свои качества» (стр. 105).

«Существование государства (разумеется, не какой-нибудь там Советской власти, а «всамделишнего», т.-е., в первую очередь, буржуазного государства. *Н. Б.)* в мире имеет положительный религиозный смысл и оправдание. Власть государства имеет божественный онтологический источник» (стр. 64).

«Творчество — аристократично» (25).

«Социальная революция и не может не напоминать грабежа и разбоя» (25).

[1]) L. Mises, Die Gemeinwirtschaft, Iena, Gustav Fischer, 1922, S. 503.

[2]) Николай Бердяев, Философия неравенства, Берлин, К-ство „Обелиск"

«Безумны те из вас, которые думают достигнуть социального рая и блаженства... оставаясь в физическом теле, оставаясь подданными царства материальной природы и ее законов» (203).

«Потребительски-распределительный хозяйственный идеал социализма по существу не духовен и антирелигиозен. Это — рабий идеал. Совершенное питание с религиозной точки зрения — евхаристическое питание. В евхаристическом питании человек соединяется с космосом во Христе и через Христа. Тогда потребление и творчество совпадают, человек впитывает в себя космическую жизнь и из себя выделяет творческую энергию в космическую жизнь» (212).

Г-н Н. Бердяев — не первый встречный шарлатан, а «признанный» русский общественник и философ. Что же, прикажете эту «науку» считать за спасительницу мира? Эту чепуху, которую «выделяет» «в космическую жизнь» г. Николай Бердяев?

Вот вам один из русских экономистов, г. Бруцкус[1]). Он—человек более трезвый, чем г. Н. Бердяев. Вряд ли он склонен к наиболее совершенному «евхаристическому» питанию. Общественные столовые «Пресвятыя Троицы» и «Софии — премудрости Божией» не особенно привлекательны для людей «позитивного» мышления. Да и «выделяет» г-н Бруцкус не столько в космическую жизнь, сколько в среду белой эмиграции, куда он был, по всем правилам современной биологии, «пересажен» Советской властью, и где он отлично «прижился». Так вот сей ученый поучает:

«...время требует более решительного отказа от догмы марксизма. Воспитанные в мечтах о социальном перевороте, рабочие массы могут немедленно приступить к разрушению существующего общественного строя. Социалистам остается или благословить эти порывы масс и стать под знамя III Интернационала, или с полной решительностью отречься от марксистских идей Zusammenbruch'а и следующего за ним государства будущего. Они обязаны в последнем случае открыто сказать массам, что строй частной собственности и частной инициативы... нельзя разрушать, ибо на нем зиждется европейская цивилизация, ... ибо социалистический строй есть мираж, в погоне за которым можно прийти не в обетованную землю, а в долину смерти».

Г-н Бруцкус мудро умалчивает о том, что «строй частной собственности» неизбежно приводит к империалистским войнам, которые являются такой же интегральной частью современного капитализма, как проституция, сифилис, религия и водка. Гораздо развязнее держит себя другой обществовед, представитель русской исторической науки, профессор Р. Ю. Виппер. В своей последней работе: «Круговорот истории», проф. Виппер ставит все точки над «i».

«Война, — пишет он, — не уродливый нарост культуры, а ее органическое свойство, ее могущественный фактор».

«Война нужна для того, чтобы дать выход героическому началу в человеке, чтобы найти применение его энергии, духу изобретательности»...

---

[1]) См. Б. Д. Бруцкус, Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта, Берлин, Изд. Tillemis, Предисловие.

Само собою разумеется, что, приглашая людей, ради усовершенствования духа изобретательности, «мало-мало резать друг друга», наш энергичный, изобретательный, героический профессор тут же заявляет, что резать людей можно лишь — выражаясь языком проф. Павлова — «на буржуазном основании», ибо «в гражданской войне честность и порядочность исчезают».

Все это г-н Виппер «придумал» только после революции. Его блестящие прежние исторические работы говорили совсем другое:

Были когда-то и мы рысаками.

Но теперь «nous avons changé tout cela».

Итог: что же, эта наука нас спасет?

Евхаристическое питание Бердяева?

Частная собственность Брункуса (разумеется, беспристрастного)?

Война Виппера?

Или тысячи этаких же «выделений», которыми полна общественная наука буржуазии,—наука, которая «зады твердит и лжет за двух» с усердием, поистине неприличным?

Разве можно так наивничать перед лицом потрясающих грандиозных событий современности? Разве можно не видеть, что из этого Назарета дует гнилой ветер смерти, тлена, разложения?

Беспристрастие науки в том смысле, какой придает ему акад. Павлов, есть миф. Мифотворчество же стоит в коренном противоречии с материалистической основой Павловского учения. И академику Павлову нужно здесь выбирать: или оставаться в сетях противоречий, или уходить от фактического пристрастия к тому строю частной собственности, который является альфой и омегой для «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови».

Не мифотворчество нужно нашему времени, а бесстрашное и мужественное понимание действительности. Не сладенькое самоутешение и не страусовы повадки, а «физическая сила мысли» и стальная воля, необходимые для того, чтобы победоносно пройти, хотя бы с сотнями рубцов на теле—через историческую полосу мучительного и, вместе с тем, великого времени, в которое мы живем.

3. О шансах мировой революции, или Павловский тупик номер первый.

Для того, чтобы правильно ориентироваться в фактах современности, нужно, прежде всего, понять всю грандиозность исторического перелома, который переживается человечеством. Только тогда можно будет выбирать и надлежащие масштабы для оценки тех или иных исторических событий нашего времени. Обычная ошибка очень крупных людей (в первую голову ученых) «старого мира» состоит (если мы говорим о логической стороне дела; логика же опирается на психологию, в свою очередь являющуюся функцией социального бытия) в том, что при оценке катастрофы всего старого уклада тщетно тщатся приложить масштабы, мерки, критерии, взятые,

из привычной, сросшейся с мозгами этих людей, практики мирного, спокойного, так называемого «нормального» капиталистического бытия. Это все равно, что Гулливеру натягивать штанишки младенца-лилипута или измерять аршинами расстояние от земли до созвездия Ориона. Гулливеру нужны гулливеровские штаны, а для измерения межпланетных пространств употребляется, как известно, такая мера, как световой год. Но то же mutatis mutandis мы должны иметь в виду и для сферы общественных наук: нужно знать, что в нашу эпоху необходимо выбирать критерии не совсем обычного или, вернее, совсем не обычного типа.

Предпослав дальнейшему изложению это предварительное замечание, мы переходим к анализу «опровержений», которыми академик Павлов «опрокидывает» наше учение о революции.

«В этой книжке, — говорит ак. Павлов про брошюру пишущего эти строки, — прежде всего остановил мое внимание тот же пункт, который поразил меня в прошлом году в другой книге, в «Азбуке коммунизма». Это именно категорически высказываемое предположение, что пролетарская революция или коммунистическая революция может победить только как мировая революция, т. е. в мировом масштабе».

«Вот моя мысль остановилась на этом пункте в первую голову. Но какие есть доказательства, что такая революция обобщится, что она действительно сделается мировой?.. И вот, сколько я ни роюсь в впечатлениях от жизни... я не вижу того, что бы указывало на в о з м о ж н о с т ь м и р о в о й р е в о л ю ц и и».

«Лидеры нашей правящей партии верят в то, что мировая революция будет, но я хочу спросить: до каких же пор они будут верить? Ведь, н у ж н о п о л о ж и т ь с р о к. Можно верить всю жизнь и умереть с этой верой».

«Должны быть о с я з а т е л ь н ы е п р и з н а к и, ч т о э т о и м е е т ш а н с ы быть, а где эти признаки?»

Профессор Павлов переходит далее к анализу об'ективного положения вещей со своей «беспристрастной» точки зрения. Мы приведем сперва результаты этого анализа, по возможности текстуально.

«Возьмите крупнейшие державы, — говорит наш оппонент, — которые в своих руках держат судьбы наций, как Франция, Англия, Америка: там никаких признаков нет, т и ш ь д а г л а д ь... А между тем они сейчас в руках своих держат мир, о т н и х в с е з а в и с и т, о н и — с о х р а н и в ш а я с я с и л а.

Где идут беспорядки, где п о х о ж е на революционный взрыв, — это в п о б е ж д е н н ы х с т р а н а х, в Г е р м а н и и прежде всего, в П о л ь ш е (тут проф. Павлов делает промашку, ибо Польша вовсе не побежденная страна. Но этот lapsus можно извинить. *Н. Б.*). Почему? Именно потому, что они — п о б е ж д е н н ы е с т р а н ы. Германия находится в страшно трудном положении, п о т о м у ч т о о н а н а ч а л а в о й н у, воевала с целым светом, и т е п е р ь н у ж н о р а с п л а ч и в а т ь с я с о в с е м с в е т о м. Откуда взять такие ресурсы? По иностранной прессе не поймешь (а по русской, может, и поймешь, да Вы ее не читаете. *Н. Б.*), не то она хочет

платить, не то не может платить контрибуцию, как полагается побежденной стране. Но это ничего общего с революцией не имеет... Где те элементы, которые могут сделать революцию? Буржуазия не за революцию (еще бы! *Н. Б.*). Наиболее организованная часть (рабочих, *Н. Б.*), социал-демократы, против этой революции. Кто же ее может сделать? Значит, ее сделает ничтожная там компартия?.. Какие у них рессурсы?...

Теперь то же в Болгарии. Но это — побежденная страна, дикая страна. Что это за шансы для мировой революции? Я их не вижу при всем своем беспристрастии».

И проф. Павлов подводит по этому пункту такой итог: наша революция «стоила нам невероятных издержек, страшнейшего разрушения; а что если это все впустую, если мировая революция не случится?.. Тут я мучаюсь, и моя мысль бросается во все стороны, ища выхода, и его не находит. Вот это — тупик» [1]).

Проф. Павлов читал свою лекцию несколько месяцев тому назад. Но те сдвиги, которые получились за это время, лучше всего показывают, насколько неверна оценка положения проф. Павловым. Прежде всего, остановимся на приеме, который применяется нашим оппонентом.

В Германии — похоже на революцию, но это—побежденная страна.

В Болгарии похоже на революцию, но Болгария — дикая страна.

В Польше похоже на революцию, но она слабая (или еще какая-либо: проф. Павлов ошибочно причисляет ее к побежденным) страна и т. д., и т. д.

Прекрасно. Пусть Болгария—дикая и побежденная, пусть даже Польша будет сопричислена к побежденным странам. Но почему же все это служит аргументом против «обобщения» русской революции? Что капитализм ломается, начиная с своих наименее крепких звеньев (а следовательно, начиная со стран, наиболее подорванных войной 1914 — 1918 г.г.), это — бесспорно. Мы об этом неоднократно писали, и теоретически дело совершенно понятно. Но разве это опорочивает самый факт революции или факт глубоких революционных брожений? Ведь, этак рассуждая, можно об'явить, что и русская революция, это — не революция (ибо Россия была и побежденной, и изрядно дикой страной), что никакой революции вовсе и не было и что все выдумали большевики (кто выдумал самих большевиков — в данной связи остается, очевидно, неисследованным). Еще более наивны фразы акад. Павлова относительно Германии. Эта последняя, изволите ли видеть, «находится в страшно трудном положении, потому что она начала войну, воевала с целым светом и теперь ей нужно расплачиваться со всем светом». Поистине, тут прямое отступничество от какого бы то ни было «об'ективного метода». Оставляем в стороне вопрос о том, кто «начал» войну (акад. Павлов здесь еще все живет под гипнозом «Биржевки» и ее коллег). Пусть ее начала Германия. Но разве поэтому она теперь «в трудном по-

---

[1]) Во всех цитатах подчеркивания сделаны мною. *Н. Б.*

ложении»? А не потому, что она была б и т а? И не потому, что ее г р а б я т? При чем эта м о р а л ь в исследовании причинных соотношений? Это все равно, что «опровергать» теорию Павлова ссылкой на то, что хозяйка мопса, попавшего в греховную Павловскую лабораторию, была мало добродетельна, и п о э т о м у опыты Павлова имели успех. Аргументация, достойная «вумного» батюшки в рясе: «покарал Господь-Бог Германию за грехи ее—вот и похоже дело на революцию».

Вспомним все же кое-какие факты, ту самую действительность, о которой любит говорить наш оппонент. Мы знаем твердо следующее. После войны были революции:

в России — д в е, обе победоносные,
в Германии — одна, победоносная, и ряд восстаний,
в Австрии — одна,
в Венгрии — две,
в Финляндии — две,
в Болгарии — две,
в Польше — одна, и т. д.

Мы не говорим уже о китайской революции и постоянном брожении в колониях, — в Индии, например.

Что же, все это — ф а к т ы или большевистская блажь? А если это— факты, то как можно утверждать, что русская революция не обобщается, и что нет даже осязательных признаков этого обобщения? Мы очень сожалеем, что акад. Павлов не читал газет: может быть, поэтому он «верит», что короны Вильгельмов, Карлов и проч. продолжают еще существовать на головах этих монархов...

Но шутки в сторону. Совершенно очевидно, что мировая революция есть ф а к т. Но что она находится в определенной ф а з е своего развития, когда пролетариат захватил только одну шестую суши, а не шесть шестых, это — тоже факт. Можно теперь спросить себя, куда же идет д а л ь н е й ш е е развитие мировой революции?

Или, быть может, мы имеем перед собой процесс революционного у п а д к а и развития, укрепления, роста к а п и т а л и с т и ч е с к и х отношений?

Послушаем некоторых «людей ума и знания».

«Перед нами — бессильная, бездеятельная, дезорганизованная Европа, разделенная внутренними распрями, национальной ненавистью, содрогающаяся в усилиях борьбы и муках голода, полная грабежа, насилия и обмана. Чем можно доказать, что эта картина написана в слишком мрачных красках?»

Так пишет мистер К е й н с [1].

«Мы наблюдаем в Европе явление необычайной слабости со стороны великого капиталистического класса, который вышел из промышленных триумфов XIX века и несколько лет тому назад казался нашим всемогущим повелителем. Запуганность и личная робость членов этого класса стала

[1]) К е й н с, Экономич. последствия Версальского договора, Гиз. 1922 г. стр. 140.

теперь так велика, их вера и свое общественное назначение, и свою необходимость для социального порядка до такой степени ослабела, что они легко становятся жертвами устранения»[1].

Это говорит английский экономист, профессор, признанный правительственный эксперт.

Вот вам итальянский экс-министр, профессор и финансист г. Нитти.

«Революция, — пишет он, — находится в своем начале... Вся Европа проникнута революционным духом. Существует не только недовольство, но ярость и гнев рабочего класса, направленные против условий его существования. Население всей Европы начинает сомневаться в закономерности современного политического, социального и экономического порядка»[2].

Немецкий приват-доцент г. Шульце:

«Почва для подобного (европейского. *Н. Б.*) умопомрачения лучше всего подготовляется всеобщим недоеданием и отчаянием. Шаман постится несколько дней, готовясь к экстатическим действиям. Если целые народы вынуждены длительно поститься, они попадают в такое же исступленное состояние» и т. д.[3]).

Французский экс-министр г. Кайо резко критикует современное положение вещей в Европе. И—знаете, проф. Павлов, как он оценивает русскую революцию, о которой Вы думаете, не «впустую» ли она? Вот как:

«Советские люди — справедливость требует признать это — подошли к проблеме. Сознательно или нет — они попытались ослабить экономическую неустойчивость, подчиняя промышленность и ее развитие общественным интересам... Какое же решение задачи предлагает другая сторона? Status quo! Спокойное и удобное laissez faire!»[4].

А вот вам описание европейского положения в солиднейшем, архиспокойнейшем органе английской буржуазии, «Economist'e»:

«Наш германский корреспондент, которого... невозможно обвинить в том, что он стоит на стороне Германии (of being pro-German), сообщает:

«...Текущие события доказывают без всякого сомнения, что Франция не преследует цели восстановления, а систематически уничтожает жизнь Германии (is systematically crushing the life out of Germany»[5]). «Правда о всем положении вещей в целом, как внутреннем, так и внешнем, такова, что Франция схватила Германию за горло и систематически уничтожает ее жизнь»[6]).

Мы нарочно приводили отзывы людей, которых никто не заподозрит в склонности к «правящей в России партии», «коммунистам», «рабфакам» и прочим металлам и жупелам буржуазного сознания.

---

1) Ibid., стр. 133.

2) Ф. Нитти, Европа без мира, Гиз. 1923, стр. 83.

3) Э. Шульце, Разор[illegible]ого хозяйства. Гиз 1923, стр. 348.

4) Кайо, Куда идет Франция? Куда идет Европа? Гиз. 1923, стр. 176.

5) „Economist", Oct. 6, p. [illegible]

6) Ibid, 522.

Большинство «свидетельских показаний», приведенных выше, не захватывает самого последнего времени. А что говорят события именно э т о г о времени? Они ц е л и к о м против академика Павлова. Центральная Европа стремительно идет ко дну. В Германии кризис экономический, политический, социальный неоспорим. «Маленькая» компартия стала р е ш а ю щ е й силой. Прочность капиталистического режима в целом не только не увеличилась, а уменьшилась, — это ясно теперь даже слепым.

А что такое «рабочее правительство» Англии? Оно, быть может, недолговечно — мы этого не знаем. Но ф а к т его есть доказательство того, что даже в самой могущественной, наименее от войны пострадавшей европейской державе, с ее шлифованным консерватизмом, прочными традициями, ручным рабочим классом, священным почтением всех слоев общества к церкви, королю, цилиндру и ростбифу, что даже в т а к о й стране буржуазия не может править своими «нормальными» методами. С этой точки зрения рабочее правительство г. Мэк-Дональда есть такое же в ы р а ж е н и е р а с т у щ е г о о б щ е е в р о п е й с к о г о к р и з и с а к а п и т а л и з м а (его революционного кризиса), к а к и г а м б у р г с к о е в о с с т а н и е н е м е ц к и х р а б о ч и х.

Если бы проф. Павлов выдерживал об'ективный метод исследования, который он так удачно применяет к собакам, по отношению к исследованию человеческого общества, он, быть может, понял бы современную обстановку.

Из европейской капиталистической «системы» выдернута бывшая царская Россия. Соотношения между остальными частями «системы» весьма далеки от «взаимного уравновешивания». Д и н а м и к а отношений теперь вырисовалась с полной отчетливостью: это — динамика европейского р а с п а д а и динамика действительного «в о с с т а н о в л е н и я» в наших советских странах, — восстановления, которое с т а л о в о з м о ж н ы м и с к л ю ч и т е л ь н о б л а г о д а р я п е р е о р г а н и з а ц и и с о ц и а л ь н о й с т р у к т у р ы э т и х с т р а н. Внутри нашего Союза мы уже, так сказать, вчерне, достигли уравновешивания социально-классовых элементов на основе пролетарского господства. Не даром Ленин, вождь интернационального пролетариата, стал национальным героем нашей страны. А в н е ш н е е равновесие «советской системы» развивается с постоянным п л ю с о м в нашу сторону. Разве это можно отрицать теперь, после признания со стороны Англии и Италии? Обратный математический знак имеется в «развитии» Западной Европы. Другими словами: среди европейского хаоса отложился твердый кристалл нашей диктатуры: именно он становится центром европейского притяжения и фактором разложения подгнивших старых форм. А проф. Павлов не видит «осязательных признаков» нашей победы!.. Не видит того, что видят уже господа Кайо и К-°!

Д а ж е е с л и б ы пролетариат Центральной Европы оказался не в состоянии прочно победить, д а ж е в этом гипотетическом случае мы имели бы все же с в о е о б р а з н у ю полупобеду революции в Центральной Европе. Ибо тогда все же невозможным оказалось бы восстановление к а п и т а л и с т и ч е с к и х отношений. Европа длительно гниет. Ее избыточное

население выталкивается из сферы производительного труда. Лучшие, наиболее смелые, решительные, энергичные люди из рабочего класса, технической интеллигенции и даже — horribile dictu — из ученого сословия эмигрируют к нам — в страну, которую несколько лет тому назад считали страной «варваров-большевиков», — вот картина нашего будущего в таком случае. А наш Союз поднялся бы во весь рост, как пролетарская, трудовая Америка. Так что, повторяем, даже в этом, худшем с точки зрения победоносного ритма революции, случае, мировая революция, т.-е. перестройка социально-экономических отношений, обеспечена.

Мы уже не говорим о другом. Проф. Павлов не хочет даже подумать над вопросом, когда он спрашивает себя, не «впустую» ли пошли все издержки революционного процесса. Они, наш почтенный оппонент, не пошли «впустую» с точки зрения об'ективного анализа, даже если бы революция у нас не удержалась на своей пролетарской основе. Ибо только эта революция и только руководство в ней партии большевиков обеспечили очистку России от остатков феодализма, железной метлой вымели весь царско-помещичий навоз, сняли феодальные путы с дальнейшего развития страны. Если не рассматривать исторического процесса под углом зрения целости кисточек у занавеса или гербов на фарфоровой ночной посуде, если понять, что старые отношения об'ективно стали невозможны, тогда не приходится плакать в подушку и спрашивать себя, не «впустую» ли «случилась» революция. Даже от'явленные идеологи реакции, начиная с Жозефа де-Мэстра и кончая Бердяевым, понимают это. Нам, коммунистам, совсем неприятно думать о перспективе нашего превращения в удобрительные туки нового могучего капиталистического цикла, ибо тогда мы об'ективно оказались бы самыми смелыми и решительными творцами последовательной буржуазной революции. Но не трудно сообразить, что и тогда революция не оказалась бы пустой и кровавой игрой, как это мерещится проф. Павлову.

Действительность, к которой апеллировать — в этом проф. Павлов прав — совершенно необходимо, превращает, однако, этот последний вопрос в «akademische Frage», в академический (в плохом смысле этого слова) вопрос. Ибо, как мы показали выше, капитализм в Европе гниет, а мы укрепляемся. Это есть коренной факт, которого не опрокинешь никакими софизмами.

Проф. Павлов ставит вопрос о сроках коммунистической победы и думает, что его постановка вопроса очень остроумна. А на самом деле она до бесконечности наивна.

О каких «сроках», в сущности, идет речь? О сроках всемирной пролетарской победы? Или о сроках европейской победы? Или о сроках германской? О чем, в сущности, спрашивает нас проф. Павлов?

Если речь идет о всемирной победе, то тут мы ничего не можем сказать. Но об этаких сроках смешно и спрашивать. Победа капитализма была начата английской революцией в XVII столетии. Последняя буржуазная революция в Европе была в феврале 1917 года, — революция, опрокинувшая помещичий политический режим самодержавия. На очереди еще стоят буржуазные колониальные революции, которые получат, однако, иной смысл

в силу совершенно особого исторического контекста. Разве есть сомнения в том, что перестройка капиталистических отношений вплоть до Азии, Африки и т. д. займет целый исторический период? Нужно же видеть исторические масштабы, нужно понять всю грандиозность переворота. Теперь дело пойдет быстрее, чем в буржуазных революциях, в силу гораздо большей взаимозависимости частей мирового хозяйства, которого не было в XVII столетии. Но ясно, что сам вопрос о сроках в этом смысле нелеп. Хорош был бы англичанин, который похлопывал бы по плечу Кромвеля и уныло допрашивал его на предмет сроков, когда слетит последняя корона с головы последнего ее носителя! Александр Сергеевич Пушкин мечтал об этом «акте»:

> Народ мы русский позабавим
> И у позорного столба
> Кишкой последнего попа
> Последнего царя удавим.

Сие событие произошло позже на целое столетие, да и не совсем в такой форме. Но что можно было бы сказать нашему гипотетическому англичанину-скептику с точки зрения об'ективного «исторического разума»? Вряд ли этот последний выдал бы ему удовлетворительный диплом.

Может быть, можно допрашивать насчет сроков общеевропейской революции? И это мало остроумно по тем же причинам.

О чем же можно спрашивать? В первую очередь, о тенденциях развития. Вот если бы проф. Павлов опровергнул наши положения, что в Центральной Европе дела запутываются, а у нас распутываются, тогда он имел бы право на свой скептицизм или свое издевательство над нашей «верой». Не «вера» у нас решает, профессор! У нас есть уверенность, основанная на холодном научном (об'ективном) анализе. А вот у Вас есть действительно вера, нелепая, консервативная, стихийная, привычная вера в прочность буржуазного порядка вещей. «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». Вы продолжаете уповать на старый порядок. Вы невидимую и несуществующую прочность капиталистических отношений принимаете за реальный факт. И здесь Вы расходитесь с теми требованиями науки, которые Вы считаете правильными, когда речь идет о Вашей специальности. Еще один пример того, как опутывает капитализм даже лучшие головы, как сужает он горизонты даже наиболее выдающихся людей!

Но проф. Павлов пытается возражать. Он говорит о моей контр-атаке на «буржуев разных оттенков» и признаёт кое-что из указанных фактов разложения. Его ответ по этому важнейшему пункту очень короток. Вот он:

«Это (т. е. европейская неразбериха. *Н. Б.*) понятно, потому что война была действительно ужасная, на редкость истребительная. Затем перетасовка народов и государств произошла чрезвычайная... Конечно, невозможно скоро привести в спокойствие так раскаченное равновесие»

Этот ответ поистине великолепен. И в нем опять сквозит то же «беспристрастие» академика Павлова, которое является по сути дела подсознательным пристрастием к буржуазному режиму.

В самом деле. Да будет и нам разрешено спросить у проф. Павлова о сроках. В какие же сроки следует ожидать «приведения в спокойствие так раскаченного равновесия»? Пожалуй, «можно»,—говоря словами проф. Павлова,—«верить всю жизнь и умереть с этой верой». Не правда ли? И позвольте переадресовать Вам еще один пикантный вопрос: «Должны быть осязательные признаки, что это имеет шансы быть, но где же эти признаки?».

На все эти вопросы у проф. Павлова нет и не может быть ответа. Ибо факты против него. Ибо у нас равновесие создается, а у «них» еще более «раскачивается». Умереть с верой в прочность капитализма проф. Павлов может, но мы бы от всей души не пожелали ему такой веры: слабое утешение для такого сильного ума.

У старого мира нет будущего. У него нет поэтому никакой великой об'единяющей идеи, которая бы сплачивала людей, цементировала их отношения. Параллельно с хозяйственно-политической наклонной, упадочной, линией бежит и линия идеологического распада. Шпенглеры, Кайзерлинги, теософы, восточные мудрецы, гадалки, негритянские танцоры, курильщики опиума, святые пророки, утонченные эротоманы, отчаявшиеся скептики, Штейнеры, Андреи Белые, кликуши обоего пола, безумцы всей мастей—вот герои современного капитализма.

Передо мною интереснейшее исследование немецкого профессора Frobenius'а—«Das unbekannte Afrika». В этой работе почтенный профессор хватается за негров и старинную культуру их, как за последний якорь спасения. «Страсть к далекому» (Sehnsucht nach Fernem), к «наивному и нетронутому», «бегство из атмосферы пота и машин» [1]—двигают его на научные подвиги. В Африке его удивляет прежде всего этот консерватизм отношений: «Welches gewaltige Beharrungsvermögen!» [2]. «Монументальный покой»—вот идеал. Африка, видите ли, спасет мир! Раньше, до войны, кричали в воинственном азарте:

Nach Afrika! Nach Kamerun!

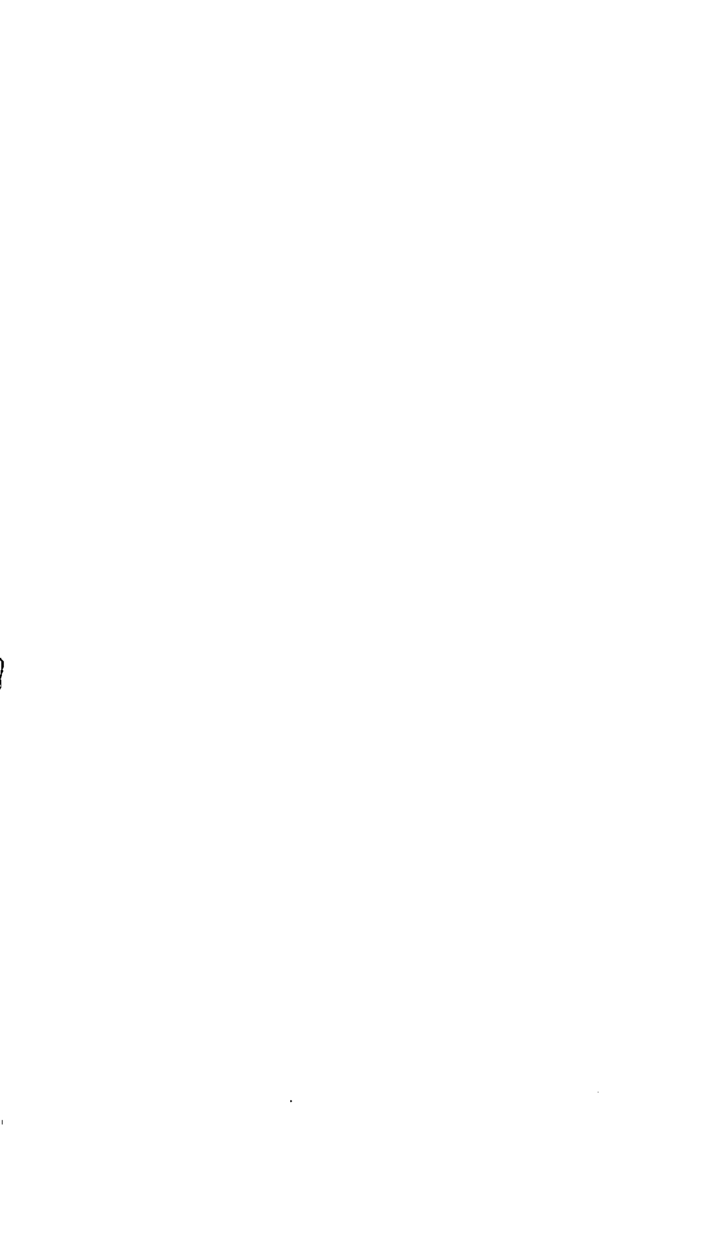
Теперь хватаются, несчастные и жалкие, за допотопные реликвии, чтобы приобщиться к истоку жизни. Но чудес не бывает. Трупы не оживут. Зато рабочий класс продолжит дело культуры и цивилизации. Он не боится ни запаха пота, ни шума машин. И твердой рукой он будет делать свое всемирно-историческое дело.

(Окончание следует.)

---

[1]) Frobenius, Das unbekannte Afrika, S.

[2]) Ibidem, 13.



Заметки об интеллигенции.

Вяч. Полонский.

I.

В историю октябрьской революции так называемая интеллигенция вписала наиболее парадоксальные страницы. Коммунистическая пресса не однажды квалифицировала их, как страницы великой измены. Позиция, занятая подавляющим большинством умственных работников нашей страны по отношению к «народу», была не совсем ожиданной как для народа, так и самой интеллигенции. Группа людей, игравшая исключительную роль в истории русского освобождения, не только претендовавшая на роль духовного вождя, но в течение целого века на деле бывшая таким вождем — эта прославленная группа, призывавшая революцию, как спасителя, повернулась к революции спиной, когда она пришла, и не только проявила к ней неприязнь, но вступила в союз с ее врагами, вместе с ними немало сил потратив на то, чтобы распять ее.

Ныне драматические перипетии этой борьбы позади. Столкновение интеллигенции с революцией превратило первую в груду осколков. Ценой жестокого опыта, пережив разгром идеологии, интеллигенция, в лице значительнейших своих отрядов, пошла в Каноссу. В наши дни ее разбитые остатки более или менее бесповоротно собираются под знаменем победившей рабочей революции. Утихающие страсти позволяют, поэтому, бросить ретроспективный взгляд на обстоятельства этого исторического столкновения.

II.

В обыденном словоупотреблении «интеллигенция» мыслится, как некая единая группа. Такое понимание весьма прочно укоренилось в нашей речи. Тов. Зиновьев, например, в своем докладе, произнесенном на с'езде научных работников в Москве 23 ноября 1923 г., употребляя понятие «русская интеллигенция»,—приписывал ей ряд действий, за которые она, как целое, должна нести ответственность. Правда, т. Зиновьев заметил в одном месте доклада, что интеллигенция разделяется на слои, группы и подгруппы, которые идут

с разными классами населения. Но это ценное замечание осталось академическим: на деле т. Зиновьев расслоения интеллигенции на группы и подгруппы не производил, и она фигурирует в его докладе—как таковая. То же самое обстоятельство наблюдаем мы во всей нашей литературе, посвященной интеллигенции [1]). Термин этот, очевидно, переживает еще ту стадию своего развития, которую до последнего времени переживало слово «народ». Революция расколола это суммарное понятие, заменив его составными частями: рабочие и крестьяне. А между тем, слово «интеллигенция» имеет полную аналогию с приведенным выше термином. Слово это «собирательное», заключающее в себе антагонистические элементы различного классового происхождения. На истории его сказались недостатки нашей терминологии, приблизительной, общей, не отточенной. Слово — как инструмент — должно соответствовать определенной цели: рубанком не забивают гвозди, зубило нельзя назвать напильником. Слово должно плотно охватывать соответствующее явление или понятие, быть ему адекватным—иначе оно делается плохим инструментом общения. Отвечает ли элементарным требованиям слово «интеллигенция»? Ни в малой степени. Это—одно из самых неясных, неуклюжих, бесформенных слов, какие знает наш язык. Оно подобно резиновому мешку: в него можно бросать все, что угодно, покуда мешок не порвется. Достаточно вспомнить значительную литературу о русской интеллигенции,—чтобы притти в совершенное недоумение от огромного количества сбивчивых и туманных определений, какие предлагались в свое время и продолжают предлагаться в наши дни. Причина этого обстоятельства заключается, по нашему мнению, в том, что термину этому во внешнем мире не соответствует какое-нибудь однородное явление. Возникнув в определенную эпоху, слово это (впервые, если не ошибаюсь, пущено в оборот П. Д. Боборыкиным), об'ектом своим имело историческую группу людей, двигавших самосознание русского общества, и было живым словом лишь короткое время. По мере развития общества, вместе с усложнением его состава, усложнялась и изменялась самая группа, охватываемая термином «интеллигенция», — термин же, переставший соответствовать явлению, которое он обозначал, продолжает сохранять свой первоначальный смысл.

Смысл этот вначале имел оттенок этический. Интеллигент, как понималось это слово в конце XIX и даже начале XX века, был духовным вождем, работником во имя общественных идеалов. Такой смысл мог существовать лишь до того, как марксизм коснулся его своим разлагающим анализом С этого времени термин делается противоречивым, спорным и вызывает целый ряд попыток раскрыть его подлинное содержание. Но так как для замены его не было найдено другого слова, оно просуществовало до наших дней, неся с собой путаницу, неясность и противоречия. Этим и об'ясняется неослабевающий интерес, который продолжает вызывать в нашей литературе

---

[1]) См., например, А. Луначарского „Индивидуализм и мещанство". Госиздат 1923 г.; М. Рейснера „Интеллигенция как предмет изучения в плане научной работы" („Печать и Революция" 1922 г., книга 1).

это злополучное понятие. Мы не имеем ни времени, ни места излагать историю спора об интеллигенции. Но чтобы сделать понятным наш взгляд на этот вопрос, мы коснемся одной новейшей работы, принадлежащей перу Б. И. Горева и помещенной в сборнике статей «На идеологическом фронте». Работа эта озаглавлена: «Интеллигенция как экономическая категория».

Вслед за Махайским (Вольским), но отнюдь не разделяя его выводов, Б. Горев ставит знак тождества между понятием «интеллигент» и «умственный работник».

Интеллигенция, как целое, говорит Б. Горев, как люди «умственного труда», продающие свою «умственную» рабочую силу, по своей э к о н о м и ч е с к о й сущности не отличаются от рабочих «физического труда».

Остановимся пока на этом рассуждении. «Ничем не отличаются». Правда, автор подчеркивает, что рассматривает интеллигенцию, как «э к о н о м и ч е с к у ю» категорию. Но значит ли это, что если рассматривать интеллигенцию, как категорию не экономическую, она получит другое определение? И если получит, то не будет ли это иное определение иметь смысл, противоречащий первому? В таком случае нам вновь придется помянуть о резиновом мешке, который можно наполнить любым содержанием. Мы нуждаемся в монистической, исчерпывающей, алгебраической формуле, которая не менялась бы от подстановки тех или иных арифметических величин. Дает ли нам такую формулу Б. Горев?

Что формула его узка — доказывает сам автор другой статьей того же сборника: — «Русская интеллигенция и социализм», которая целиком посвящена некоторым особенностям «интеллигенции». Из этой статьи мы узнаем, что интеллигенция не только торгует своим умственным трудом,—здесь она ничем не отличается от рабочих, — но еще является неким органом, в котором отражаются идеологические потребности общества. «Народническая интеллигенция, — пишет Б. Горев, — бессознательно искала социальную классовую опору для своих демократических мелко-буржуазных стремлений». Далее мы узнаем, что народничество «ухватилось за крестьянство, разбуженное реформой, и на время заразилось крестьянскими стремлениями к равенству и его ненавистью к государству». Мы не намерены спорить с Б. Горевым по существу только что высказанных мыслей: они совершенно правильны. Но эти соображения опрокидывают то первоначальное его определение, которое мы привели выше.

Мы не возражаем против того, что всякий интеллигент — умственный работник. Но вся беда в том, что понятие, которым наш автор освещает темный смысл определяемого термина, само нуждается в определении. Какой труд считать «умственным» в отличие от физического? Где в труде, напр., скульптора лежит граница между тем и другим? Или в труде живописца? В труде актера? и т. д. Где вообще кончается труд физический и начинается умственный? Всякому физическому труду в большей или меньшей степени присущ элемент «умственности». Он очень невелик при самой низкой квалификации труда (копать землю лопатой, разбивать камни молотом и т. п.), но уже труд сапожника является наполовину умственным. Труд крестьянина,

даже в первобытных его стадиях, требует значительного участия ума, опыта, сноровки. Фабричный мастер, стоящий между инженером и рабочим, с одинаковым основанием может быть причислен к любой из наших двух категорий. В труде наборщика, физического рабочего, больше умственного напряжения, чем в труде циркового акробата, артиста, представителя умственного труда. Границу искать здесь труднее, чем может показаться поверхностному взгляду. Это возражение делаем мы Б. И. Гореву, во-первых. А, во-вторых,—другое возражение делает себе он сам, когда внимательней начинает рассматривать характер интеллигентского труда. При таком рассмотрении оказывается, что «рабочий продает хозяину только свои руки». «Душа» его, его мысли и чувства остаются свободными, и рабочий, окончив работу,—тот же, каким был раньше. Другое дело — интеллигент, рассуждает Б. Горев. Продавая свой умственный труд, он именно «часть души своей продает», и это налагает на него «особую печать лакейства, приспособление к мыслям, взглядам и настроениям хозяина, сближая эту часть интеллигенции в психологическом отношении с домашней прислугой. Вот почему такое множество интеллигентов, работающих для буржуазии, — ученые, писатели, художники, артисты — само насквозь пропитано буржуазной психологией».

На поверку выходит, что различие между работниками умственного и физического труда есть. Оказывается, что отличительной особенностью интеллигентского труда является странный элемент «душа», хотя и поставленная нашим автором в кавычки. Что это за элемент? Откуда он взялся? К какой области «категорий» принадлежит? Двусмысленность — на-лицо: с точки зрения экономической — интеллигентский труд ничем не отличается от физического. А с точки зрения «не-экономической» — он решительно на физический труд не походит. Где разгадка?

Рассмотрим вопрос более подробно.

III.

В только что вышедшей книге Л. Троцкого «Литература и революция» имеется статья, посвященная разбору небольшой работы Макса Адлера «Der Socialismus und die Intellektuellen». Статья эта была написана еще в 1910 г., вслед за появлением брошюры Адлера. Знакомство с этой работой поможет нам разобраться в противоречиях т. Горева. Предоставим здесь слово т. Троцкому.

«Что такое интеллигенция? Адлер дает этому понятию, конечно, не моральное, а социальное определение: это не орден, связанный единством исторического обета, а общественный слой, охватывающий все роды умственных профессий. Как ни трудно бывает провести межевую черту между «физическим» и «умственным» трудом, но общие социальные очертания интеллигенции ясны без дальнейших детальных изысканий. Это целый класс — Адлер говорит: междуклассовая группа, но это в сущности все равно — в рам-

ках буржуазного общества. И вопрос для Адлера стоит так: кто или что имеет больше прав на душу этого класса? Какая идеология для него внутренне обязательна в силу самого характера его общественных функций? Адлер отвечает: коллективизм»[1]).

Точка зрения Макса Адлера походит на точку зрения Б. Горева. Но она более разработана. Для Адлера интеллигенция охватывает «все слои умственных профессий» — это более точно, чем «умственные работники». Совершенно очевидно, что «умственные работники» и «умственные профессии» не покрывают друг друга. Сходны также соображения обоих авторов, будто интеллигенция, в силу некоторых особенностей своих, предрасположена к усвоению коллективизма. По Адлеру, этому усвоению помогает «самый характер общественных функций» интеллигенции. По Гореву, дело обстоит следующим образом:

«Интеллигенция, как целое, не составляет, конечно, общего «трудового класса» с промышленным пролетариатом, но она не является и отдельным самостоятельным классом, об'единяемым общими экономическими признаками. В качестве представителей квалифицированного труда так называемые «умственные работники» отличаются рядом признаков, свойственных всем особо квалифицированным рабочим, только в наивысшей степени. Поэтому в то время как привилегированные слои интеллигенции самым тесным образом связаны с интересами и судьбами правящих классов капиталистического общества и их органа—государства, главная масса представителей умственного труда имеет тенденцию все больше приближаться к рабочему классу и не имеет никаких о б ' е к т и в н ы х э к о н о м и ч е с к и х оснований быть долго заинтересованной в сохранении буржуазного строя»[2]).

Б. Горев устанавливает тенденцию, в силу которой интеллигенция («главная масса») не имеет об'ективной экономической заинтересованности в сохранении буржуазного строя — почему и делается союзником рабочего класса в его борьбе за социализм, во-первых, и усвояет идеологию рабочего класса, во-вторых.

Адлер более подробно анализирует этот важнейший момент для понимания проблемы интеллигенции. Наиболее интересным и, покуда, слабо об'ясненным оказывается обстоятельство, в силу которого отдельные интеллигенты и целые группы, социально чуждые рабочему классу, связанные происхождением и культурной выучкой с классами господствующими, — обрывают свою классовую пуповину и дело рабочего класса или крестьянства делают своим делом. Наше прошлое особенно богато разительными фактами, давшими благодарный материал для создания «героической» истории русской интеллигенции, как особенных существ, наделенных исключительной душевной организацией, способных на преодоление своей классовой природы, и походя приносящих в жертву все те классовые преимущества, во имя кото-

---

¹) Л. Т р о ц к и й. „Интеллигенция и социализм“ в сборнике „Интеллигенция и революция“ Москва 1923 г., изд. „Красная Новь“, стр. 345.

²) Б. Г о р е в, „На идеологическом фронте“, стр. 36.

рых ведется ожесточенная житейская борьба. Интересы чужих классов оказываются для них более близкими, чем интересы класса своего. Такие факты — а они нередко на деле имели место — и были козырями в руках наших идеалистических историков русской интеллигенции, от С. А. Венгерова, автора знаменитой в свое время книги «Героический характер русской литературы». и до Иванова-Разумника, последнего из могикан народнической литературы. Оба эти писателя лишь выражали традицию, имевшую начало в той формуле, которую в свое время дал интеллигенции П. Л. Лавров. Все дальнейшие работы народников лишь видоизменяли эту формулу, упрощая ее, как это делал С. А. Венгеров, или без меры усложняя, подобно Иванову-Разумнику. А между тем ни в одной из многочисленных работ, посвященных интеллигенции, не было показано, каков же все-таки механизм возникновения и развития этих удивительных героев русской истории. Откуда, как и почему появлялись в наше время необыкновенные индивиды, столь самозабвенно приносившие себя в жертву во имя развития высоких и прекрасных начал русской общественности. Макс Адлер пытается разрешить этот вопрос следующим образом:

«Так как неприкосновенность и, сверх того, возможность свободного развития духовных интересов,—говорит Адлер,—принадлежит к жизненным условиям интеллигенции, то именно поэтому теоретический интерес (курсив наш. *Вяч. П.)* выступает здесь полноправно рядом с экономическим. Если таким образом оснований для присоединения интеллигенции к социализму приходится искать преимущественно вне экономической сферы, то это об'ясняется в такой же мере специфически-идеологическими условиями существования умственного труда, как и культурным содержанием социализма».

Так разрешает вопрос Адлер. Теоретический интерес. Оказывается, что этот интерес может преодолеть духовное наследство класса, привычек, вкусов, привязанностей, симпатией,—всего того, что с молоком матери всасывается ребенком, что властно внушает ему среда. Теоретический интерес может перервать классовые связи, толкнуть интеллигента в об'ятия социализма, сделать его врагом культуры взрастившего его общества. Не исключая такую возможность в отдельных случаях (история дает нам много конкретных примеров)—в своей общей форме эта теория, по нашему мнению, не очень далеко ушла от знаменитой теории П. Л. Лаврова. Интеллигенты Макса Адлера, вследствие теоретического интереса воспринимающие идеи социализма, как две капли воды похожи на критически мыслящих личностей П. Лаврова. Но не подлежит ли об'яснению то самое, чем эта теория пытается об'яснить необ'ясненное в проблеме интеллигенции?.. Л. Д. Троцкий весьма основательно подвергает сомнению основательность рассуждений Макса Адлера.

«Что интеллигенцию нельзя привлечь к коллективизму программой непосредственных материальных завоеваний, в этом Адлер совершенно прав,— пишет Л. Троцкий.—Но это еще не означает ни того, что интеллигенцию в целом вообще можно чем-нибудь привлечь, ни того, что непосредственные мате-

риальные интересы и классовые связи интеллигенции не могут оказаться для нее убедительнее, чем все культурно-исторические перспективы социализма».

И возражения, которые делает Л. Троцкий Адлеру, опрокидывают теорию последнего. В настоящий момент мы эти возражения оставим в стороне. Нам к ним придется вернуться позднее. Здесь же отметим, что ни Макс Адлер, ни Б. Горев не дают нам тех руководящих указаний, которые, во-первых, послужили бы отличительным (существенным) признаком для интеллигенции, как социальной группы, и могли бы быть согласованы с историческими фактами, во-вторых. Утверждение Б. Горева, что интеллигенция вообще не имеет об'ективных экономических причин для сохранения буржуазного строя — бездоказательно; замечание же его, будто интеллигенция имеет тенденцию все более приближаться к рабочему классу — столь же неисторично, как «неисторично», по замечанию Л. Троцкого, утверждение Адлера о «теоретическом интересе», имеющем будто бы исключительное влияние на интеллигенцию. Вопрос остается открытым.

IV.

В «Развитии социализма от утопии к науке» Энгельс, говоря о разделении общества на классы, подчеркивает, что в основе этого разделения лежал принцип разделения труда. При этом он указывает, что «Рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и заведующий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т. д.» [1]).

О каком «классе» говорит Энгельс? Перечисление функций, выполняемых этим «классом», дает основание полагать, что элементами, его составляющими, оказываются те самые работники, которых Б. Горев называет «умственными». Но по Энгельсу это не значит, что всякий умственный работник, только потому, что он занимается «умственным» трудом, будет членом этого «класса»,—так говорил Энгельс, группы,—как скажем мы. Функции членов этой группы очерчены Энгельсом кратко и ясно; это—о р г а н и з а т о р ы   о б щ е с т в е н н о г о   т р у д а   и   о р г а н и з а т о р ы   о б щ е с т в е н н о г о   с о з н а н и я. По терминологии Энгельса — в их ведении находятся идеологические функции, выделившиеся в процессе общественного разделения труда. Умственным работником можно считать любого конторщика, бухгалтера, письмоводителя, секретаря, артиста, фотографа, врача и т. п. Но ни один из этих «умственных работников» не может быть причислен к той группе «заведующих-руководителей», о которой говорит Энгельс

---

[1]) Э н г е л ь с. „Развитие социализма от утопии к науке", перевод В. Засулич, изд. „Красная Новь", 1923 г., стр. 38.

и которая является зародышевым понятием, выражаемым в наши дни темным термином «интеллигенция».

Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» говорил о «выделении» особой группы «руководителей и заведующих» в эпоху начинавшегося разделения общества на классы. Он не имел в виду современного, развитого, классового общества, ибо в таком обществе — и Энгельс знал это, разумеется, лучше, чем кто-нибудь другой — приходится говорить уже не о группе руководителей и организаторов общественного труда, а о «группах», борющихся между собой за ту или иную организацию этого труда.

Каждый класс, по мере того, как он осознает свои интересы, противоположные интересам других классов, начинает организовывать себя так, как организовано целое общество: он выделяет особые функции руководства общими интересами класса, вырабатывает по мере сил свою мораль, свое право, создает свою прессу, литературу, искусство, вырабатывает свое мировоззрение, свою программу борьбы, другими словами,—выделяет все эти идеологические функции класса в ведение особой группы «заведывающих и руководителей», о которых говорил Энгельс в применении к целому обществу. Каждый класс, если он жизнеспособен, создает своих собственных «организаторов» труда и организаторов «сознания» — классовую интеллигенцию. Эти классовые «интеллигенции» имели резко определенные границы, отделявшие их от других классовых групп там, где была острая борьба между классами; в странах же, где классовые противоречия не достигали значительной остроты,—именно в странах слабо развитого капитализма,—могла создаваться иллюзия о существовании единой, внеклассовой, внесословной, идеалистически настроенной интеллигенции.

Борьба за существование заставляет борющиеся классы выделять общие функции руководства борьбой и организации духовных потребностей. Эти функции, требующие некоторых специальных качеств, сосредоточиваются в передовой группе класса, составляющей его авангард, головной отряд. О т р я д э т о т и е с т ь и н т е л л и г е н ц и я.

Отсюда становится понятным, почему интеллигенцию[1]) никак нельзя назвать общественным классом; она не занимает определенного места в общественном производстве. Она не является также единой группой, ибо лишена единства — единой роли, единого положения, единых задач в общей системе разделения общественного труда. Отдельные группы интеллигенции ведут между собой ту же борьбу, какая ведется между эксплоататорами и эксплоатируемыми. Интеллигенция—органическая часть каждого общественного класса. Нам не хотелось бы пользоваться терминологией органической теории общества. Эта теория ни в какой мере не берется нами под защиту. Но в качестве аналогии мы приведем разделение функций между органами развивающегося организма. Интеллигенция играет роль органа, обобщаю-

---

[1]) Мы употребляем это слово в качестве собирательного термина, никогда не забывая классовой природы самого явления.

щего классовый опыт, организующего сознание класса, является его орудием, возникшим и заостренным в борьбе за существование[1]).

Отсюда также должно быть понятным наше утверждение, что не все представители «умственных» профессий могут входить в передовую группу интеллигенции. За пределами этой группы остаются простые «профессионалы»,—специалисты умственной работы, поскольку они не являются ни организаторами общественного труда, ни организаторами общественного сознания. Это—рядовые представители общества, так хорошо определяемые суммарным термином «обыватели», хотя бы они обладали высокой профессиональной квалификацией (врач, артист, бухгалтер, чиновник и т. п.).

Только к этому разряду «умственных работников» может быть отнесено утверждение Б. И. Горева, будто «главная масса представителей умственного труда имеет тенденцию все более приближаться к рабочему классу и не имеет никаких об'ективных экономических оснований быть долго заинтересованной в сохранении буржуазного строя». Но этот разряд как раз и не является «интеллигенцией» в правильном смысле слова. Люди этого разряда будут жить с любой властью и при любом строе, если только этот строй сможет гарантировать им спокойное, по возможности хорошо оплачиваемое применение их знаний не в интересах общества (это их мало волнует), но в их собственных интересах. Оппозиция их существующему строю возрастает по мере ухудшения их материального благополучия; она исчезает без следа вместе с улучшением их благосостояния. Это — неустойчивая, инертная, чаще всего аполитично-настроенная масса, живущая по принципу: «моя хата с краю». И если эти люди, подстрекаемые «настоящими» контр-революционными интеллигентами, которые знали куда шли, организовали после октябрьского переворота «саботаж» против Сов. власти,—то было это, во-первых, потому, что они не верили в прочность «Советов», а следовательно в платежеспособность новой власти, и, во-вторых,—старый хозяин, еще не ликвидированный начисто, продолжал финансировать их, суля в будущем награду за усердие. По мере того, как эти два условия исчезали, «умственные работники» мало-по-малу превратились в лойяльных «советских служащих».

С другой стороны — отсутствие образовательного ценза, непричастность к «умственным» профессиям не препятствуют простому рабочему от станка или крестьянину от сохи быть подлинными интеллигентами, руководителями борьбы и организаторами сознания своих классов.

---

[1]) См. А. Луначарский, „Об интеллигенции“, Сборник статей, стр. 6, Москва 1923 г. изд-во „Красная Новь“.

В одной из новейших статей А. В. Луначарского мы встретили определение интеллигенции, довольно близко подходящее к нашему определению. „С точки зрения общества,—говорит т. Луначарский, — как организации сотрудничества — интеллигенция есть специальная группа лиц, несущая высшие функции по организации опыта, его сохранению и развитию как в области знания, так и в области чувства“. А. В. Луначарский упускает из виду классовый характер интеллигенции, во-первых, и забывает „организацию борьбы“ (не только „опыта“)—важнейшую функцию интеллигенции.

V.

Для более точного понимания интеллигенции остановим внимание на одном обстоятельстве, которое явилось следствием своеобразного положения интеллигенции в системе общественного разделения труда.

В каком именно виде отразилось «общественное бытие» интеллигенции на ее сознании? Не отличаются ли методы мышления интеллигенции какими-нибудь особенностями, вызванными ее исключительным положением в обществе? Ответ на эти вопросы мы находим в замечательном письме Энгельса Францу Мерингу от 14 июля 1893, написанном по поводу статьи последнего «Об историческом материализме». Речь в этом письме идет об «идеологии», т.-е. о всех тех потребностях общественного бытия, которые приняли вид религиозных, философских, политических, экономических и проч. теорий и воззрений. Вот что писал Энгельс:

«Идеология, это—мыслительный процесс, который проделывает так называемый мыслящий человек, хотя и с сознанием, но с сознанием неправильным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Человек создает себе, следовательно, представление о ложных и призрачных побудительных силах. Так как это — процесс мысли, то человек и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления своих предшественников. Этот человек имеет дело исключительно с материалом мыслительным, — без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и не занимается исследованием никакого другого процесса, более отдаленного и от мышления независимого. Такой подход к делу ему кажется само собой разумеющимся, так как для него всякое человеческое действие основано в последнем счете на мышлении, потому что совершается посредством мышления» [1]).

В приведенных строках раскрыты все особенности интеллигента как мыслящего суб'екта. Интеллигенция ведь и была строителем «идеологических надстроек». Эти надстройки являлись не чем иным, как отражением материального базиса. Но интеллигенты (идеологи, как говорит Энгельс), имея дело с абстракциями бытовых процессов (с и д е я м и, а не самими процессами), в конце концов оторвались от действительных, фактически происходивших изменений быта, и в их сознании возникло представление о том, что их мыслительные процессы подчинены своим собственным, имманентным, только мышлению приусщим законам, что развитие их мышления независимо от социальной базы, это мышление породившей. Они стали прогуливаться по воздушным садам идеологических абстракций, как будто эти сады не имели корней в экономическом, материальном, вещественном быту. Все характерные

---

[1]) К. Маркс и Ф. Энгельс. „Письма". Изд-во „Московский Рабочий". Москва 1923 г. Стр. 309.

особенности интеллигенции, все ее недостатки и достоинства, драматические эпизоды ее прошлого и трагедия настоящего, оторванность от жизни и пристрастие к фразе, ее упорство в преследовании заведомо ложных целей, абстрактный идеализм, революционность и контр-революционность, — все это может быть логически выведено из идеологического способа мышления, который оторвал интеллигенцию от жизни и поселил в мире «идей», заслонившем от нее мир действительный и конкретный. Наиболее упорным интеллигентам приходилось сталкиваться с фактами, которые противоречили их построениям, — они упрямо говорили: тем хуже для фактов — и повторяли это до той поры, покуда «факты» не теряли терпения и не ставили «идеологов» в положение, при котором они против воли своей приходили в «сознание» из своего призрачного бытия.

Но, живя в мире абстракций, интеллигенция влияла на развитие общества. Не сознавая часто своей зависимости от смены общественных форм, — она так или иначе осуществляла то обратное действие идеологии на формы быта, о котором говорил Энгельс в вышецитированном письме Мерингу. Русская интеллигенция на этом пути встречала особенно сильные препятствия. Потребности «общества» вырастали из развившегося хозяйства и диктовали необходимость смены старых форм жизни; «народ безмолвствовал», лишь изредка давая знать о своем существовании отдельными вспышками недовольства; рабочий класс «варился» в котле капитализма. Интеллигенция была одинокой, и это одиночество на боевых позициях давало ей повод чувствовать себя единым носителем передовых, прогрессивных задач нации, защитником интересов и вождем угнетенного народа. Глубочайшее убеждение русской интеллигенции в ее назначении быть учителем и руководителем народных масс получило яркое выражение в русской литературе. Созданная интеллигенцией, она в самом деле была героической симфонией, прославлявшей своего творца. Изучить тип русского идеолога в русской литературе — это значит изучить взгляд русской интеллигенции на самое себя. Несмотря, однако, на внешнее единство, та же самая литература дает богатый материал для характеристики непримиримых противоречий внутри самой интеллигенции. Катков и К. Леонтьев, Победоносцев и Данилевский, Достоевский, Лесков-Стебницкий и много других были яростными врагами главной массы русской интеллигенции, народолюбивой и рабочелюбивой, хотя сами проповедывали и учили во имя того же «общего интереса», «народа», «человечества». К. П. Победоносцев «проповедывал» и учил с помощью особого корпуса жандармов и департамента полиции. Это был, однако, «интеллигент» столь же чистокровный, как и Н. К. Михайловский. Вся разница лишь в том, что они были «интеллигентами» разных классов населения. Следует поэтому отбросить в сторону принятое в литературе огульное определение интеллигенции как революционной. Мы знаем интеллигенцию революционную и контр-революционную, интеллигенцию класса-эксплоататора и класса эксплоатируемого, интеллигенцию, которая сажает в тюрьму и расстреливает, и интеллигенцию, которая сидит в тюрьмах и идет на эшафот. Это нарушает стройность теории об «единой» внеклассовой, внесословной и т. д. — но что же делать: фактам

свойственно иногда проявлять невежливость. Скажем далее, что, на-ря с интеллигенцией классов, мы имеем интеллигенцию сословную, — не в оби Иванову - Разумнику будь сказано: существование дворянской интеллиге ции и интеллигенции бюрократической (чиновничьей) также относит к области фактов.

Отметим еще особенность, характерную для интеллигентской психол гии. Идеологам классовых «правд» свойственно не замечать того обстоятел ства, что «правды» их—классовые. Напротив, они нередко искренне полагаю что их «правда» — всеобщая правда. Способность придавать идеологии свое классового опыта общечеловеческое значение — одно из основных свойс интеллигенции. Здесь сказывается черта, отмеченная Энгельсом в строка приведенных нами выше. Возводя свою идеологию над социальным базисо интеллигенция не замечает, что все поводы и доводы продиктованы жизне ными интересами ее класса. Стремясь к устроению «общества», идеологии с здают фикцию общего интереса под разнообразными и всегда громкими псе донимами (культура, прогресс, человечество, государство, общество), се об'являют защитниками «общего» интереса и глубоко веруют в общеобяз тельное значение этих псевдонимов. Было бы заблуждением полагать, ч так называемые буржуазные философы, художники, поэты, организуя обще ственное сознание в интересах господствующего класса,—«продались» этом классу, т.-е., зная хорошо, где «правда», они многотомными сочинениями е сознательно скрывают, втирая очки угнетенным. Эмпирические наблюдени говорят, что, действительно, существование таких «умственных работников не является редкостью. Но ведь тот же эмперический опыт сообщает и др гое, а именно: есть философы, художники и проч., которые фанатически за щищают свою «правду» и даже жертвуют во имя ее жизнью,—самым большим чем может вообще пожертвовать человек [1]). Такими примерами богата исто рия русской интеллигенции. Своеобразная особенность идеологов в это именно и заключается. Об'ективное значение их деятельности может быт совершенно противоположным их суб'ективным стремлениям, но искренност самих стремлений должна быть вне спора. Это не мешает, разумеется, нам марксистам, вскрывать об'ективное значение таких искренних, но к сожалению, превратно мыслящих и превратно действующих людей. Тако разоблачение, особенно если оно подтверждается фактами, может об'ек тивных врагов революции сделать ее горячими и об'ективными же друзьями Как это возможно?

Здесь мы подошли к тому любопытному явлению, которого мельком коснулись выше,—способности отдельных индивидов, рожденных и воспитан ных господствующими классами, воспринимать и самоотверженно защищат интересы чужого класса. Необходимо при этом подчеркнуть, что история дае

---

¹) Н. Бухарин в „Теории исторического материализма" замечает по этому повод „Настоящий ученый, художник, ученый юрист, теоретик любят свое дело, как само себя, и не думают ни о какой практической стороне дела. Это не подлежит никаком сомнению и могло бы быть подтверждено тысячами всевозможных примеров" (Стр. 22 Гос. Изд-во, 1923 г.).

нам единичные примеры таких «переходов». О «массовом» превращении буржуазных идеологов в идеологов пролетариата и крестьянства речи быть не может. Мы знаем лишь отдельных «выходцев из буржуазной среды», как принято выражаться; имена их известны наперечет. И потому, что мы имеем дело не с массовым явлением, а с явлением индивидуальным, здесь можно говорить не о «правиле», а об исключении из правила.

Когда Адлер рассуждает о том, что «теоретический интерес» может буржуазную интеллигенцию вообще толкать к социализму, — он рассуждает неправильно, ибо придает общее значение индивидуальным возможностям. Но в известной исторической обстановке, при стечении благоприятных условий, теоретические, этические и эстетические интересы могут заставить отдельных идеологов «покидать» свою точку зрения и становиться «на точку зрения пролетариата». В идеологии Роберта Оуэна, например, этический момент сыграл огромную роль. Эстетические мотивы имели большое значение при обращении к социализму Вильяма Морриса. Теоретический интерес, гениально познанный и раскрытый об'ективный ход развитий общества сделали Маркса и Энгельса коммунистами. Этические, эстетические и теоретические мотивы четкими линиями переплетаются в истории русской социалистической интеллигенции. Та или иная комбинация этих мотивов с преобладанием то одного, то другого предопределяла духовное развитие отдельных буржуазных интеллигентов, уходивших от класса угнетателя в стан угнетенных.

Показать детально картину такого духовного превращения «выходца из буржуазной среды» — благодарнейшая задача для биографа-психолога. Внимательный читатель найдет такую картину в жизнеописании любого революционера, если это жизнеописание достаточно подробно обставлено документальным материалом, характеризующим, во-первых, историческую среду, во-вторых, восприятия, оказавшие наиболее сильное влияние на духовное развитие революционера, и, в-третьих, некоторые особенности его духовной организации, облегчавшие усвоение идей, хотя и рожденных чужим классом, но обладающих теоретическим, этическим или эстетическим обаянием.

Весьма яркую картину «перехода» на точку зрения пролетариата наблюдаем мы в самое последнее время, когда отдельные ученые, художники, поэты, по происхождению своему и своему прошлому чуждые рабочему классу, делаются его друзьями. Не спорим: среди новых сторонников победившей революции имеется известное количество людей, которые вообще склонны быть спутниками победителя: сегодня одного, завтра другого. Но кроме таких «попутчиков» разве мало идеологов, горячо и искренне уверовавших в «новую» правду, что открылась их глазам? Кто заподозрит, — «возьмем первые попавшиеся имена,—Эйнштейна, творца теории относительности, в неискренности его сочувствия делу рабочих? Или известного педагога Наторпа? Или французского писателя Анри Барбюсса? Или русских ученых, в самое последнее время открыто высказавших свое сочувствие борьбе пролетариата? Эти люди совершенно искренне начинают верить в новую «правду»,

рожденную и выношенную чуждым им социально классом. В этом обращении теоретический, этический и эстетический интересы играют первенствующую роль. И наоборот: среди наших врагов, которые сознательно борются за интересы классов эксплоататорских, имеется немало искренних идеологов буржуазии, которым революция не открыла еще глаз на то, что борьба их бесполезна, что «правда» их не соответствует исторической необходимости, что пред лицом истории «правда» эта оказывается ложью и обречена на гибель, что интересы «культуры», «прогресса», «человечества» будут тогда лишь защищены ими, когда они откажутся от своей сегодняшней классовой «правды» и примкнут к великому революционному движению пролетариата, открывшего в октябре семнадцатого года новую главу в истории мировой культуры.

VI.

Что представляла собой русская интеллигенция к началу нынешней революционной эпохи? Невысокое развитие нашего капитализма, подавляющее большинство сельскохозяйственного населения, значительные обывательские слои, мало развитая, немощная и неопытная буржуазия, весьма сплоченная бюрократия, разложившееся дворянство — вся эта разношерстная масса, не имевшая твердой классовой конструкции, была сжата тисками самодержавия, которые равно давали чувствовать себя крупному инженеру, мелкому ремесленнику, деятелю свободных профессий и фабричному рабочему. Один лишь пролетариат был классом, хотя и небольшим, но крепко сколоченным, с революционной идеологией и усвоенным опытом борьбы западно-европейского рабочего класса. До 1905 года все классовые и сословные образования ощущали себя в большей или меньшей степени, но одинаково неудобно в колодках царско-бюрократического строя.

Вопрос о завоевании политических свобод в продолжение всего девятнадцатого века был краеугольным камнем интеллигентских идеологий. Но покуда отсуствовала организованная массовая сила — революционная борьба не шла дальше партизанщины и разрозненных попыток организовать неподдававшуюся организации крестьянскую массу. С выступлением на сцену рабочего класса — такая сила оказалась на-лицо. Симпатии всех групп интеллигенции, не исключая буржуазных, были обеспечены; буржуазия льстила себя надеждой, что, прежде чем появится на русском горизонте призрак коммунизма, нам придется пережить 1789, 1830, 1848 и 1871 г.г.

Симпатии буржуазной интеллигенции к рабочему классу питались еще существованием так называемой программы-минимум социализма. Полурадикальное, полулиберальное разрешение задач этой «минимальной» программой способствовало тому обстоятельству, что подавляющая часть русской мелко- буржуазной интеллигенции, можно сказать, ее главная масса, оказалась окрашенной в социалистические цвета, хотя по своему воспитанию, по классовым своим связям она, за небольшими исключениями,

ни в малой степени ни была проникнута подлинно-социалистическими идеалами [1]).

На Западе интеллигенция в широких своих слоях никогда не была социалистической. «О массовом притоке интеллигенции к социал-демократам нет и помину ни в одной из европейских стран», — писал в 1910 г. Л. Троцкий. Статья эта, о которой мы уже говорили, содержит интереснейшие соображения, почему западная интеллигенция не примыкала к социализму.

«Самый широкий приток интеллигенции к социализму, — пишет Троцкий, — и это относится ко всем европейским странам — происходил в первый период существования партии, когда она находилась еще в стадии детства. Эта первая волна принесла с собой самых выдающихся теоретиков и политиков Интернационала. Чем более европейская социал-демократия росла, чем бо́льшие рабочие массы об'единяла вокруг себя, тем слабее—не только относительно, но и абсолютно — становится прилив свежих элементов из интеллигенции. «Лейпцигер Фольксцейтунг» в течение долгого времени безуспешно разыскивала через газетные об'явления редактора-академика. Тут как бы сам собою напрашивается вывод, целиком направленный против Адлера: чем определеннее социализм выявлял свое содержание, чем доступнее становилось для всех и каждого понимание его исторической миссии, тем решительнее интеллигенция отступала от него. Если это еще и не значит, что ее пугал социализм сам по себе, то во всяком случае ясно, что в капиталистических странах Европы должны были совершаться какие-то глубокие социальные изменения, которые в такой же мере затрудняли братание академиков с рабочими, в какой облегчали сочетание рабочих с социализмом» [2]).

Чрезвычайно ценные строки. Они наметили всю историю отношений русской интеллигенции к революции.

VII.

Известный факт, что наша интеллигенция, не в пример западной, в своей значительной части была причастна к социалистическому движению, находит свое об'яснение в том обстоятельстве, что у нас, примерно до второго десятилетия нынешнего века, социалистическая партия переживала состояние детства. «Детский возраст» длился у нас дольше, чем на Западе: это была та цена, которую пришлось уплатить за отсталость нашего капиталистического

---

[1]) Б. И. Горев в указанной выше работе высказывает ценные мысли о той роли, которую сыграла „социалистическая идеология“ в качестве маски, скрывавшей подлинные буржуазные домогательства интеллигенции.

„... социализм и даже анархизм, — пишет т. Горев, — для массы революционной интеллигенции послужил лишь временным этапом, вызванным всей социальной обстановкой эпохи в ее основной и коренной задаче—бороться за политическое раскрепощение России, за свободу деятельности все той же мелко-буржуазной интеллигенции, свободу, которая и явилась бы внешним идеологическим выражением торжества новых капиталистических отношений“,—„На идеологическом фронте“, стр. 68.

[2]) „Литература и революция“, указ изд., стр. 348.

развития. Можно даже говорить о традиционной социалистичности большинства русских интеллигентов. Дети ремесленников, учителей, врачей, чиновников, представителей мелкой и средней буржуазии, — они с юных лет копили в себе протест против окружающих их бытовых, политических и экономических условий.

Широкие слои необеспеченной молодежи, брошенные в борьбу за существование, — как могли они не чувствовать симпатии к народу, в котором видели собрата по несчастью! Некрасов и Надсон были кумирами русской интеллигенции именно потому, что в поэзии их ключом била эта симпатическая нежность к голодному собрату. Но «народ», кроме того, что возбуждал сочувствие, был еще огромным резервуаром энергии, которая — если только научиться ею управлять — сможет перестроить мир так, как этого требуют интересы «человечества». И если надо было к кому-нибудь апеллировать, если было необходимо отыскать во внешнем мире точку опоры для такой «радикальной» перестройки, — поиски неизменно направлялись в сторону «народа». Потому-то народолюбие и рабочелюбие было постоянной атмосферой нашей высшей школы—питомника молодых кадров буржуазной интеллигенции. Для всякого порядочного студента или курсистки был обязателен идейный стаж в экономическом (марксистском) или философском (народническом) кружке. Это не мешало, конечно, значительной части молодежи по окончании университета пускать глубокие корни в жизнь и, заполучив теплое местечко, менять демократические косоворотки на буржуазные пиджаки.

Таковы были обстоятельства, в силу которых в России «попутчиков» социализма оказалось больше, чем подлинных социалистов. Ряды социалистических партий оказались заполненными элементами, которые по своему социальному происхождению, классовой психологии, по личным связям были чужды рабочему классу и крестьянству. В числе таких «попутчиков» были люди, имевшие за плечами тюремный и каторжный стаж. И все-таки—этот почтенный стаж не вытравил из душевных глубин дурного наследства класса-матери.

Мне вспоминается любопытная, почти пророческая статья, напечатанная в «Летописи», если не ошибаюсь, в 1915 году. Принадлежит она перу весьма видного, по тому времени, революционера - философа и подписана именем Василия Темного. Я не стану открывать псевдонима. Рано или поздно это сделает сам автор. Статья была направлена против военных писаний Плеханова и заострена против идей так называемого революционного оборончества, которые по существу защищали интересы буржуазии под маской интересов демократии. Смысл статьи заключался в том, что даже в Плеханове, в известном вожде рабочего класса, но вышедшем из буржуазной среды, не умер еще преданный старым господам лакей Фирс («Вишневый Сад» Чехова), для которого «барская усадьба» оказалась неистребимой душевной ценностью.

Статья вызвала град нареканий на редакцию журнала и на автора, осмелившихся святотатственно поднять руку на вождя революционного оборон-

чества. Автор, помню, лишь усмехался язвительно. Но после Октябрьской революции, очутившись в лагере меньшевиков, он с успехом в своей статье имя Плеханова мог заменить собственным именем. И в его душе, как оказалось, не умер старый Фирс. Такова ирония судьбы.

Но если так могло случиться с испытанными революционерами, что же сказать о людях менее стойких и глубоких, менее закаленных в борьбе? А ведь широкая масса рядовых социалистов, хотя и прошедших искус ссылки и эмиграции, состояла именно из людей среднего типа. Они порвали с учреждениями буржуазного строя, но не смогли вытравить до конца всех его идейных, психологических и бытовых корней, цепко притаившихся в глубинах души.

Покуда подполье существовало под прессом реакции, скованные обручами извне внутренние антагонизмы среди революционной интеллигенции проявлялись лишь в междупартийных и фракционных столкновениях. Но стоило лишь распасться обручам, как антагонизмы, не сдерживаемые внешней силой, разорвали на куски казавшуюся до того единой революционную интеллигенцию.

Дальнейшая история интеллигенции известна. Перед лицом небывалых исторических задач, когда во имя великой цели приходилось жертвовать не только теми или иными предубеждениями и вкусами, но самой жизнью, революционные интеллигенты *обрели в душе крепкую привязанность к* учреждениям буржуазной культуры, ко всему буржуазному строю и к отдельным представителям этого строя. На словах, в программах и платформах, на с'ездах и в дискуссиях, в полемических статьях толстых журналов и подпольной прессе было куда легче, оказывается, провозглашать социальную революцию и уничтожать капиталистический строй. Когда же дело дошло до самого уничтожения, оказалось, что в пороховницах значительной части революционной интеллигенции пороха не имеется. Наступила полоса измен, позорнейшего союза псевдо-революционной интеллигенции с контр-революционной буржуазией.

Спешим оговориться. Когда мы заявляем, что русская народолюбивая интеллигенция в самый тревожный для народа момент оказалась в союзе с его врагами, мы не имеем в виду, конечно, адвокатов, врачей, инженеров, журналистов, депутатов, земцев и т. п., которые в массе своей были и не могли не быть идеологами буржуазии. По психологии своей, по положению, которое занимали они в капиталистическом хозяйстве и в органах власти, эти люди могли быть защитниками интересов именно буржуазного класса. По происхождению, воспитанию, по источникам средств к существованию, по образу жизни, по вкусам, привычкам, по мировоззрению своему они были подлинными буржуа, а вовсе не «домашней прислугой» буржуазии, как заметил в своей статье Б. И. Горев. Совершенно поэтому естественно, что в эпоху, когда рабочий класс восстал против буржуазного господства, они не могли не стать стеной на защиту самих себя и своего класса. Ополчаясь против пролетарской революции, буржуазная интеллигенция исполняла свое социальное назначение. И было бы, конечно, наивностью обвинять ее в предательстве и н т е р е с о в народа, которые социально и психологически

были ей чужды. Другое дело, когда мы переходим к оценке положения, занятого в классовой войне группами, именовавшими себя «социалистами». Меньшевики и эс-эры, широкие круги народолюбивой и рабочелюбивой интеллигенции, которые до февральской революции шли плечом к плечу с рабочими и крестьянами, в период классовой войны 1917 и 1918 годов, оказались по ту сторону баррикады. Именно о предательстве этих кругов только и может итти разговор. Революционные на словах, эти круги оказались контр-революционными на деле.

VIII.

Ни самодержавие, ни русская буржуазия, ни революционная интеллигенция не ожидали той стремительности, с какой революция в течение полугодия начисто ликвидировала царизм, бюрократию и господство капиталистической буржуазии. Застигнутые врасплох, связанные множеством тончайших, но крепких нитей с буржуазным классом и буржуазными учреждениями, революционные интеллигенты стали покидать старые ряды, рассчитывая поставить преграды дальнейшему развитию революции. Они не были бы, конечно, «идеологами», если бы не вопили при этом о варварстве большевизма, который - де смоет до основания «все завоевания общечеловеческой культуры» и так далее, и тому подобное. По существу же на наших глазах произошло то самое явление, которое отчетливо сформулировал т. Троцкий в статье своей, несколько раз нами цитированной: «Чем определеннее социализм выявлял свое содержание, чем доступнее становилось для всех и каждого понимание его исторической миссии, тем решительнее интеллигенция отступала от него». Определеннее всего «социализм» выявил свое содержание именно в октябре 1917 года. Это обстоятельство и вызвало самое решительное «отступление» интеллигенции, превратившееся в отступничество, которым и закончился первый акт «драмы» русской революционной интеллигенции. Но крайне определенно «выявив» свое содержание, социализм, вместе с тем, продемонстрировал некоторые обстоятельства, которые не могли не оказать могущественного влияния на дальнейшую судьбу интеллигенции. Этим обстоятельством было вышедшее победителем из борьбы, окрепшее и прочно ставшее на ноги, рабоче-крестьянское государство. Что казалось «отступившей» интеллигенции сказкой, причудой, несбыточной утопией, — осуществилось пред ее изумленным взором. На ее глазах, под огнем борьбы, в голоде и холоде, отрезанные от всего мира, лишенные какой бы то ни было поддержки извне, отбиваясь от врагов, наседавших с севера и с юга, с востока и с запада, — из праха и пепла рабочие и крестьяне воздвигли государство, к которому обращено сочувствие трудящихся всего мира. Интеллигенты вопили о варварах, разрушающих культуру. «Варварское» государство, оказывается, культурное наследство не только сберегло, но приумножает. Они истерически рыдали на могиле Великой России — рабоче-крестьянское государство поднялось на такую ступень международного величия, до

которой никогда не подымало страну презренное самодержавие. Они скорбели о разгромленном безвозвратно народном хозяйстве, основе национального благополучия — и вот (это им казалось менее всего вероятным) рабоче-крестьянская республика залечивает раны и осмеливается выступать на международном рынке. Как должны были все эти обстоятельства подействовать на сознание наиболее «революционных» интеллигентов? Не создавались ли этими обстоятельствами предпосылки для нового, последнего пересмотра старых идеологий? На этот вопрос история ответила утвердительно. Последние два-три года весьма убедительно говорят нам о тех новых «переоценках», которые производит интеллигенция под диктовку нелицеприятного опыта.

Испепеляются старые интеллигентские «правды». Сходят со сцены идеологи, не вынесшие тяжести разгрома. Продолжают бороться, или, правильнее сказать, делают вид, что борются, некоторые группы — наиболее непримиримые, наиболее заинтересованные в реставрации, наименее способные усвоить уроки прошлого. Оборачиваются спиной к вчерашнему дню и протягивают к нам руки — третьи, молодые, жизнеспособные элементы эмиграции.

Старая интеллигенция умерла и не воскреснет, потому что не возвратится вчерашний день с ушедшими в прошлое экономическими предпосылками, которые обусловливали господствующую роль интеллигенции в общественном развитии. Переходная эпоха от капитализма к коммунизму характеризуется все расширяющимся вовлечением широких трудящихся масс в общественную работу, их самодеятельностью во всех областях культуры и хозяйства. Русская интеллигенция потому только и смогла возникнуть и развиваться, что широкие массы принуждены были выполнять исключительно черную физическую работу, передоверив интеллигенции функции «заведывания и руководства». Значение интеллигенции в нашу эпоху падает. Одна часть ее руководящих функций из самостоятельной делается подчиненной: руководство борьбой. Другая часть становится достоянием самодеятельных народных масс — классовое самосознание, искусство, знание в широком смысле, просвещение. Третья — превращается в профессиональную функцию в тесном смысле — спецы, инженерия, наука, педагогика. Вместе с победой рабочего класса интеллигенция обрекается на постепенное растворение в победившем классе, ибо исчезает общественная необходимость в выделении руководящих и организаторских функций в руках некоторой группы [1]). Об'ективные условия для существования интеллигенции уходят в прошлое: монополия на знание делается достоянием всего народа. Это — величайшее культурное завоевание, которое когда-либо делало человечество.

Лучшие представители старой гвардии интеллигенции поняли это. Великая пролетарская революция получила свое признание со стороны людей, наиболее требовательных, наименее способных увлекаться — людей буржуазной науки. В этом смысле большое историческое значение имеет всесоюзный с'езд научных работников, состоявшийся в ноябре 1923 года в Москве.

¹) Правильные соображения о грядущем „конце“ интеллигенции высказывает М. Рейснер в указанной выше статье, напечатанной в журнале „Печать и Революция“.

Устами отдельных членов этого с'езда подведены итоги борьбы, которую вела интеллигенция против пролетарской революции. Мы приведем некоторые из этих итогов.

«Я горжусь, — говорил на с'езде проф. С. А. Котляревский, — я счастлив тем, что живу в этот великолепный, изумительный исторический период. Впервые я чувствую, что не только живу, но и строю жизнь».

«За деревьями поверхностных статистических подсчетов итогов внешнего разрушения,—заявляет проф. Н. К. Кольцов (биолог),—я вижу лес, я вижу действительно историческую, грядущую статистику гигантского творчества, вырастающего за эти годы. Никогда еще наука не была так жизнеспособна и так близка к действительной жизни, как сейчас. Я вижу, что весь мир действительно перестраивается заново, и меня не пугает та катастрофа, которая угрожает теперь германской науке: в перестраивающемся заново мире наука расцветает так, как никогда еще не расцветала».

Проф. Кравец (химик).—«Я рассматриваю революцию как химик, По-моему, это — гигантский прогрессивный процесс, притом процесс, совершающийся в колбе истории не медленным темпом, а (и это служит его особому успеху) с огромной быстротой, при чем возбудителем быстроты, «катализаторами», являются большевики».

Академик Бехтерев.—«Еще в 1920 году, после моих публичных выступлений в пользу Советской власти, мне товарищи по науке проходу не давали, считали изменником, предателем. Сейчас же в ученом кругу считается даже странным не признавать огромных успехов и исторической мудрости октябрьской революции. Можно ли бояться хвалить большевиков?»

Проф. Сакулин.—«Впервые за историю человечества совершается действительная творческая смычка между физическим и умственным трудом, между рабочим классом и наукой. Огромные эмоциональные силы социальной революции, развертывавшиеся до сих пор почти стихийно, будут теперь планомерно организованы. В таком союзе революция не может не победить» [1]).

Эти речи знаменуют новую эпоху в истории русской культуры. Старая передовая интеллигенция мечтала о тех временах, когда «народ» сделается строителем своей жизни. Эти времена наступили. Впервые в истории человечества осуществляется в гигантских размерах опыт коллективного труда силами всех членов общества в интересах всех членов общества. Этот опыт начат был вопреки воле большинства русской интеллигенции, против нее, без ее содействия. Жизнь показала всю обоснованность, историческую необходимость и культурную полезность его. В борьбе с этим «русским опытом» интеллигенция потерпела крушение. Перед ее разрозненными остатками стоит задача собрать все свои интеллектуальные силы, мобилизовать нерастраченные запасы энергии, чтобы вложить свою долю участия в великую историческую перестройку, начатую во имя тех самых великих целей, которые красовались на знаменах старой революционной интеллигенции.

---

[1]) Цит. по „Правде", № 272, 1923 г.

Великая историческая проверка.

От Февраля к Октябрю.

А. Мартынов.

ГЛАВА I.

Начало революции и контр-революции.

Когда в 1905 г. разгорелся спор между меньшевиками и большевиками о тактике в Русской революции, меньшевики, ссылаясь на опыт Великой Французской революции и на тактику Маркса во время германской революции 1848 г., утверждали, что успешная революция идет всегда по восходящей линии, подымаясь *со ступеньки на ступеньку* и что мы соответственно этому в борьбе с царским самодержавием должны вначале помочь прийти к власти либеральной буржуазии, а затем, когда она обанкротится, толкнуть к власти радикальную буржуазную демократию, при чем мы сами до конца должны оставаться лишь партией крайней оппозиции. Большевики, наоборот, утверждали, что при наших исторических условиях этот под'ем со ступеньки на ступеньку отнюдь не обязателен, что мы в русской революции можем и должны держать курс *непосредственно* на диктатуру пролетариата и крестьянства.

Развитие второй русской революции от Февраля до Октября как будто в одном отношении подтвердило правильность меньшевистской схемы: революция сначала вынесла к власти умеренно-либеральное буржуазное правительство Милюкова и Гучкова; дальнейшее развитие революции вынесло к власти демократическое правительство Керенского (коалицию либералов с социалистами); затем революция поднялась на третью ступеньку, и у власти очутился пролетариат, опирающийся на крестьянство. Правда, меньшевики, строя свои схемы в 1905 году, не предвидели, что они на второй ступеньке, вступив в коалицию с либералами, сами будут выполнять роль буржуазной демократии; не предвидели они также, что наша революция подымется еще на третью ступеньку и превратится в социалистическую. Но повторяю: в одном отношении, поскольку меньшевики делали прогноз, что наша революция в случае успеха будет подыматься со ступеньки на ступеньку, их прогноз оправдался.

Следует ли из этого, что большевики были неправы в 1905 г., отказавшись даже от условной поддержки кадетов и взявши курс непосредственно на диктатуру пролетариата и крестьян? Значит ли это, что они были неправы в 1917 году, отказавшись от условной поддержки всех временных правительств и взявши сразу курс на власть Советов? Значит ли это, что они должны были в 1917 году копировать ту тактику («вместе бить, врозь итти»), которую Маркс рекомендовал в 1850 г. на основании опыта Великой Французской революции. Я думаю, что такой вывод был бы неправилен, ибо аналогия между развитием нашей революции и французской весьма поверхностна.

Во Франции 1789 — 1793 г.г. революцию двигали вперед и народные массы снизу и каждая из сменявших друг друга у власти партий вначале своего господства — сверху. Там каждая из партий, сменявших друг друга у кормила правления, — и фейльянты, и жирондисты, и якобинцы — была до поры до времени революционна не на словах, а на деле. В России же в 1917 году от февраля до октября революция двигалась только снизу; временные же правительства, как первое, чисто буржуазное, так и последующие, коалиционные, все время лишь тормозили и под конец затормозили революцию, и только большевики, взявши власть в свои руки, использовали государственный аппарат для того, чтобы двинуть революцию вперед. Другими словами, в нашей революции, в отличие от Великой Французской революции, у власти стал революционный класс впервые только на третьей ступеньке, только после октябрьского переворота; до того же революция развивалась, поскольку развивалась, только под напором народных масс снизу, неизменно наталкиваясь на контр-революционное сопротивление сверху, со стороны тех классов, которые держали в своих руках аппарат государственной власти. У нас не было ни одного момента, когда буржуазия или городская мелкая буржуазия (суб'ективно социалистическая), став у власти, двигала бы вперед революцию сверху. Это обстоятельство было в высокой степени знаменательно. Оно дает ключ к пониманию социального характера нашей революции. Не уяснивши себе этого, невозможно правильно оценить роль меньшевиков и большевиков в нашей революции. Поэтому мы на этом вопросе подробно остановимся.

Кто развязал нашу революцию? Во время Великой Французской революции прелюдией к революции послужил конфликт между так называемыми «парламентами», органами привилегированных сословий, и правительством. От аристократических «парламентов» исходило требование созыва Генеральных Штатов, которые неожиданно для инициаторов созыва впервые выкинули знамя революции. Французские «парламенты», делая свой роковой шаг, не боялись революции, не боялись по той простой причине, что они не подозревали возможности революции. Им и в голову такая мысль не приходила. И у нас прелюдией к февральской революции послужил конфликт между Думой и царским правительством. Отличались ли думские вожди, вожди «прогрессивного блока», в момент их конфликта с правительством такой же политической наивностью, такой же беспечностью, как члены французских

«парламентов»? Отнюдь нет! Они знали о возможности революции в России. Они пуще огня боялись ее. Они всячески старались ее предупредить.

П. Милюков в своей «Истории русской революции» пишет, что «общественное мнение единодушно признало 1 ноября 1916 г. началом русской революции». Это был тот день, когда Милюков выступил в Думе со своей нашумевшей речью, в которой он поставил точки над «i», в которой он указал, что «темные силы» группируются при дворе вокруг императрицы. Эта речь нашла живейший отклик в стране [1]). Милюкову хочется, чтобы его на этом основании считали «героем революции», хотя бы и неудачной с его точки зрения. Но почему бы не считать таким же «героем революции» Пуришкевича, который 17 декабря убил Распутина в сообществе с Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем? Почему не считать таким «героем революции» генерала Крымова, который, по свидетельству Милюкова и Деникина, в начале 1917 года подготовлял дворцовый переворот? Почему Пуришкевич на такую роль не может претендовать, Милюков понимает. По поводу убийц Распутина Милюков пишет: «Они вышли из среды, создавшей ту самую атмосферу, в которой расцветали Распутины. Это (убийство Распутина. *А. М.)* было... выражение охватившего эту среду страха, что вместе с собой Распутины погубят и их» [2]). Это верно. Аналогичное чувство страха толкало на путь дворцового переворота и генерала Крымова. По свидетельству Родзянко, генерал Крымов ему говорил: «Так дальше итти нельзя... Наши блестящие успехи сводятся на-нет, и в армии, в ее солдатском составе, растет недовольство и недоверие к офицерству вообще и начальству в частности... дисциплине грозит полный упадок» [3]). А интересы какой «среды» и какие мотивы толкали на путь оппозиции Милюкова и компанию? На это он сам отвечает: «Мы видели, какими побуждениями руководились парламентские круги, делавшие оппозицию правительству. Их главным мотивом было желание довести войну до успешного конца в согласии с союзниками, а причиной их оппозиции — все возрастающая уверенность, что с данным правительством и при данном режиме эта цель достигнута быть не может». Но, желая изменить режим ради победы, они ни на минуту не упускали из виду того, что при этом нужно избегать таких шагов, которые могли бы вызвать потрясения, народное движение, которые могли бы накликать революцию. Поэтому они, по признанию Милюкова, лишь «упираясь» пришли к требованию назначения правительства «общественного доверия», а позже «ответственного министерства». «Против идеи же достигнуть этой цели революционным путем, — признается Милюков, — парламентское большинство боролось до самого конца» [4]). Но они не только избегали революционного пути к победе. Они шли гораздо дальше. Как ни страстно рвался Милюков к Константинополю и проливам, именно этому пламенному «патриоту» принадлежало крылатое слово: «Лучше поражение, чем революция». Так они

---

[1]) См. П. Милюков, „История второй русской революции", т. I, стр. 20.

[2]) Ibidem, стр. 21.

[3]) См. Г. Лелевич, „Как они „делали" революцию", стр. 13.

[4]) См. Милюков, „История второй русской революции", т. I, стр. 22.

думали и соответственно этому они действовали. Когда Милюкову стало известно, что рабочих призывают к устройству демонстрации у Госуд. Думы 14 февраля, он в письме в редакцию «Речи» заявил, что «эти советы... исходят из самого темного источника. Последовать этим советам — значит сыграть на руку врагу. Поэтому я обращаюсь с убедительной просьбой ко всем, услышавшим эти советы и увещания, не принимать участия в демонстрациях 14 февраля» [1]). Позиция Милюкова была позицией всего «прогрессивного блока». Родзянко, вспоминая о создании «прогрессивного блока», совершенно точно определил его задачи: «Прогрессивный блок в Гос. Думе явился последствием необходимости самообороны и борьбы с нарождающимся революционным движением в стране» [2]).

Ясно, что обострившийся конфликт Гос. Думы с правительством был не «началом русской революции», а, наоборот, попыткой ее предотвратить. И все-таки, вопреки намерениям инициаторов конфликта, он создал благоприятную обстановку для революции, ибо он выявил распад власти и полную изолированность царского правительства. Еще больше, чем раскол среди командующих классов, благоприятную обстановку для нее создал другой об'ективный фактор—экономическая разруха, которую неизбежно породила война в нашей отсталой стране, — расстройство транспорта, спекуляция и острая продовольственная нужда в городах. В докладе охранного отделения от 5 февраля говорилось: «С каждым днем продовольственный вопрос становится острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих касательство к продовольствию, самыми нецензурными выражениями. Следствием нового повышения цен и исчезновения с рынка предметов первой необходимости, явился новый взрыв недовольства, охвативший даже консервативные слои чиновничества. Если население еще не устраивает голодных бунтов, то это еще не значит, что оно их не устроит в ближайшем будущем» [3]).

Охранное отделение ожидало наступления голодных бунтов в ближайшем будущем, но оно ошиблось. Не наступил голодный бунт, а вспыхнуло восстание пролетариата с определенными политическими лозунгами, наступила революция. Это показывало, что, помимо об'ективных условий, благоприятных для народных волнений, в феврале имелся на-лицо также главнейший суб'ективный фактор революции — политическая зрелость пролетариата. Наш пролетариат прошел хорошую школу в первую революцию 1905 года, и во время войны, особенно в 1916 г. и начале 1917 г., в рабочей среде велась усиленная подпольная революционная работа. Поэтому острая продовольственная нужда вызвала в февральские дни не голодные бунты, а революционное пролетарское восстание. Не случайно первое открытое выступление на улице питерских рабочих 23 февраля имело место по политическому поводу,— было приурочено к «женскому дню»; не случайно питерские рабочие в февральские дни не бунтовали у себя на окраинах, а с удивительным героизмом

---

[1]) А. Шляпников „17-й год" стр. 50.
[2]) См. Г. Лелевич, „Как они „делали" революцию", стр. 7.
[3]) См. Н. Авдеев, „Революция 1917 г." (хроника событий), стр. 17.

и настойчивостью старались каждый день прорваться через полицейские заставы к центру города, к Невскому, и столь же настойчиво стремились к тому, чтобы привлечь армию на свою сторону. Это было планомерное и сознательное восстание против царского самодержавия.

Но это было вместе с тем восстание против войны. Питерские рабочие в большинстве своем были так определенно настроены против войны, что даже оборонцы, приспособляясь к этому настроению, в конце января в выпущенном ими листке вынуждены были заговорить о «ликвидации войны силами самого народа» [1]). Несмотря на то, что меньшевики-оборонцы имели возможность легальным путем воздействовать на рабочих, их лозунги отклика у рабочих не находили. На их призыв к питерским рабочим устроить 14 февраля, в день открытия Гос. Думы политическую демонстрацию перед зданием Думы, рабочие не отозвались, и Керенский по этому поводу горько упрекал большевиков: «Вы разбили подготовленное с таким трудом движение демократии!» [2]). В этот день питерские рабочие делали выступления, но не около Гос. Думы, и не под оборонческими лозунгами: Новолесснеровцы вышли с пением революционных песен и с криками: «Долой войну!» и «Хлеба!». А путиловцы вышли на улицу с двумя красными знаменами с надписью: «Долой правительство, да здравствует республика!» и «Долой войну!» [3]). Наконец, при первом массовом выступлении рабочих на улице, в «женский день», 23 февраля, толпы демонстрировавших рабочих, пробивая себе дорогу к центру города, снимали работающих с криками: «Долой войну!» и «Хлеба!» [4]). И в разных частях города в этот день появились красные знамена с революционными надписями и требованиями свержения самодержавия и прекращения войны [5]). Эти лозунги, с которыми питерский пролетариат н а ч а л февральскую революцию, во имя которых он устроил восстание в февральские дни, нужно хорошо запомнить для того, чтобы оценить, какую роль сыграли меньшевики и эс-эры после того, как восстание оказалось победоносным. Но об этом речь будет впереди.

Пролетариат о д и н выступил в февральские дни в открытый бой с царским самодержавием, но победить в этом бою он мог, конечно, только потому, что армия, точнее, солдатская масса, вначале соблюдала сочувственный нейтралитет по отношению к рабочим, боровшимся с полицией, а через несколько дней открыто перешла на сторону рабочих. Уже на второй день после начала рабочих демонстраций, 24 февраля, обнаружилось, что казаки, эта благонадежнейшая часть армии, втайне сочувствует рабочим: казачий взвод, набредший на Литейном на уличный митинг, тихим шагом, рассыпным строем прошел через толпу; то же повторилось у памятника Александра III, где казаки с явным сочувствием присутствовали на митинге, а потом, в ответ на стрельбу полицейских в толпу, дали залп в полицию. Во всех

---

[1]) См. А. Шляпников, „17-й год", стр. 41.
[2]) Ibidem, стр. 47—57.
[3]) Ibidem, стр. 55—56.
[4]) Ibid., стр. 74.
[5]) См. Н. Авдеев, „Революция 1917 г.", стр. 32.

полицейских сводках в эти дни выражалось недовольство полиции поведением казачьих частей: 25 февраля донские казаки освобождали арестованных и били при этом городовых, а 26 февраля уже начались настоящие солдатские восстания. 26 февраля рота Павловского полка открыто пыталась расправиться с учебной командой за ее участие в подавлении «беспорядков», а 27 февраля восстали волынцы, что решило судьбу революции[1]).

Чем питалось недовольство солдат, чего они хотели, что побудило их единодушно присоединиться к восстанию рабочих? Глубокое недовольство охватило накануне революции всю армию. Недовольно было и все офицерство: его возмущали гнилые бюрократические порядки и распутиновщина, которые заставляли его отчаиваться в благополучном исходе войны; недовольство офицерства вытекало из «патриотической тревоги», как недовольство всей буржуазии. Разделяла ли эту «патриотическую тревогу» солдатская масса в февральские дни? Можно с уверенностью сказать, что нет. Настроение солдат, их отношение к войне накануне февраля и в февральские дни очень резко отличалось от настроения офицеров. Их недовольство шло гораздо дальше: они хотели не устранения помех к успешному ведению войны, а ликвидации самой войны, а заодно и ликвидации всех властей как военных так и гражданских, которые заставляли народ воевать. Именно поэтому между солдатской массой и офицерством возник раскол с первых же дней революции. Несмотря на то, что офицерские кадры за 2½ года сильно обновились, впитав в себя много буржуазно-демократических элементов, не было ни одного случая, чтобы солдаты перешли на сторону восставших рабочих под руководством своих офицеров, солдатские части делали это неизменно без своего командного состава и против него. Беспартийный социалист Станкевич пишет с укоризной: «Солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только без офицеров, но и помимо офицеров, а во многих случаях против офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказалось, по официальной... терминологии, совершили великий подвиг освобождения. Если это подвиг, и если офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу,—ведь ему это было легче и безопаснее сделать. Теперь, после факта победы, оно присоединилось к подвигу. Но искренне и на долго ли? Ведь в первые минуты оно растерялось, попряталось, попереодевалось... Пусть некоторые из офицеров прибежали и присоединились после выхода солдат через пять минут... Эти пять минут составили непроходимую пропасть[2])... Почему солдаты совершили этот революционный подвиг в то время, как офицеры растерялись и испугались? Потому что солдаты, эти переодетые мужики, в противоположность офицерам, у ж е в ф е в р а л ь с к и е д н и предпочитали умереть за дело рабочих и крестьян, чем на поле брани, в чуждой и ненужной им войне, потому что они к т о м у в р е м е н и у ж е возненавидели войну. И это нужно хорошо усвоить, чтобы

---

[1]) А. Шляпников, „17-й год", стр. 107, 110, 111, 112, 137, 138. Авдеев, „Революция 17-го года", стр. 36.

[2]) См. Г. Лелевич, „Как они „делали" революцию", стр. 36.

понять весь дальнейший ход революции и ту роль, которую в ней сыграли меньшевики и большевики.

После пережитого и некоторые кадеты задним числом сообразили, что не только злые агитаторы-большевики внушили солдатам во время революции ненависть к войне, что сами солдаты еще до революции ее возненавидели. Более проницательные же генералы, ближе соприкасавшиеся с солдатской массой, и тогда это ясно понимали, но надеялись излечить солдат палочной дисциплиной. Кадет Набоков в своих воспоминаниях пишет: «Я припоминаю, как, в одной из моих поездок... вместе с Милюковым, я ему высказал (это было еще в бытность его министром иностранных дел) свое убеждение, что одной из основных причин революции было утомление войной и нежелание ее продолжать... Мне кажется, что у Гучкова было это сознание. Я помню, что его речь в заседании 7 марта... дышала такой безнадежностью, что на вопрос, по окончании заседания, «какое у вас мнение по этому вопросу?», я ему ответил, что, по-моему, если его оценка правильна, то из нее нет другого выхода, «кроме заключения сепаратного мира с Германией» [1]). Далее тот же Набоков пишет: «Он (Милюков) не понимал, не хотел понимать и не мирился с тем, что трехлетняя война осталась чужда русскому народу, что он ведет ее нехотя, из-под палки, не понимая ни значения ее, ни цели, что он утомлен и что в том восторженном сочувствии, с которым была встречена революция, сказалась надежда, что она приведет к скорому окончанию войны... В моих бумагах хранится несколько писем, в то время и позже мною полученных от гр. Н. Н. Игнатьева, человека, прослужившего всю свою жизнь на военной службе... очень вдумчивого и серьезного человека... В этих письмах зазвучали такие ноты: ... война кончена, ... потому что армия стихийно не хочет воевать... Я показал одно из писем Гучкову, он его... вернул мне, сказав при этом, что он получает такие письма массами» [2]). Такой же вывод можно сделать из «Очерков русской смуты» генерала Деникина. Он в своих воспоминаниях, правда, не говорит прямо, что солдаты уже накануне революции не хотели воевать, но он вообще на основании своего военного опыта с грустью констатирует, что формула: «за веру, царя и отечество» не пустила глубоких корней в нашей народной душе: «Испокон века, — говорит он, — вся военная идеология наша заключалась в этой формуле... Но в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия достаточно глубоко не проникали... Казарма же, отрывая людей от привычных условий быта, от более... устойчивой среды с ее верой и суевериями, не давала взамен духовно-нравственного воспитания. В ней этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, заслоняясь всецело заботами и требованиями часто материального прикладного порядка... В солдатской толще, вопреки сложившемуся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней не имела» [3]). Имела ли или не имела эта идея корни в солдатской

---

[1]) См. В. Д. Набоков, „Временное Правительство", стр. 70—71.
[2]) Ibidem, стр. 106, 107, 132.
[3]) См. ген. А. И. Деникин, „Очерки русской смуты", т. I, стр. 8, 9, 16.

массе, об этом можно спорить. Одно несомненно, что трехлетняя война основательно вытравила из солдатской души и квасно-патриотическое и монархическое чувство. Об этом, между прочим, ярко свидетельствовал один инцидент, о котором П. Милюков рассказывает в своей истории революции: 2 марта Милюков в своей первой программной речи в Таврическом дворце от имени Временного Правительства заявил: «старый деспот... будет низложен. Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей». И вот, поздно вечером того же дня «в здание Таврического дворца проникла большая толпа чрезвычайно возбужденных офицеров, которые заявляли, что не могут вернуться к своим частям, если П. Милюков не откажется от своих слов... Напуганный нараставшей волной возбуждения, Временный Комитет молчаливо отрекся от прежнего мнения» [1]).

Итак, мы видим во имя чего восстали рабочие и крестьяне в солдатских мундирах в февральские дни: первые сознательно, вторые — инстинктивно хотели низвергнуть романовскую монархию и покончить с империалистической войной. А чего хотела в это время оппозиционная буржуазия? Прямо противоположного. Мы уже видели, что накануне революции, во время конфликта между Гос. Думой и царским правительством, оппозиционная буржуазия добивалась назначения «министерства доверия» или «ответственного министерства» или, на крайний случай, замены Николая другим Романовым; но всего этого она добивалась ради оздоровления и укрепления монархии и предупреждения революции и ради доведения войны до победного конца.

На той же позиции осталась буржуазия, руководимая «прогрессивным блоком», в дни восстания. 26 февраля председатель Гос. Думы Родзянко прислал в ставку тревожную телеграмму, что «войска переходят на сторону рабочих и черни... необходима присылка в Петроград надежных войск» [2]). В тот же день он телеграфировал царю: «Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство... Медлить нельзя. Молю Бога, чтоб в этот час ответственность не падала на венценосца» [3]). Через день, когда уже восстал Волынский полк, он телеграфировал генералу Рузскому: «России грозит унижение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена» [4]). В тот же день, 27 февраля, он телеграфировал царю: «Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии» [5]). Но царь-чурбан и царица ничего не понимали, чтó вокруг них творится. 24 февраля царица писала Николаю: «Я надеюсь, что думского Кедринского (Керенского) повесят за его ужасную речь—это необходимо (военный закон

[1]) П. Милюков, „История второй русской революции", вып. I, стр. 31, 32.
[2]) См. Лелевич, „Как они „делали" революцию", стр. 15.
[3]) См. Авдеев, „Революция 17 года", стр. 39.
[4]) См. Лелевич, стр. 16.
[5]) См. Авдеев, „Революция 17 года", стр. 39.

военного времени)», а 25 *февраля она, несколько умерив свой пыл, писала* ему же: «Рабочим надо прямо сказать, чтобы они не устраивали стачек, а если будут, то посылать их в наказание на фронт». Царь же в ответ на тревожные телеграммы Родзянко сказал Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду отвечать»[1]. И вместо назначения «министерства доверия» царь послал в Петроград ген. Иванова с отрядом для установления диктатуры в столице... когда столица *была уже в руках революционных войск. Тогда только, когда обнаружилась* неизлечимая слепота царя, и только тогда, когда восстание уже окончательно победило, только в ночь с 1 на 2 марта думский Временный Комитет решил послать к царю делегацию из Гучкова и Шульгина с предложением отречься от престола в пользу наследника[2]. Но за династию думцы до конца стояли твердо и прекратили разговоры об этом лишь после того, как солдаты и железнодорожники арестовали Гучкова и пригрозили ему расстрелом в ответ на его возглас: «Да здравствует император Михаил!»; лишь после того, как думцы, по словам Родзянко, убедились, что «великий князь процарствовал бы всего несколько часов... что великий князь был бы немедленно убит и с ним все сторонники»[3]... Под грозным напором рабочих и солдат буржуазия прекратила р а з г о в о р ы о монархии, но продолжала втайне м е ч т а т ь, что им удастся еще воскресить ее, когда страсти улягутся.

Глубокая пропасть отделяла рабочую и солдатско-крестьянскую массу от буржуазии в февральские дни. Это были два враждебных лагеря, из которых один восстал против Романовской монархии и империалистической войны, а другой со страхом притаился, спрятав камень за пазухой против этих восставших, против этой «бездарной, бессознательной бунтарской стихии», как выражается об них с высокомерным презрением кадет Набоков в своих воспоминаниях. Когда царская власть была сломлена, оба лагеря выдвинули на ее место свои органы власти, буржуазия — думский Временный Комитет, а затем Временное Правительство, рабочие и солдаты — Совет раб. и солдатских депутатов. Классы, выдвинувшие эти два органа власти, преследовали противоположные цели. Казалось бы, что Совет и Временное Правительство должны были сразу вступить в борьбу за власть. Но этого не случилось — они, наоборот, с первого же дня стали искать друг в друге опоры. Почему состоялось это противоестественное и недолговечное соглашение и кто вовлек пролетариат в это дело?

Как только восстание победило на улицах Петрограда, декорация сразу переменилась. Буржуазия, буржуазная интеллигенция и рядовое офицерство сразу выкрасились в красный цвет, сделали, как французы говорят, хорошую мину в худой игре и стали приветствовать революцию. Бессильная прекратить революцию, буржуазия, надев на себя личину, попыталась ее возглавить,

---

[1]) См. ibid, стр. 36, 38, 40.

[2]) См. М и л ю к о в, „История второй русской революции, стр. 34, 35.

[3]) Ibidem, стр. 34, 35.

с тем, чтобы исподволь ее охладить и потушить. Это затаенное желание невольно разболтал Временный Комитет уже в первом своем воззвании, в котором говорилось, что «Временный Комитет Гос. Думы... нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка». Но эти тонкие ноты были мало доступны грубому слуху солдат, и революционная фразеология буржуазии в мартовские дни несомненно усыпила бдительность и мнительность неискушенных в политике солдатских масс. Наступило всенародное братание.

И Совет и его Исполнительный Комитет со своей стороны постарались замазать непримиримые противоречия между интересами буржуазии и рабоче-крестьянской массы, и в этом главную роль сыграли меньшевики и эс-эры. Накануне и во время восстания во главе революционных масс шли одни только большевики. Меньшевики-оборонцы попытались вызвать массы на улицу 14 февраля, чтобы поддержать Гос. Думу в ее конфликте с правительством. Но рабочие, как я уже говорил, на это не откликнулись, они были равнодушны к Думе. Интернационалисты - «межрайонцы» («об'единенцы») в своем возвании в начале февраля так же резко осуждали «оборонцев» и их политику поддержки Думы, как и большевики; но сами они придерживались политики пассивного выжидания. Они удерживали рабочих не только от выступления, приуроченного к открытию Гос. Думы, но и от какого бы то ни было уличного выступления в ближайшем будущем, на том основании, что «рабочий класс не вполне организован», что «армия... не связана тесно с рабочими массами», что «преждевременное выступление рабочих масс... может создать погромное движение рабочих масс» и т. д. Такой же позиции в то время придерживалась петербургская инициативная группа соц.-демократов-меньшевиков. Она в то время успела порвать с оборонцами и занять определенно интернационалистскую позицию. Но, критикуя в своем воззвании оборонцев и их призыв к демонстрации около Гос. Думы, меньшевики - интернационалисты подобно «об'единенцам» удерживали рабочих от всяких уличных выступлений. «Мы не имеем права, — писали они, — в угоду буржуазии с легким сердцем звать пролетариат на открытое массовое выступление, если не будем уверены, что оно является результатом накопившейся революционной энергии рабочего класса». Питерские меньшевики - интернационалисты и «об'единенцы», очевидно, не знали настроения рабочих масс, ибо они были от них оторваны еще более, чем оборонцы. Только одни большевики, в противовес лозунгу оборонцев—к Думе, выставляли действенный лозунг—на улицы, к Невскому. И если не сразу, то через пару недель питерские рабочие откликнулись на этот лозунг [1]. И во время восстания массами руководили одни только большевики.

Так обстояло дело до победы, но как только восстание победило, меньшевики и эс-эры ринулись в массы и сразу оттеснили большевиков. В Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов в мартовские

---

[1]) См. А. Шляпников, „17-й год", стр. 43—45, 47.

дни большевики были в ничтожном меньшинстве. Когда 2-го марта на заседании Совета большевики выступили с критикой программы, которая легла в основу соглашения Исполнительного Комитета Совета с Комитетом Думы о составе Временного Правительства, и когда они указывали, что в этой программе ничего не говорится ни о прекращении войны, ни о передаче земли крестьянам, ни о 8-часовом рабочем дне, депутаты встречали эти критические указания аплодисментами. Но когда все последующие ораторы, выступая против большевиков, доказывали, что такие важные вопросы должны решаться Учредительным Собранием, собрание с ними соглашалось, и когда после прений на голосование поставлен был вопрос, принять ли предложение Исполнительного Комитета об организации власти или предложение большевиков о создании власти самим Советом, из 400 депутатов за большевистское предложение голосовало только 19 человек! Даже многие из членов большевистской партии, поддаваясь враждебному к большевистским предложениям настроению массы депутатов, голосовали против своих товарищей по партии [1]).

Как же это случилось, что депутаты, выбранные рабочими и солдатами, в мартовские дни больше прислушивались к голосу меньшевиков и эс-эров, чем к голосу большевиков, которых требования вполне соответствовали настроению рабочих и солдатских масс и которые одни в февральские дни на улицах боролись с ними за эти требования? Отчасти мы на этот вопрос уже ответили. Внезапная переокраска в революционный цвет широких кругов буржуазии после победы восстания размягчила душу рабочих и особенно малосознательных солдат и внушила им надежду, что буржуазное Временное Правительство, действуя под контролем Советов, скоро соберет Учредительное Собрание, которое благополучно разрешит все наболевшие вопросы. Но это не все. До победы восстания рабочие больше всего ценили большевиков, потому что они учили, как в бой итти. Когда же восстание смело старую власть, на первый план выдвинулась задача овладения государственным аппаратом и управления государством. В этом же деле рабочие и солдаты склонны были больше довериться тем социалистам, которые были более тесно связаны с широкими кругами интеллигенции и с буржуазными кругами, имевшими известный опыт в государственном строительстве; тем более, что эти социалисты с первого же дня стали их запугивать перспективой гибели революции в случае изоляции пролетариата. Надо, впрочем, помнить, что в первые два месяца революции Совет оказывал все же кредит не меньшевикам и эс-эрам вообще, а специально интернационалистским, антиоборонческим элементам этих партий. Именно они задавали тон в Исполнительном Комитете первого состава. Вот что по этому поводу рассказывает Суханов: «Выборная часть Исполнительного Комитета была гораздо более левой и состояла в своем подавляющем большинстве из представителей Циммервальдского течения. Правую же, оборонческую часть, не имевшую значительного веса в начале, но полу-

---

[1]) См. А. Шляпников, „17-й год", стр. 240, 241.

чившую впоследствии руководящее значение в революции, составляли представители партий, командированные в Исполнительный Комитет центральными учреждениями. Что касается президиума... то Керенский немедленно оторвался от Совета, улетел в правое крыло дворца и затем сменил Таврический дворец на Мариинский и на Зимний... Члены думской соц.-демократической фракции... Скобелев и Чхеидзе, в течение первого периода революции упорно занимали позиции... непроходимого болота... Из остальных 12 членов Исполнительного Комитета, избранных в ночь на 28 февраля, четверо — Гриневич, Капелинский, Панков (рабочий) и Соколовский — были членами меньшевистской организации и принадлежали к ее левому Циммервальдскому крылу. Все четверо вошли впоследствии в обособленную группу меньшевиков-интернационалистов. К этим четверым вполне примыкали и во всех политических вопросах составляли с ними единую группу—Соколов, Стеклов и Суханов, бывшие тогда организационно вне всяких фракций... Перечисленные семь имен составляли уже большинство выборных членов. К ним слева примыкал Павлович-Красиков... а дальше налево шли большевики— Шляпников, Залуцкий и эс-эр Александрович. Правую Исполнительного Комитета из «выборных» представлял один махровый оборонец Гвоздев... В результате — Циммервальдским течениям в I Исполнительном Комитете было бы обеспечено совершенно прочное и устойчивое большинство. Однако на второй же день, первого марта, состав его был разбавлен представителями вновь образованной «солдатской секции»... при образовании эс-эровского большинства большая часть их примкнула к нему. Вначале же эти девять солдат делали зыбкой почву под левым большинством Исполнительного Комитета, но центра тяжести Исполнительного Комитета они не перемещали и физиономии его не изменяли» [1]).

Итак, тон задавали первое время в Исполнительном Комитете, а через него и во всем Совете, не оборонцы и не так называемые «революционные оборонцы», а меньшевики-интернационалисты. Но именно тогда обнаружилось, что в основном вопросе — об организации власти — между ними разницы не было. Большевики в марте месяце, до приезда Ленина, еще считали, что наша революция не выйдет за буржуазные рамки. Соответственно с этим они тогда еще не смотрели на Советы, как на особую систему управления государством. Но они считали, что революционное правительство должно быть создано исключительно из социалистических партий, которые окажутся большинством в Совете, что только революционная демократия, опирающаяся на Совет, взяв в свои руки государственную власть, сможет созвать Учредительное Собрание и осуществить основные задачи революции — учредить демократическую республику, ликвидировать войну, передать землю крестьянам и ввести 8-часовой рабочий день [2]). Меньшевики - интернационалисты в программе революции ничем в то время не отличались от большевиков. И доверия к буржуазии они тоже не питали. И, тем не менее, они были самым

[1]) См. Н. Суханов, „Записки о революции", книга I, стр. 180—182.
[2]) См. А. Шляпников, „17-й год", стр. 186, 187, 236, 237.

решительным образом против того, чтобы Совет взял государственную власть в свои руки, они были за то, чтоб власть формально была передана буржуазному Временному Правительству и чтоб Совет лишь контролировал правительство через посредство «контактной комиссии», и чтоб он оказывал на него давление снизу, и эта тактика сразу же восторжествовала в Совете без особенно сильного сопротивления.

Чем мотивировали советские меньшевики-интернационалисты свою позицию в вопросе о власти в мартовские дни? На этот вопрос подробно отвечает Суханов в своих «Записках о революции», рассуждения которого тем более показательны, что он в оборончестве не мог быть заподозрен, и что во время войны он и Стеклов играли наиболее активную роль в переговорах о соглашениях с Временным Правительством, вполне точно отражая настроение большинства Исполнительного Комитета первого состава. Мотивы Суханова и его единомышленников за передачу власти буржуазному Временному Правительству сводились к следующему: «Власть, идущая на смену царизму, должна быть только буржуазной... иначе переворот не удастся, и революция погибнет... В руках демократии тогда не было никаких сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций — ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных... Между тем распыленной демократии, если бы она попыталась стать властью, пришлось бы преодолевать непреодолимое: техника государственной работы в данных условиях войны и разрухи была совершенно непосильна для изолированной демократии. Разруха государственного и хозяйственного организма была уже тогда огромной... Государственная машина не только не могла стоять без дела ни минуты, но должна была с новой энергией, с обновленными силами... совершить колоссальную техническую работу». Но «вся наличная государственная машина, армия чиновничества, цензовые земства и города, работавшие при содействии всех сил демократии, могли быть послушными Милюкову, но не Чхеидзе». «Но все это, так сказать, техника. Другая сторона дела — политика... Позиция цензовой России в революции могла внушать сомнения на тот случаи, если цензовикам предстоит быть властью, но в случае власти демократии их позиция не могла внушать сомнения. В этом случае вся буржуазия, как одно целое, бросит всю наличную силу на чашу весов царизма и составит с ним единый накрепко спаянный фронт—против революции»... Наконец, вопрос о войне. Если б советские партии взяли власть в свои руки, «это означало бы немедленную ликвидацию войны» со стороны демократической России... но присоединить ко всем трудностям переворота еще мгновенную и радикальную перемену внешней политики... представлялось мне совершенно немыслимым... К политике мира... должны были присоединиться колоссальные задачи демобилизации, перевод промышленности на мирное положение, а следовательно,—массовое закрытие заводов, огромная безработица... Создание условий для ликвидации, а не самая ликвидация войны,—вот основная задача переворота» [1]). В приведенной цитате сум-

[1]) См. Н. Суханов. „Записки о революции“, книга I, стр. 21—25.

мированы все возражения, которые меньшевики-интернационалисты и «революционные оборонцы» выставляли против «власти Советов».

Существовали ли в действительности все перечисленные здесь затруднения? Бесспорно, существовали, но наивно было думать вообще, что возможно довести до победного конца революцию в условиях империалистической войны, не наталкиваясь на огромные затруднения и не прибегая к героическим якобинским мерам для их преодоления. Вопрос был в том, были ли бы эти затруднения преодолимы или нет, если б советские партии взяли власть в свои руки в самом начале революции, в марте месяце. На этот вопрос теперь можно уже ответить определенно: да, они были бы преодолимы. Во первых, меньшевики преувеличивали эти затруднения. Беспомощность демократии в управлении государством была уже не так велика, как это рисовалось меньшевикам. Я помню, что, когда впоследствии, на Демократическом Совещании, об'единенный демократический блок выработал свою экономическую программу, и когда меньшевики, в частности Ф. Дан, сопоставляли эту программу с кадетской, они сами с гордостью и с удивлением констатировали, что кадетская программа борьбы с экономической разрухой оказалась гораздо более беспомощной, гораздо менее деловой и конкретной, чем их программа. Преувеличивали они также невозможность заставить всевозможных буржуазных спецов служить Советской власти. Ведь заставили же их одни большевики в конце концов себе служить; почему бы не могла их заставить себе служить коалиция советских социалистических партий в начале революции, когда атмосфера была раскаленной, когда рабочие и солдаты еще не остыли от победоносных уличных боев? И трудности демобилизации армии были сильно преувеличены. На первое время требовалась бы вовсе не демобилизация военных заводов, а лишь демобилизация значительной части действующей и прежде всего тыловой армии, а это не увеличило бы, а сильно сократило бы экономические затруднения. Во-вторых, нам вообще незачем теперь гадать о том, что было бы, если б Совет взял в марте месяце власть в свои руки. Мы знаем, что́ фактически случилось, когда большевики взяли власть в октябре. Если большевики, взявшие в октябре власть одни против всех, могли ее удержать в своих руках, то почему все советские партии вместе не могли удержать эту власть, взявши ее в свои руки в марте месяце, когда экономическая разруха в стране была еще неизмеримо меньше, чем через 8 месяцев во время октябрьского переворота?

Социалистические партии, которые одни пользовались полным доверием в рабочих и солдатских массах, могли бы взять власть в марте и удержать ее, если бы меньшевики и эс-эры смели, если бы они дерзнули ее взять. Но они не смели, потому что они к этому не были подготовлены всем своим прошлым, потому что они боялись экономических и социальных потрясений, неизбежных при всякой великой революции, особенно в империалистическую эпоху, потому что они боялись развязывать стихию вооруженных масс, потому что они чувствовали себя гораздо ближе, гораздо родственнее мелко-буржу-

азно-демократической интеллигенции, чем рабоче-крестьянским массам. Это была основная причина поведения меньшевиков-интернационалистов в мартовские дни, и это очень тонко подметил и ярко описал С. Мстиславский в своих воспоминаниях о начале и конце февральской революции: «Люди Временного Комитета и люди Исполкома в подавляющем его большинстве были уже — от первого часа революции — об'единены одним общим, все остальное предрешавшим признаком: страхом перед массой. Как они боялись ее! Глядя на наших «социалистов», когда в эти дни они выступали перед толпами... я чувствовал до боли, до гадливости их внутреннюю дрожь; чувствовал, какого напряжения стоит им не опустить глаза перед этими, так доверчиво раскрыв—настежь раскрыв—душу, теснившимися к ним рабочими и солдатами; перед их ясным, верящим, ждущим, «детским» взглядом. И вправду: ставка была страшна. Они были стихийны, эти «дети»; дробь их барабанов... меньше всего говорила о «детской». Мировая война, отбытая в кошмарных условиях царской действительности, до крайней остроты... довела те черты, при изображении которых в незапамятные еще времена дрожали... перья... летописцев в сказаниях о набегах руссов... Легко было—позавчера еще—числиться «представителями и вождями» этих рабочих масс; без малейшего спазма в горле говорил мирнейший из них, из парламентских социалистов, страшнейшие слова «от имени пролетариата». Но когда он, этот великий теоретический пролетарий стал здесь, рядом во весь рост, во всей силе своей изможденной плоти и бунтующей крови... когда ощутима стала... эта стихийная сила, способная вознести, но и способная раздавить одним порывом, одним взмахом, невольно слова успокоения, вместо вчерашних боевых призывов, стали бормотать побледневшие губы «вождей». Руководители Исполкома, — говорит дальше автор, — хорошо знали, как недоверчиво-враждебно относились восставшие массы к князьям, помещикам и фабрикантам. «При наличии таких настроений, о которых, конечно, прекрасно был осведомлен Исполнительный Комитет, руководители его — с уверенностью можно сказать — никогда бы не пошли на соглашение, если бы верили, что смогут удержать в руках эту «массу»... Но в возможность удержать ее они не верили: для этого надо было прежде всего суметь «удержать» государство; а «государства» думские социалисты наши боялись, пожалуй, не меньше, чем рабочих и солдат» [1])...

Меньшевики-интернационалисты и их единомышленники, задававшие тон в Исполнительном Комитете первого состава, пользуясь полным доверием рабочих и солдат и имея постольку возможность взять власть, стихийно отступили перед этой трудной задачей и добровольно передали власть буржуазному Временному Правительству, к которому они сами отнюдь не питали доверия, и ограничили роль Совета ролью организации, контролирующей действия правительства и оказывающей на него революционное давление снизу.

---

[1]) См. С. Мстиславский, 5 дней. Начало и конец февр. революции", стр. 32—33.

В то время, в момент организации власти, в Петрограде еще не было видных социалистических вождей. Недели через три они стали с'езжаться. 20 марта в Петроград приехал из ссылки И. Церетели, и в тот же день он в речи, произнесенной в Таврическом дворце, развернул перед рабочими программу действий, которая, с одной стороны, всецело оправдывает первые шаги Исполнительного Комитета, с другой стороны, намечает вытекающее из него дальнейшее поведение. В этой речи, построенной в строго выдержанном, так сказать, классическом меньшевистском стиле, Церетели, между прочим, говорил: «Вы поняли, что совершается буржуазная революция... Вы передали буржуазии власть, но вместе с тем... вы контролируете действия бу жуазии, вы толкаете ее на борьбу». От чего же зависит дальнейшая судь движения? Казалось бы, от того, насколько удастся предотвратить изме буржуазного правительства и толкнуть его на дальнейшие революционн шаги. Церетели делает другой вывод: «И вот, товарищи, я думаю, судь нашего движения в ближайшее время зависит от того, насколько под рук водством рабочего пролетариата Россия сумеет отстоять эту свободу от те ных сил». Вместо того, чтобы будить бдительность рабочих по отношени к живому буржуазному правительству, он будит ее по отношению к мер вым «темным силам». Далее мы читаем: «Вся полнота исполнительной власт должна принадлежать Временному Правительству, поскольку эта власть укр пляет революцию, поскольку она ломает старый порядок». Отсюда как буд должен вытекать призыв к рабочим: заставляйте же правительство лома старые порядки. Но Церетели делает другой вывод: «но для того, чтобы (пролетариат) сумел провести свою революционную тактику, необходима о ганизация, необходима строгая дисциплина в рядах самого пролетариата», что на языке Церетели означало, как известно,—«необходимо самоогр ничение». Дальше мы читаем: «Вы, товарищи, в своем обращении к народа сказали: Россия, освобожденная, не желает стать поработительницей др гих народов». Отсюда как будто вытекает, что нужно бороться не тольк против империалистических замыслов Германии, но в той же мере и проти империалистических замыслов союзников, но об этом Церетели умалчивае ограничиваясь заявлением: «Свободная Россия призывает другие народы ни вергнуть правительства, ведущие теперь свои полчища на Россию» [1]). В та ком же духе говорил Церетели в своей речи на Всероссийском Совещани 3 апреля: «Стеклов говорил: было время в первый момент революции, когд Родзянко и Шульгин говорили нам: «нет таких требований, которые мы н исполнили бы, нет с вашей стороны таких домогательств, навстречу которы мы не пошли бы». Товарищи, это нужно помнить. Это положение еще д настоящего времени сохраняет некоторую силу... я думаю, товарищи, чт совершенно справедливы те упреки, которые здесь раздавались против узко своекорыстной политики некоторых кругов буржуазии, против той кампании которую они открыли против Совета... но вы забыли, товарищи, что эт круги буржуазии—не ответственные круги, они не являются выразителям

---

[1]) См. речи И. Г. Церетели, стр. 11—16.

воли всей буржуазии в России... В тот момент, товарищи, когда Советы рабочих и солдатских депутатов об'явят, что они вступают в конфликт с Временным Правительством, и окажется, что одна часть народа поддерживает Советы, а другая часть поддерживает Временное Правительство, в тот момент погибнет наше общенародное дело» [1]).

Меньшевики-интернационалисты настаивали в марте на передаче власти буржуазному Временному Правительству из тех же соображений, которые высказывал Церетели: если буржуазия не будет у власти, то революция погибнет. Но из этого вытекала логически вся тактическая линия, которую впоследствии проводил Церетели. Если нужно было во что бы то ни стало сохранить буржуазное правительство, то нужно было призывать рабочих быть на страже не против этого правительства, а против притаившихся «темных сил» низвергнутого царизма; если так, то нужно было в благожелательном смысле истолковать всякий шаг буржуазного Временного Правительства; а если оно делало явно контр-революционный шаг, то его нужно было приписать не буржуазии, а некоторым «неответственным кругам буржуазии», не понимающим интересов и не выражающим воли всей буржуазии в целом.

Мы, однако, имеем все основания думать, что первое Временное Правительство, в котором собраны были сливки, цвет нашей «буржуазной общественности» во главе с лидерами думского «прогрессивного блока», очень хорошо понимало интересы нашей буржуазии и отстаивало их прекрасно, пока хватало сил. Как же это правительство выполняло революционную задачу, возложенную на него меньшевиками и эс-эрами?

Перечислим вкратце все боевые вопросы революции, которые выдвинуты были жизнью при первом Временном Правительстве, и вспомним, как они решались.

Республика. Первого марта при переговорах делегатов Совета с Временным Комитетом Думы об условиях передачи власти Временному Правительству, делегаты требовали, чтобы в платформу соглашения был включен пункт, согласно которому Временное Правительство должно воздерживаться от всех действий, предрешающих форму будущего правления. Это было чрезвычайно скромное требование, но Временный Комитет на этот пункт не соглашается, и делегаты Совета отказываются от своего требования. Отвоевав у Совета свободу действия, Временный Комитет начинает действовать — спасать монархию. Второго марта он посылает к царю Гучкова и Шульгина с предложением отречься от престола в пользу наследника ради спасения династии. Когда царь отрекся от престола в пользу Михаила, Милюков и Гучков настаивают, чтобы великий князь Михаил принял предложение. «Временное Правительство, одно, без монархии, — говорил Милюков, — является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений». Уговоры, однако, не помогли, и Михаил отрекся под угрозой революционных солдат и рабочих [2]).

---

[1]) См. ibid., стр. 21, 22, 24.

[2]) Н. Авдеев, «Революция 1917 года», т. I, стр. 50, 56, 58.

Судьба царской фамилии. Потерпев неудачу в деле спасения монархии в настоящем, Временное Правительство принимает меры к спасению царской фамилии, как залога реставрации монархии в будущем. Третьего марта Исполком Совета постановил довести до сведения Совета о решении Исполкома арестовать династию Романовых с предложением Временному Правительству произвести этот арест совместно с Советом. В ответ на это Временное Правительство принимает следующую меру, которую Керенский разболтал 8 марта: в самом непродолжительном времени решено Николая II под личным наблюдением Керенского отвезти в гавань, откуда он на пароходе отправится в Англию. Получив сведения об этом, Исполкс 9 марта принимает меры к недопущению выезда царя и для этой цели пос лает в Царское Село комиссию, во главе с Мстиславским и с военными ч стями. В конце концов, принимается компромиссное решение: выезд бывш царской семьи за границу будет разрешен не иначе, как по соглашени с Временным Правительством и Советом рабочих и солдатских депутато Контр-революционные стремления Временного Правительства таким обр зом благодаря болтливости Керенского не увенчались успехом.

Демократизация армии. 1-го марта Совет издает известны приказ № 1 об учреждении выборных комитетов во всех воинских частя об отдаче в их распоряжение и под их контроль всего оружия, об обяза ности солдат в своих политических выступлениях подчиняться только С вету, о пользовании солдатами всеми гражданскими и политическими правам вне строя и т. д. 6-го марта Исполком издает приказ № 2, раз'ясняющий при каз № 1 в том смысле, что он установил комитеты, но не выборное оф церство. Военный министр Гучков отказывается признавать оба приказ В результате переговоров Исполком уступает и 8-го марта сообщает армия фронта, что приказы 1-й и 2-й относятся только к войскам Петербургског округа. Таким образом Временное Правительство одержало в этом вопрос частичную контр-революционную победу над Исполкомом; впрочем, солдат на фронте с этим не считались и продолжали действовать согласно с при казом № 1 [1]).

Охрана революции. Петроградские солдаты, сделавшие восста ние, естественно, стояли на страже революции. И вот, уже 28-го февраля, н второй день после победы восставших и после образования Временного Ко митета, Родзянко издает приказ о том, чтобы солдаты вернулись в казармы и принесли обратно свое оружие, — приказ, вызвавший сильное волнени среди гарнизона. Ввиду этого 1 марта в условия соглашения между Со ветом и Временным Комитетом внесен был пункт о неразоружении и не выводе из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революцион ном движении; в тот же день полковник Энгельгардт издал приказ, запре щающий отбирать оружие у солдат. Одновременно ввиду требований сол дат дать отпор Думскому Комитету и Родзянко решено было конституиро вать солдатскую секцию Совета. Контр-революционные замыслы думцев был

[1]) Ibidem, стр. 71—76.

таким образом отбиты. Но они не унимались. 2-го марта ген. Алексеев по соглашению с Родзянко назначили главнокомандующим Петербургским Военным округом генерала Корнилова для того, чтобы прибрать к рукам петроградский гарнизон. Одновременно Караулов издал приказ, что чины штаба корпуса жандармов аресту не подлежат. 12-го марта Гучков сделал попытку подтянуть так же фронт. В воззвании к армии он призывал солдат дать отпор немцам, и в том же воззвании он сделал выпад против «многовластия», намекая на ненормальность политического подчинения армии Совету. Таким образом в армии Временное Правительство не прекращало свою контр-революционную работу, хотя и с малым успехом [1]).

8-часовой рабочий день. Эту реформу Думский Комитет не захотел ввести в пункты соглашения с Советом; но с 10 марта 8-часовой рабочий день стал вводиться, помимо Временного Правительства, по соглашению между Советом и обществом фабрикантов [2]).

Конфискация земли. Земельную реформу Думский Комитет тоже не захотел ввести в пункты соглашения с Советом. Зато Временное Правительство 9-го марта решило привлекать к уголовной ответственности всех крестьян, принимающих участие в аграрных волнениях [3]).

Ликвидация войны. В вопросе о войне первое Временное Правительство с величайшим упорством и до конца вело контр-революционную политику. В соглашении Совета с Временным Правительством вопрос о войне был тоже обойден, но уже 6-го марта Временное Правительство в воззвании к гражданам заявило, что оно «будет свято охранять связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно выполнять заключенные с союзниками соглашения». 14-го марта петроградский Совет издал в противовес этому свое «Воззвание к народам всего мира», в котором говорится, что «Российская демократия будет всеми мерами противодействовать захватной политике своих господствующих классов», и что «она призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира». Главная мера «противодействия захватной политике своих господствующих классов» должна была бы заключаться в низвержении буржуазного Временного Правительства, но на это главенствующие в Совете партии не решались, а потому кот-Васька слушал, да ел. Игнорируя воззвание Совета, министр иностранных дел Милюков через два дня, 6-го марта, опубликовал циркулярную телеграмму с указанием на то, что «русская революция имеет своей целью довести войну до окончательной победы», а 23-го марта тот же Милюков в беседе с представителями газет заявил, что в задачи будущего мирного конгресса должны, между прочим, войти—слияние украинских земель Австро-Венгрии с Россией и наше обладание Константинополем и проливами. Ввиду крайнего возмущения революционных слоев населения воинственными империалистическими выступлениями Милюкова, Временное Правительство вынуждено

---

[1]) Ibidem, стр. 46, 51, 52, 54, 88, 89.
[2]) Ibidem, стр. 82.
[3]) Ibidem, стр. 80.

было, наконец, 28-го марта опубликовать заявление 8-го марта о целях войны, в котором оно говорит, что «цель свободной России не господство над другими народами..., не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов». В конце этого заявления, однако, оговаривалось «полное соблюдение обязательств, принятых в отношении наших союзников», а в эти обязательства, как известно, входила как раз поддержка всевозможных «насильственных захватов чужих территорий». Но и помимо того Милюков в Москве 8-го апреля на собрании кадетов «раз'яснил», что эта декларация отнюдь не исключает права накладывания контрибуций. Но Милюков не ограничился комментариями к декларации Временного Правительства от 28-го марта. 18-го апреля он в официальной телеграфной ноте к союзным правительствам не только повторил, что Временное Правительство «будет вполне соблюдать обязательство по отношению к союзникам», но еще повторил известную иезуитскую империалистическую формулу, что «передовые демократы», сиречь союзники, «найдут способы добиться тех г а р а н т и й и с а н к ц и й, которые необходимы для предупреждения новых... столкновений», — ясный намек на необходимость удушения центральных держав [1]).

Провокационная политика Временного Правительства, и специально Милюкова, в вопросе о войне, которая была возможна только благодаря долготерпению Совета, руководимого меньшевиками и эс-эрами, наконец, привела к взрыву народного негодования. 20-го апреля солдаты Финляндского и Московского полков вышли на улицу с плакатами: «Долой Милюкова!». Вечером на Дворцовой площади была устроена контр-революционная манифестация с криками: «Долой Ленина!». 21-го апреля с утра начались контр-революционные демонстрации, после обеда начались кровавые столкновения между белыми и красными на Невском. В 8 час. веч. к Невскому двинулись 15.000 рабочих с плакатами, на которых было много надписей с большевистскими лозунгами. Генерал Корнилов послал по этому поводу в Михайловское артиллерийское училище приказ о высылке двух батарей. Собрание офицеров и солдат постановило: «приказа Корнилова не исполнять»... Словом, запахло гражданской войной [2]). Это привело в конечном счете к падению первого однородного буржуазного Временного Правительства.

Подводя итоги первому периоду февральской революции, мы можем сказать: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, выросший из восстания и возглавленный соглашательскими партиями меньшевиков и эс-эров, по настоянию этих партий добровольно передал государственную власть буржуазному Временному Правительству на основе соглашения, полного недоговоренности, и Временное Правительство с первого до последнего дня своего существования пользовалось этой властью для контр-революционных целей. Однако господствовавшие в Совете меньшевики и эс-эры, как они ни зацеплялись за сохранение гнилого соглашения с буржуазией, вы-

---

[1]) См. ibid., стр. 69, 94, 99, 117, 131, т. II, стр. 24, 47.

[2]) См. ibid., т. II, стр. 50, 51, 55.

нуждены были под напором рабочих и солдат вести борьбу с своим собственным детищем—с Временным Правительством. Импульсы этой борьбы неизменно исходили от масс и потому часто имели успех и закончились падением Временного Правительства. Меньшевики, которые играли роль буфера между революционными рабоче-солдатскими массами и контр-революционной буржуазией, таким образом, только тормозили, но не затормозили революцию в течение двух первых месяцев. Затормозить ее им удалось, как мы увидим, только тогда, когда они сами приняли участие во Временном Правительстве.

(Продолжение следует.)

Шатуновщина как методика.

А. Гастев.

В № 6 (16) «Красной Нови» появилась статья под заглавием «Научная организация труда и ее анархическое выявление», подписанная Я. Шатуновским.

Спокойная формулировка заглавия находится в резком противоречии с необычайно беспокойным тоном самой статьи. И для многих непосвященных неясно, конечно, это странное противоречие. Автор, несомненно, рассчитывал на то, что серьезный читатель заинтересуется заголовком, при других обстоятельствах уместным для ученого трактата...

На самом деле, конечно, в статье нет никакого взгляда автора на научную организацию труда, а слово «анархизм» или «анархистское» ни разу и не фигурирует в статье. И, конечно, по справедливости, нужно было бы озаглавить статью так: «Я ругаю Гастева».

Эта ругань, конечно, является лишь уколом, хотя когда-то она замышлялась, как осада. В настоящее время эта ругань уже является лишь арьергардным боем, взятым, помимо воли автора, в масштабе укола.

Отвечать на эту статью необходимо потому, что она напечатана в «Красной Нови», что автор пытается быть делегатом определенной группы и, наконец, потому, что обругиванием Гастева вырисовывается ругань по адресу ЦИТ'а, а ведь не всем известно, что автор безнадежно запоздал со своими ругательствами.

У Шатуновского есть несколько принципов общественной работы, достаточно выявившихся и в данной статье.

Прежде всего это принцип

БЫСТРОГО ОВЛАДЕВАНИЯ ПРЕДМЕТОМ.

Лучше всего это сначала выяснить на примере другого литературного труда Шатуновского. В свое время он выпустил брошюру «Белый уголь и Революционный Питер». Говоря в ней об электрификации Петрограда и развертывая перспективы работ на Свири и Волхове, он заявляет в этой брошюре:

«По мнению выдающихся специалистов-гидравликов, восемь месяцев достаточно для реальных плодов этого великого подвига» (Я. Ша-

туновский. «Белый уголь и Революционный Питер», Госиздат 1921 г., стр. 15).

Конечно, он не называл «выдающихся специалистов», но что он с ними говорил по этому вопросу—несомненно. Поговорил и написал брошюру, а заключительную, патетическую главу назвал: «Наше строительство не мирное, а революционное».

Шатуновский писал свою брошюру в Екатеринбурге, но оттуда заметил, что план, намеченный для севера Гоэрло, был «тихим ходом». И быстро, освоившись с предметом, дал решение, как он выражается, «в масштабе нашей революции» (Там же, стр. 13).

Принцип «быстрого овладевания предметом», как видно, автоматически вырабатывает принцип

ОСОБО БЫСТРОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НАШЕЙ ОТСТАЛОСТИ.

То, что представляется людям, основательно изучавшим дело, годами, Шатуновскому все это кажется месяцами. Воображаемое пришествие машины или перераспределение существующих машин для Шатуновского решает дело. Вот как он, очевидно не будучи поэтом, пробует свои поэтические силы.

> «Мы сумеем одеть Фонтанку не в гранит, а в малахит, порфир и бронзу, но смертью промышленности царские дворцы Петрограда не превратятся в пролетарские, а станут развалинами. У нас нет другого выхода, как безжалостно снять электрические и другие машины с каких угодно заводов, а работу— с каких угодно производственных программ и уже через несколько месяцев иметь ток, чтобы пустить в ход оставшиеся заводы и с избытком выполнить намеченную теперь программу заводов» (Стр. 14).

И он уже авансом угрожает, что если кто с ним не согласится, тот будет «сметен».

> «Кто не может этим революционным сознанием проникнуться, кто не верит в то, что это может стать действительностью со скоростью революции и электричества (!), тот отстал от темпа революции и либо будет ею сметен, либо невольно или сознательно станет ее палачом» (Стр. 7).

Угроза «сметем» у Шатуновского любимое слово. Он и мне пригрозил своей метлой. Но это еще ничего. В цитируемом выше отрывке он еще резче к своим ожидаемым оппонентам. Он заранее клеймит их «палачами революции».

И, видимо, это кое на кого подействовало...

Так, почтенный тов. И. Степанов, автор книги «Электрификация Р.С.Ф.С.Р.», полемизируя с Шатуновским, даже не называет его по фамилии... конечно, из боязни, как бы его не «смели» или не провозгласили «палачом революции». Автор «Электрификации» так говорит о Шатуновском:

«Я не называю ее автора, который, надо полагать, поддавшись временному настроению, хотел подменить внимательное обсуждение всех элементов задачи бравым наскоком.

Чего ни коснись в этой брошюре, везде одни пустозвонные выкрики» (И. Степанов. «Электрификация Р.С.Ф.С.Р.», Госиздат, 1922. Электрификация Северного района, стр. 288).

Я, конечно, извиняюсь перед т. Степановым, что поставил его теперь в... рискованное положение. Но все же позволю еще раз процитировать такие криминальные строки:

«Несмотря на всю нелепость этой брошюрки, ее все же надо было отметить. Она служит примером того, как нельзя, не следует ставить вопросы экономического строительства. При всей своей пустой трескотне, она могла произвести некоторое впечатление» (Там же, стр. 290).

Видимо, все же Шатуновский уже не писал больше брошюр об электрификации, но надо полагать не потому, что у него случилось замешательство по этому предмету, а просто потому, что он, верный принципу «быстрого овладевания предметом», пересел на другой предмет. Он теперь «по научной организации труда».

Из статьи, названной «Научная организация труда и ее анархическое выявление», нельзя узнать, чем и как овладел Шатуновский по этой новой линии, но по некоторым фразам все-таки видно, что он несомненно уже коечто знает.

Так, в стиле своей брошюры «О белом угле» он заявляет:

«Кое-где оборудования не хватает, но вообще, его — избыток» («Красная Новь», кн. 6 (16), стр. 254).

Это по части машинизации в России.

А вот еще строки, напоминающие изящное описание Фонтанки:

Может быть, Гастев слышал о паровом молоте в 5 тонн или о пневматическом молоте, который делает 3.000 ударов в минуту и заменяет сотни и тысячи кузнецов...» (Там же).

Я читаю эти строки и хочу, хочу, но не могу от волнения вымолвить: «Нет, Шатуновский, не слыхал. Это где: в Екатеринбурге или Питере? Напишите об этом брошюру. Но только не угрожайте, что сметете. Я вашу фамилию не назову, говоря о брошюре».

Или вот еще место. Говоря о Центральном Институте Труда, Шатуновский пишет:

«Можно было бы потерпеть еще один Институт. У нас их много».

У нас всего много—и оборудования, и институтов. Так много, что просто иногда «невозможно вытерпеть». Одного у нас, Шатуновский, мало: людей, которые так «быстро овладевают предметом», еще меньше тех, кто овладевает «со скоростью электричества».

Третий принцип Шатуновского это —

ПРИНЦИП ЗАУШЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ.

Этот принцип вводится в дело несомненно для того, чтобы не только, скажем, меня,-Гастева, но и каждого читателя, несогласного с Шатуновским, трясло.

Вот как он заушает на расстоянии:

«Царя мы смели, чиновника Акакия Акакиевича смели, свадебного генерала не сыщешь — смели. Смели помещика, фабрикант Вакула и купец Кит сметены — всю живую рухлядь смели. Не сметенное, в виде всяких губошлепов и бумагомарателей науки, искусств и техники. хотя бы они занялись даже НОТ'ом, — сметем» (Стр. 254).

Каждый поймет, что это пишется о Гастеве, но я уверен, что тряску, хотя бы живота, испытывали и некоторые другие читатели.

Принцип заушения выражается у Шатуновского еще и тем, что он создает общественную панику. После быстрого изучения он вдруг обнаружит что-нибудь сенсационное, например:

«После пяти лет Советской власти, казалось бы, нет уже надобности доказывать, что командные высоты пролетариата вообще и идеологические в частности выдерживают натиск буржуазной и мещанской стихии, когда они в твердых руках коммунистов, и тем не менее научная организация труда, к сожалению, находится под влиянием и воздействием идеологии работников, только по недоразумению занимающих наши высоты» (Стр. 252).

Действительно, — чтó смотрит ротозеющее начальство?

Тут еще только психологическая подготовка. А вот его точные «показания»:

«А. Гастев, его идеология и его институт идут, как пена на гребне производственной волны нашей революции. Пена всегда на гребне, но не всем видно, что это только пена» (Стр. 252).

Конечно, есть и рецепт: «сметем».

Большой специалист по части таких «метельных» угроз, он переходит и на палки.

«И всегда бы лучше А. Гастеву своей палкой из «несессера культуры» выбить себе всю свою робинзонаду из головы» (Стр. 261).

Шатуновский несколько раз уже делал «нажимы», но они не помогали; с отчаяния, видимо, перешел на «ударные» методы, но—с какой же стати он меня заставляет ударять? Ведь если он сам не умеет, то только долгой, долгой тренировкой (см. статьи о «тренаже»...) можно выработать сильный и меткий удар. А то так... слезы. Предварительно надо было овладеть в совершенстве искусством, ну хотя бы топать ножкой.

В другом месте Шатуновский меня спрашивает:

«О каких сановниках речь? У нас есть советские работники, годные и негодные — сановников пока нет» (Стр. 255).

Шатуновский уже слишком меня третирует, как беспартийного. Я все таки слежу за делами и хотел бы скромно указать коммунисту Шатуновскому на речь В. И. Ленина во время разговоров об электрификации специально о сановном комчванстве. Как будто В. И. Ленин тоже не называл никого определенно по имени, а Шатуновский решил на этом основании, что «это не про него».

Видимо, все-таки Шатуновский не совсем уверен, что он может подействовать на зевающее начальство, и поэтому он рядом с принципом «заушения на расстоянии» выдвигает четвертый принцип —

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО УЯЗВЛЕНИЯ.

Прежде всего он противоставляет меня себе таким образом, что Шатуновский получается — «мы, организованные фабричные». Если Шатуновский думает, что, рекомендуя себя так, он может сойти за пролетария, то ошибается. Но есть и вторая ошибка: звание пролетария, если бы у Шатуновского оно и было, не освобождает от необходимости оперировать логикой.

О Гастеве Шатуновский в то же время снисходительно говорит, конечно, не как о «фабричном», а как о «поэте».

Но вот еще номер, поглубже.

Я говорю об «уменье питаться немного, но сытно, с регулировкой расписаний пищи, даже в пределах самых беднейших возможностей, усиливая или уменьшая количество соли, черного хлеба и воды», а Шатуновский пишет мне в ответ буквально следующее:

> «Голодное существование рабочего, пережитое и нерабочими в первые годы революции, возводится в перл сознания. До мяса и белого хлеба А. Гастев не додумался» (Стр. 259).

Если Шатуновский так демагогствует на страницах «Красной Нови», то что он говорит где-нибудь на заводе, начиная свою речь: «мы — фабричные...».

Но тут мы уже переходим к пятому принципу Шатуновского —

ПРИНЦИПУ СКАНДАЛЬНЫХ УПРОЩЕНИЙ.

Я пишу: «Как занимаются культурой животных, так же надо заниматься культурой людей».

А Шатуновский делает следующий вывод, в надежде создать политический скандал:

> «Итак, Луначарского в отставку. В наркомы просвещения клоуна Дурова. Давайте организовать изготовление дрессировочных хлыстов вместо учебных пособий. Можно, учитывая все же некоторое физическое отличие человека от животного, заменить хлысты нагайками» (Стр. 255 — 256).

А давайте-ка спокойнее, Шатуновский. Вот почитайте у виднейшего работника наркомпроса следующее:

> «На-ряду с растениеводством и животноводством должна существовать однородная с ними наука—человеководство, и педагогика, как антропотехника или, уже понимаемая, как педотехника, должна занять свое место рядом с зоотехникой и фитотехникой, заимствуя от последних, как более разработанных родственных наук, свои методы и принципы» (П. Блонский. Педагогика. Изд. 1922 г., стр. 11).

Ведь вот как «хвачено»: человеководство. Тут уже не только можно бы крикнуть по Шатуновскому «Луначарского в отставку», а прямо завопить, вопрошая: «Это что же? Назад — к лошадям?».

Что же касается «клоуна Дурова», то мне очень приходится извиниться перед уважаемым В. Л. Дуровым, что его имя так часто употребляется в значительной степени по моей вине, и я совершенно спокойно и серьезно предложил бы Шатуновскому письменно извиниться перед В. Л. за... невежество. И может быть справка о «клоуне Дурове», которую я дам, создаст для Шатуновского... психологическую возможность для такого извинения:

> «В зоопсихологической лаборатории ведется научная работа по зоопсихологии при участии специалистов-зоологов. Работа заключается в изучении ассоциаций у животных, условных рефлексов и вопросов о мысленном внушении у животных. Ведутся подробные протоколы опытов. В. Л. Дуровым уже подготовлена к печати большая рукопись, заключающая в себе итоги его многолетней работы по дрессировке животных и по зоопсихологии» («Известия» № 254, 6/XI — 1923 г.).

Ну, как вам нравится «клоун Дуров»?

И потом я вас уверяю, что «клоун» Дуров не только никогда не бьет своих зверей «дрессировочным хлыстом», он даже не кричит на них, как вы: «сметем». Интерес к зверям у Дурова явился как раз формой реакции против избиения зверей, в частности собак. А словесность, обращенная ко мне насчет замены хлыста нагайкой, у Шатуновского уже произошла вследствие чернильной инерции, за которую он может передо мной не извиняться, так как нам эта инерция пригодится в ЦИТ'е для «изучения движений».

Итак, «Луначарского в отставку», скандалите вы. Но уверяю вас,—эта апелляция к наркому просвещения вас не избавляет от ответственности за невежество. И хотя вы и рекомендуете себя, что ваша милость — «мы — фабричные», однако ведь в другом месте вы рекомендуете себя «сотрудником Госплана». Это ваше примеривание и под фабричных, и под Госплан, конечно, только литературная вольность, на самом деле вы человек как будто с высшим образованием и притом, употребляя ваше выражение, — «мало-мальски грамотный в вопросах научной организации труда».

Вы, отвечая мне на принципиальную оценку «охранотрудческого» течения, кричите:

> «Вряд ли нам нужно говорить о том, что такое охрана труда в рабочей стране. Вряд ли человек, мало-мальски грамотный в вопросах

научной организации труда, может не знать, что основным условием его производительности является светлое, чистое, просторное, вентилируемое помещение и т. д.» (Стр. 259).

Действительно, «вряд ли нужно говорить». Нужно было бы молчать, хотя бы до тех пор, пока судьба не подарит минуты для овладевания предметом. Но если не терпится, то уж, конечно, скажешь то, что может сказать лишь Шатуновский, — «мало-мальски знакомый с научной организацией труда».

Наконец, мы переходим к последнему общественному принципу Шатуновского, это к принципу

ОСТОРОЖНОСТИ С НАЧАЛЬСТВОМ.

Меня он буквально изругал, поставил ниже Хлестакова, то-и-дело язвил эпитетом поэта, в связи со мной вспоминает какую-то даму из Игоря Северянина, которая едет в юрту с фруктами и вином (начитанность у Шатуновского универсальная), советует палкой бить по лбу, намекает, что я сумасброд и кретин и т. д., словом, если бы он в «Красной Нови» еще занял страницу, то договорился бы до уголовщины.

Но как он неуловимо изящен по отношению к начальству.

Например, взял да по-отечески и начал журить за мои мысли ни более ни менее как... «Молодого Рабочего».

> «Говорить об этом почти через 6 лет Советской власти незачем, но одно я хотел сказать. Когда-то мы, организованные фабричные, такую развязность оценивали легко и быстро (Нельзя ли подробнее об этом? *А. Г.)*. Сейчас на фабрике ее тоже оценили бы сразу, если бы ее не поддерживал авторитет учреждений, дающих на это деньги, и издательство «Молодой Рабочий» (Стр. 259).

Вы так пишете о «Молодом Рабочем», издавшем мою книжку, как будто первый раз видите статьи именно в моей брошюре, которую издал «Молодой Рабочий». А между тем, Шатуновский, вы знаете, что все статьи, напечатанные в этой книге, были напечатаны в «Правде»[1]).

И я хотел бы вам напомнить слова редактора «Правды» Н. И. Бухарина, обращенные чуть-чуть не к вам:

> «Нам сейчас свои силы нужно устремлять не в общую «болтологию», а на то, чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество живых рабочих квалифицированных, специально вышколенных машин, которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий оборот» (Цитирую речь Н. И. Бухарина комсомольцам по «Раб. Москве» от 3 окт. 1923 г.).

---

[1]) Мысли, изложенные в моей брошюре: «Восстание культуры» развиты в брошюре: «Юность, иди» (изд. В.Ц.С.П.С.) и «Новая культурная установка» (изд. ЦИТ). А. Гастев.

Ой-ой, что бы Шатуновский написал, если бы эти строки он нашел у Гастева (а такие имеются). Но, конечно, он предпочел «на этом месте помолчать» по адресу Н. И. Бухарина, думая, что по адресу беспартийного Гастева «все сойдет».

Или вот еще кусочек из доклада Н. И. Бухарина: «Проблема культуры в эпоху рабочей революции»:

> «Считая целью своего доклада постановку данных вопросов, тов. Бухарин в то же время отмечает, что главными задачами на этом пути являются: 1) переделка самой психологии человека; 2) соединение марксистской теории с американской практичностью и «делечеством»; 3) уничтожение гуманитарного направления в образовании и замена его техническими, практическими знаниями; 4) замена универсализма специализацией, и 5) физическая, волевая и умственная тренировка человека» (По реферату в «Правде» № 229, 11/X — 1922 г.).

Что же касается «руководителей учреждений, поддерживающих А. Гастева», будто бы «неудосужившихся разобраться в этом идеологическом вздоре», то, конечно, вы не могли знать, как, между прочим, и в а м ответило одно учреждение.

Перечитайте еще раз эти строки:

> Все нападки на Институт, прикрывающиеся фразами о будущем универсальном человеке, об охране труда и т. д., являются по существу экономически реакционной болтовней» (Из речи Томского на 3-й сессии В. Ц. С. П. С.

Вы не могли не знать, что ваше принципиальное выступление было названо «лево-коммунистической болтовней».

А вот по вашему адресу еще строки из передовицы «Труда», органа В. Ц. С. П. С.

> «Необходимо с удесятеренной энергией продолжать с трудом налаженное дело, организовать поддержку и создать атмосферу сочувствия ЦИТ'у, работа которого имеет исключительное значение для рабочего класса Советской республики.
>
> Это тем более необходимо, что некоторые наши союзные организации, поддавшись красноречию группы товарищей, именующих себя тоже «деятелями научной организации труда», говорят об уклонах ЦИТ'а, о том, что в его работе отсутствуют проблемы охраны труда, господствуют тренаж, ремесленные приемы обучения против современных машин, будто бы защищаемых ими, что несомненно вносит путаницу и тормозит начавшую налаживаться и требующую спокойствия и выдержки работу» («Труд» № 106 — 1923 г.).

Почему же Шатуновский не поднял перчатку, брошенную ему тов. Томским, В. Ц. С. П. С. и газетой «Труд»? Ясно, — там получился обжог. Ябеда на Гастева в В. Ц. С. П. С. кончилась слезами.

Нужно ли удивляться тому пароксизму злобы, приправленной невежеством, которым наполнена статья Шатуновского по моему адресу и по адресу ЦИТ'а. Так бывает только после очень больших неудач. А посему: тренировка, еще раз тренировка, а потом уже и драться. А главное — не очень «быстрое ознакомление с предметом».

Конечно, всякое большое и новое дело, кроме сторонников и деловых принципиальных противников, автоматически создает скоморошников, и несомненно, «шатуновщина как методика» должна иметь и свой хор, и своего лидера.

Россия в эпоху Победоносцева.

В. Кряжин.

1.

Недавно появившиеся два тома архива К. П. Победоносцева[1]) представляют из себя буквально неисчерпаемый рудник всевозможных сведений по мрачной эпохе царствования Александра III. Общеизвестна та огромная роль, которую сыграл Победоносцев в период реакции, наступившей после убийства Александра II. Два раза он совершил форменное coup d'état, ниспровергнув Лорис Меликова и гр. Игнатьева и тем предопределив характер нового царствования. Именно он явился автором знаменитого манифеста 29/IV 1881 г., покончившего со всеми конституционными «мечтаниями», взамен которых он провозгласил необходимость утверждения самодержавной власти «для блага народного, от всяких на нее поползновений». Достаточно прочесть его советы Александру III — «не упускать ни одного случая заявить свою личную решительную волю»—или его настойчивые увещания обязательно повесить 6 народовольцев, участвовавших в убийстве Александра II, чтобы понять ту роль, которая принадлежала Победоносцеву в развертывающихся событиях. Можно сказать, что было нечто маниакальное, инквизиторски-мнительное в реакционности Победоносцева. Архив дает множество примеров того, в каких пустяках этот бесспорно выдающийся человек усматривал «крамолу». Появляется известная картина Репина «Иоанн Грозный с убитым сыном», и вот Победоносцев сейчас же подымает против нее поход, как против «оскорбляющей нравственное чувство» и преследующей «тенденцию известного рода»; то же самое происходит с картиной Ге «Что есть истина?», которую по его настоянию даже удаляют с выставки. Иногда эта подозрительность доходит до курьезов. В петербургских писчебумажных лавках появляется почтовая бумага с конвертами «отвратительного красного цвета» и—horribile dictu—с водяным знаком в виде «красного петуха». И вот Победоносцев спешит обратить на это внимание мин. внутренних дел пресловутого гр. Д. Толстого: «мне кажется, что это нововведение неспроста и стоит обра-

---

[1]) К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и Записки. Труды Госуд. Румянцевского Музея. Том I (вып. 1—2). Госизд. 1923. Стр. 1147.

тить на него внимание... мудреного нет, что оно появилось из-за гран всего вероятнее из Франции; из старых мемуаров видно, что еще в пер революцию появилась красная бумага и вошла в моду». Если мы вспом что Победоносцев являлся автором «Московского Сборника», этого Кор русского консерватизма, мы увидим, что именно он был крупнейшим и ятельнейшим теоретиком и практиком реакции, безраздельно царив и последней четверти XIX века.

Вполне понятно, что этот идеолог и руководитель реакции преврат в одну из центральных фигур нового царствования. Переписка Победонос доказывает огромный диапазон влияния, которым он пользовался, коне не в качестве обер-прокурора Синода, а в качестве доверенного советч «ближнего боярина» Александра III. Благодаря этому его корреспонден отличалась далеко не казенным ведомственным характером. Сотни лю прибегают к его протекции, обращаются к нему с доносами, исповед искренно или притворно свои политические убеждения и т. п. Среди э корреспондентов мы находим таких крупных представителей общественно как ученый публицист Б. Чичерин, знаменитый Катков, виднейших фина вых дельцов (фон-Дервиз, С. Поляков) и др. Буквально все министры при лают на предварительное одобрение всесильного обер-прокурора свои за нодательные предположения или даже чисто административные проекты. Т граф Игнатьев советуется с Победоносцевым относительно назначения бернаторов; Плеве же позволяет себе «повергнуть на его милостивое усмот ние Труд Департамента Полиции по группировке следственных разобла ний». Наконец, к Победоносцеву же в щекотливых случаях обращается Александр III, через его посредство ряд лиц получают «царскую благод ность», секретные аудиенции и пр.

Из ряда вон выходящая влиятельность Победоносцева, его интим связи с политическими и общественными кругами и превратили его част архив, в сущности говоря, в архив эпохи Александра III. Не только исч пать, но даже кратко обрисовать содержание его в журнальной стат конечно, не представляется возможным. Как правильно указывает М. Н. П кровский, «на основании сборника можно было бы написать еще один т о России времен Александра III». Чрезвычайно характерно, что М. Покр ский в своем предисловии ограничивается анализом лишь крохотной час архива, а именно переписки с Победоносцевым Б. Н. Чичерина. В настоящ статье я остановлюсь также лишь на незначительной части переписки, именно—имеющей отношение к внешней политике Александра III.

2.

Основным актом внешней политики Александра III было, как известн заключение русско-французского союза. Последний был определенно н правлен против Германии и явился на смену русско-германо-австрийско секретного договора 1881 года, возобновленного в 1884 году, хотя тогда уже превратился, по мнению нашего мин. иностр. дел, в «клочек бумаги, к

торый всегда мы можем разорвать, когда пожелаем». Бисмарк, руководивший тогда германской политикой, не мог, конечно, остаться равнодушным зрителем этого намечающегося русско-французского сближения. Не входя в излишние детали, укажу, что его план заключался в натравливании России на Австрию (на Балканах) и в военном разгроме Франции, т.-е. в повторении 1870—1871 г.г., но только в еще более радикальном виде. Но для осуществления этого плана надо было прежде всего обособить Россию от Франции, и вот происходит ожесточенная подпольная дипломатическая борьба, с бытовыми подробностями которой нас близко знакомит переписка Победоносцева.

Мы знакомимся прежде всего с рядом неофициальных политических дельцов, часто темных авантюристов и проходимцев, руками которых велась указанная международная игра. Агентом русских сторонников французской ориентации был чрезвычайно колоритный д-р Цион; еврей, перешедший в православие, имевший в качестве крестного отца самого знаменитого редактора «Московских Ведомостей»—М. Н. Каткова, Цион по профессии отнюдь не был дипломатом или хотя бы политиком: он был физиологом, профессором Петерб. Медико-Хирургической Академии. Ученая деятельность его, однако, отличалась специфическим уклоном: в качестве противника материализма он вел на профессорской кафедре, главным образом, борьбу с последним. В эпоху «реформ» он не ужился с коллегами и со студентами и должен был переселиться во Францию. Однако и здесь его постигла неудача. Знаменитый ученый П. Бер как раз в это время открыл поход против религии, и это заставило Циона совсем отказаться от ученой деятельности. Физиолог-антиматериалист, впрочем, не растерялся и посвятил свои способности финансово-промышленным делам, в которых, несмотря на свой идеализм, он достиг крупных успехов. Вместе с тем православие Циона, его вражда к нигилизму—снискали ему благоволение русских правительственных сфер. И вот этот православный еврей, французский подданный и в то же время русский действительный статский советник—становится агентом нашего министерства финансов и одновременно политическим доверенным Каткова и других сановных франкофилов. Для выполнения этих сложных комиссий Цион овладевает парижской прессой: он становится директором влиятельного журнала «Nouvelle Revue», внедряется в ред. «Gaulois» и в то же время остается корреспондентом «Московских Ведомостей». Мемуары Витте (третий том) дают интересные дополнительные данные относительного этого фактотума русского министерства финансов. При заключении конверсий Вышнеградского Цион, оказывается, «заработал» двести тысяч франков. На этой операции он, впрочем, был пойман и изгнан со службы; короткое время спустя он, впрочем, отмстил своему принципалу мин. фин. Вышнеградскому и добыл доказательства, что тот также получил, но уже не 200, а 500 тысяч франков, что и вызвало его уход в отставку.

Противником Циона на поприще закулисной дипломатии явился некто Катакази. В отличие от профессора Циона он представлял из себя профессионального, даже «наследственного» дипломата, более тридцати лет прослу-

жившего в министерстве иностр. дел. Открытая дипломатическая деятельность Катакази, впрочем, протекала не особенно благополучно, и в министерстве его ценили главным образом не как записного дипломата, а как ловкого закулисного дельца, блестяще умеющего «обработать» прессу и направлять в министерство секретную информацию, т.-е. попросту доносы. «Этот продаст кого угодно»,—замечает про него Катков. Александр же III дает ему следующую живописную характеристику: «что Катакази скот, это я давно знал, но чтобы он был таким мошенником и плутом—я, признаюсь, не ожидал». В Париж Катакази попадает заведующим сношениями русского правительства с прессой, при чем он приобретает влияние на Агентство Гаваса и на крупнейшие газеты.

Несколькими ступенями ниже Циона и Катакази стоит еще один закулисный делец — некто Сивини, издававший когда-то в Афинах руссофобскую газету, но потом пристроившийся к русскому посольству в Париже и инспирирующий также несколько французских органов. Как мы видим, уже в эпоху Александра III значительная часть парижской прессы была подкуплена русским правительством и в замаскированной форме отражала его «виды».

В 1887 году группа дипломатов-подпольников организует выпад против Каткова: они публикуют в парижской прессе подложное письмо последнего, в котором он уведомляет президента Французской Палаты Флокэ, что принятие им министерского портфеля будет сочувственно принято императором Александром III. Эта, повидимому, малозначущая газетная инсинуация преследовала сразу несколько целей. Прежде всего она должна была скомпрометировать Каткова перед русским правительством, как присвоившего себе право выступать от лица последнего в вопросах иностранной политики. Таким путем был бы сразу выведен из строя крупнейший лидер русских франкофилов, находящийся, кстати, в близких отношениях с руководящими французскими деятелями: Деруледом, Буланже и другими. Эта цель, действительно, была отчасти достигнута: Катков был взят на подозрение и лишь после смерти окончательно реабилитирован.

Мало того, апокрифическое письмо Каткова, очевидно, должно было скомпрометировать и французское правительство, продемонстрировав его слишком явную зависимость от России. Мы не должны забывать, что инцидент этот произошел в 1887 году, т.-е. в момент максимального обострения отношений между Францией и Германией, когда между ними, казалось, неизбежно должна была вспыхнуть война, предотвращенная лишь вмешательством России. При таких условиях всяческое осложнение во французской политике было на руку Германии, в особенности если оно сопровождалось замешательством во франко-русских отношениях.

Следствие, которое было произведено частным образом в Париже Ционом, также скомпрометированным в компании с Катковым, привело к необычайно пикантным разоблачениям. Прежде всего выяснилось, что в составлении подложного письма принимали участие чуть ли не все члены русского посольства в Париже, начиная с уже упомянутого выше Катакази и кончая племянником мин. иностр. дел Н. Гирсом и даже, быть может, самим

послом бар. Моренгеймом. Далее выяснились чрезвычайно странные связи Катакази с германским правительством: подпольные дельцы перессорились друг с другом, и вот Катакази был обвинен в том, что он все свои донесения, посылаемые Александру III, предварительно давал на просмотр германскому послу. Делалось это якобы для того, чтобы улучшить русско-германские отношения, на самом же деле, как указывает Цион: «под предлогом субсидий для печати г. Катакази получал постоянное содержание от германского посольства, что, впрочем, не мешало ему выхлопотать у г. Флуранса субсидию будто бы для газеты Nord» (официоз русского правительства в Брюсселе).

Конечно, приходится с большой осторожностью оперировать всеми этими данными, сообщаемыми перессорившимися политическими аферистами; однако мы уже приводили характеристику Катакази, с другой же стороны, остается примечательным фактом, что вся история с подложным письмом Каткова немедленно подхватывалась и муссировалась всей немецкой печатью.

Переписка дает еще более поразительный факт, характеризующий дипломатический «быт» эпохи Александра III. В 1893 году, т.-е. четыре года спустя после заключения франко-русского союза, обнаруживается крупный скандал с подкупом «Московских Ведомостей» французским правительством. Панамское общество выдает чек в 500 тысяч франков, которые делятся следующим образом: половину суммы получает посол бар. Моренгейм, остальную же—редактор «Московских Ведомостей» (Петровский) и его посредники. История попадает в иностранную прессу, при чем попутно выясняется, что наш посол в Париже уже до этого получил от французского правительства 300 тысяч франков перед свадьбой старшей дочери и двести тысяч франков перед свадьбой младшей; правда, в последний раз деньги были даны не правительством, а банкиром Госкье (замечу, кстати, банкиром Вышнеградского), в связи с заключением 3% займа! Дальнейшей огласки эта скандальная история, впрочем, не получила, так как «вмешался Рибо и через общего друга умолял меня (Циона) не разглашать этой истории, могущей сильно повредить в общественном мнении русско-французским отношениям». Все эти факты шпионажа, шантажа, измены, наглого авантюризма великолепно рисуют русские дипломатические нравы эпохи «укрепления основ». Вместе с тем они вносят несколько новых штрихов в официальную картину внешней политики царя-миротворца, бескорыстно оберегающего мир всей Европы в союзе с Францией III республики.

3.

Второй эпизод международной политики, отразившийся в переписке Победоносцева, связан уже не с Европой, не с Западом, а с Востоком. Финансовая и вообще экономическая политика Александра III, как известно, сводилась к насаждению протекционизма и к покровительству отечественной обрабатывающей промышленности. Внутренний русский рынок, однако, оказался настолько оскудевшим, что он не мог поглощать фабрикатов развивающейся индустрии. И вот, после того как был использован вновь завоеван-

ный Туркестанский рынок,—в финансовых, промышленных, а затем и в пра вительственных кругах возникает идея дальнейшей экспансии на Восток в поисках за покупателями русских фабрикатов. Первой ласточкой явился здесь известный ж.-д. делец Самуил Поляков. В 1886 г. он подает записку совершенно правильно указывающую, что «владеть ж. д. на Востоке—значит владеть фактически страной»; в области практических мероприятий, он предлагает скупить незаметно акции турецких железных дорог, «прикрываясь посредничеством голландской биржи», и таким путем завладеть всеми балканскими рельсовыми путями (турецкими, болгарскими и сербскими). Не смотря на то, что Поляков обещал участие в этой комбинации своего зятя бар. Д. Гирша (крупнейшего ж.-д. дельца на Ближнем Востоке), этот план после недавних неудач в Турции (война 1877—1878 г.г.) и в Болгарии, испугал русское правительство. И Победоносцев и Александр III заявили, что они «затрудняются сообщить что-либо положительное» и, вместо испрашиваемого секретного дипломатического давления на Порту—разрешили Полякову лишь следить за этим предприятием. Благодаря боязни со стороны русского правительства вызвать новые осложнения на Ближнем Востоке Полякову удалось лишь затянуть дело о покупке балканских ж. д., подкупив для этого Агентство Гаваса, но в конце концов дороги перешли в руки австрийских капиталистов. Гораздо бо́льшую энергию правительство проявило в вопросе о персидских ж. д. Идея проведения последних возникла среди крупных коммерсантов и фабрикантов на Нижегородской ярмарке Уполномоченные этих предприимчивых капиталистов обратились с ходатайством о поддержке к правительству, чрезвычайно забавным образом предостерегая последнее от конкурирующей «компании из нескольких евреев» образовавшейся в Берлине также для получения ж.-д. концессии в Персии Русская компания проектировала проведение колеи от Каспийского моря до Персидского залива, при чем ею были предприняты даже некоторые практические шаги в Тегеране для получения искомой концессии на ж. д., а также попутно и на персидские таможни. Любопытно отметить, что министр финансов И. Вышнеградский с полным сочувствием отнесся к этому проекту. Он указывал, что «осуществление постройки названной ж. д. представлялось бы весьма важным и желательным как в интересах развития торговли русской в Персии и облегчения сбыта туда наших произведений, так и в видах предоставления русским заводам работ и заказов по изготовлению ж.-д. принадлежностей для названной дороги». Как мы видим, в этом любопытном отзыве нашли свое воплощение интересы обоих основных двигателей русского империализма: текстильной промышленности и металлургии.

Почти одновременно с русскими предпринимателями соискателем на ж.-д. концессии в Персии выступил и вездесущий С. Поляков. Он с характерным размахом добивался в Тегеране получения концессий на «все» ж. д. в Персии и получил условное согласие шаха. Данные, сообщаемые Ционом, указывают, впрочем, что за спиной Полякова стояла французская плутократия, обращавшаяся даже по вопросу о покупке турецких ж. д. к Каткову, а затем через Полякова непосредственно к русскому правительству. Вопрос

о персидских ж.-д. концессиях кончился ничем, несмотря на то, что персидский мин. иностранных дел, получивший соответствующую взятку, и написал на концессионном договоре: «Бог оканчивает дела». Однако все эти восточные ж.-д. проекты представляют чрезвычайно крупный интерес. Они доказывают прежде всего, что уже в 80-х годах русский империализм, подталкиваемый финансово-промышленными кругами, начинает серьезно готовиться к поглощению Персии. Нелишне припомнить, что как раз в эти годы русское правительство начинает подготовлять и военную базу в последней, поручив ген. Косаговскому (в 1894 г.) организацию персидской казачьей бригады. Помимо этого, приведенные факты ярко доказывают зависимость русского правительства и капиталистических групп от французской биржи, зависимость, которая безостановочно усиливалась в последующие годы и так ярко проявилась во время мировой войны.

В заключение необходимо сказать несколько слов о внешней стороне издания. Та обработка, которую получила переписка Победоносцева со стороны Румянцовского Музея, никоим образом не может быть названа удовлетворительной. Прежде всего бросается в глаза колоссальное количество совершенно лишних, абсолютно малоценных материалов. Задавшись намерением воспроизвести обязательно всю переписку Победоносцева, редакция засорила оба тома бумажной трухой, случайными записочками, служебными телеграммами и прочей вермишелью. К чему может пригодиться, например, такая записка: «Имею честь представить вашему императорскому величеству телеграмму, полученную мною из Уфы» (Резолюция) «Благодарить», или точное воспроизведение телерафного бланка, с указанием часов отправления и получения, количества слов и со следующим вразумительным текстом: «Приезжайте ко мне, если можете, завтра в 2 часа. Александр». А таких никчемных документов буквально сотни, и если бы редакция выкинула их целиком, то об'ем переписки сократился бы ровно вдвое, и она значительно бы выиграла в цельности и в интересе. Безразличие редакции к воспроизводимым документам доходит до того, что, напр., в первом полутоме помещены четыре письма душевно-больного офицера Романовича, если и представляющих интерес, то не для историка, а для психиатра.

Еще хуже обстоит дело с примечаниями. Вместо того, чтобы составить общий подробный именной указатель по обоим томам, редакция предпочла снабдить каждое письмо отдельными примечаниями. Благодаря этой системе буквально десятки раз воспроизводятся одни и те же характеристики, напр., «граф Лорис Меликов—министр внутренних дел» или «Катков, Н. М.—издатель газеты Московские Ведомости». Благодаря этой нелепой, абсолютно ненаучной системе, примечания, кстати, как видно из приведенных примеров, почти ничего не дающие читателю, необычайно распухли и заняли около ста страниц мелкой печати. Эта неудовлетворительная редакция сильно удорожила цену интереснейшего архива Победоносцева, благодаря чему гигантский тираж в 10.000 экземпляров (!?) рассчитан, очевидно на 10—15 лет распространения книги.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Путешествие.

М. Пришвин.

I.

На своих на двоих.

Есть ложное представление, что будто бы город убивает чувство природы. Я думаю, напротив: город воспитывает естественное чувство, и если мы называем землю матерью, то город—учитель и воспитатель этого чувства к матери земле. Я бы мог доказать это исторически, проследив, например, в живописи, как возникал интерес к интимному пейзажу с развитием жизни больших городов, но как-то проще выходит, если говорить о своем собственном опыте.

Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и неспособным к работе. Будь у меня крылья, я улетел бы с птицами, будь средства, поехал бы открывать тогда еще неоткрытые полюсы, будь специальные знания, примкнул бы к научной экспедиции. Но не говорю уже о крыльях, не было у меня ни денег, ни полезной специальности. Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я овладел собой и сначала научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев—писать о своих путешествиях.

И трудно же было усидеть в Петербурге весной. Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь, как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди—такой уж этот город, окруженный огромными, неосушенными болотами, что, кажется, вся перелетная птица валит по этому рыжему от электричества небу. Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе и так этому удивляются. А случилось как-то сказать в бане на Охте:

— Нынче ночью гусь пошел.

Голый человек на это сейчас же ответил:

— То же и хорек в поле подается.

— Как хорек?

— Очень просто, хорек зимует в Петербурге, а весной выбирается в поле берегом Черной речки; вечером, если тихо сидеть, можно заметить: весь петербургский хорек валит валом по Черной речке.

— И, должно быть, тихо ходит?—спросил другой голый человек.

— Не очень; хорек, знаете, такое вещество чрезвычайно даже вонюч...

И пошел, и пошел разговор о хорьках с величайшей, нигде не писанной подробностью.

Раз я слушал, слушал такие интересные мне разговоры, купил себе за двенадцать рублей дробовую берданку, синий эмалированный котелок с крышкой, удочки, разные мелочи и начал путешествовать. С тех пор ни одной весны я не пропустил, и все весны были такие же разные, как посещенные мною края, каждая имела свое лицо.

Все обычные путешествия имеют к моему путешествию такое же отношение, как дачная жизнь к обыкновенной трудовой жизни, потому что добывание по пути средств существования ставило меня в такие же условия, как перелетных птиц, тысячи верст до мозолей махающих крыльями. Конечно, без риска ничего не выходит, и мое путешествие без денег тоже рискованное предприятие, но зато когда одолеешь, то непременно сверх лишений остается, как у матери ребенок,—большая, прочная радость. Помню, я оплавал почти все Белое море и по Северному океану довольно много в России и в Норвегии, пользуясь местными оказиями рыбаков, добывая себе пищу почти исключительно охотой и милостью людей за случайные подмоги. Приходилось ночевать и на лодке, и под лодкой, и на песке под парусом, и раз даже схватить за ногу через дырочку в парусе токующего на мне самом тетерева. И чего, чего только ни бывало во время этого звериного сна, когда спишь и в то же время все знаешь, что вокруг тебя делается. Но никогда я не заботился, чтобы собирать материалы для повести, никогда бы у меня из такого путешествия не вышло ничего хорошего, потому что оно бы не было тогда свободным, и большое великое должно бы подчиниться малому личному. Я заботился только о добросовестном изучении местной жизни, слушал все со вниманием и заносил иногда на лоскутке бумаги (часто на папиросной) интересные мне слова.

Трудно так путешествовать, но что же делать, попробуйте соединиться с ихтиологической экспедицией на Мурман, и вы узнаете жизнь трески, но поработайте с поморами на их первобытной шняке в океане по улову этой самой трески, и вы узнаете жизнь всего края через жизнь трудового человека.

Лицо края.

Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они есть—ученые специалисты, или энциклопедисты, а таким, чтобы видел лицо края. Многие думают, и этот предрассудок широко распространен, что если изучить край во всех отношениях, и эти знания сложить, то и получится полное представление о том или другом уголке земного шара. Но я думаю, что сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сварить в колбе из составных элементов живого человека. Сколько вы ни изучайте край и сколько вы ни складывайте полученные знания, и все-таки непременно останутся места, на-

полнить жизнью которые может только простак, сам обитатель этого кра Вот мне и кажется, что настоящий краевед должен исходить не от свое знания, например, какой-нибудь ихтиологии, а от жизни самого простак (я не люблю слово обыватель). Для этого, скажут мне, существует наука э нография, но и про этнографию я скажу то же самое; живую жизнь она пр пускает, для того, чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет време ного слияния с жизнью самого простака; самое трудное в этом слиянии, чт его нельзя задумать и осуществлять по программе, а как-то—чтобы оно вы ходило из всей натуры себя самого. В путешествиях, которые, очевидно, и ест мое призвание, я этого иногда достигал, и думаю, что если нарочно не з смысливаться, то множество людей могут черпать в трудовом опыте ценнейши материалы. На это мне делали возражение, что для использования трудово опыта должна быть наличность художественного дарования, удел очень н многих. Я согласен, что в известном кругу общества, правда, художественны синтетический дар имеют очень немногие, но в простом трудовом народ прикосновенном к стихии, он есть общее достояние, как воздух и вода. Ест такая прирожденная у человека способность соединять в своей душе разно родные явления и тем одушевлять и доводить до себя даже мертвые вещи. Есл бы у меня сейчас была под рукой книга Федорченко «Народ на войне», скольк бы я мог привести ярких примеров о наличии в простом трудовом народ художественной стихии. Мне приходится дать пример из своих книг по се веру, далеко не такие яркие как у Федорченко. Раскрываю книгу науга и на каждой странице нахожу что-нибудь характерное.

Море богаче земли.

Помор сказал:

— Море богаче земли. Звери там всякие, рыбы. А мелочи этой и н сосчитать. Солдатики - красноголовики, в шапочках, перед семгой или пере погодой показываются. Да вот еще воронки, вроде как птиченьки, идут, по махивают крылышками. Рак есть там большой, часто лапчатый, хвост ко роткий, звезды. Идут все по дну моря, перебиваются. Море богаче земли

Медуза.

Изумленные странники замечают подводный кораблик. Я хочу сказат им, что это медуза—животное, но кормщик перебивает меня:

— Это морское, тоже б у д е ж и в о е, идет, да помахивает парусом расширится, да сузится, да вперед и вперед, веслом толкнешь вроде как убьешь.

Морской заяц.

Из моря показывается голова. Вода стекает с синеватого лба. Золоты капли блестят на усах.

— Зверь, а что человек,—говорит пахрь.

— На человека он очень похож,—отвечает моряк,—катары, как ру-ченьки, головка кругленькая.

Морской заяц долго плывет за нами, вдумывается кроткими умными глазами, так ли рассказывает моряк пахрю о морской глубине.

Детки звериные.

— К Трем Святителям бельки родятся, детки звериные.

— И деточки есть у них?—спросила старушка.

— У каждого зверя есть дети,—отозвался черный странник.

— От детей-то нам и главная польза,—продолжал моряк;—на них не нужно и зарядов тратить, а матерый зверь от детей не уходит, хоть руками бери.

— Куда же от деточек уйти,—пожалела старушка.

— Детей он, бабушка, любит.

— Детей каждый зверь любит,—отозвался опять черный странник.

— Так-то оно так,—ответил помор,—а только мы замечаем, нет жа-істливей тюленя. Человек и человек: и устройство свое, вроде как бы началь-ника себе выбирают. Из пятнадцати штук один... Головой помахивает, слу-ает, а те лежат, тем что! Промахнешься в начальника, сейчас зашевелятся, йчас в воду со льдины, а те за ним, только бульканья считай. Начальника бьешь пулей, чтобы не капнулся, а тех хоть руками бери. Это от века так, нами начато, так век идет. Главное начальника убить, он стережет, его бота, а тем что! Лежат на солнышке ликуются [1]) парами, что человек. как родит, так в воду, обмоется, выстанет и лежит возле своего рабенка, уж никуда от него не уйдет.

— Куда же от деточек уйти, — сказала старушка.

— Да, отползет немного, смотрит на тебя, матка, да батька, все тут жат, так много, что грязь. Верст на сто ложится,—где погуще, где пореже, все зверь, все зверь. Тут и реву у них не мало, потому матка в воду уйдет, он ревит. Рабенок, рабенок и есть, матка на бок повернулась, а он сосет.

Жена ветра.

К вечеру море легло. Помор сказал:

— Так уже не прямая ли гладинка—море. Краса! Вот и поди ты: днем тер, а ночью тишь. У этого ветра жена красивая, — как вечер, так спать жатся.

Из моря долетает неровный плеск.

— Вода стегает о камень или зверь выстает?

— Вода у камня полощется.

— Краса какая,—жена, жена и есть.

---

[1]) Целуются.

Я очень дорожу этими примерами, потому что в них одушевляется самое отдаленное от нас буде живое, а если бы из человеческой взять жизни, то я бы нашел примеры в тысячу раз более яркие. Вот хоть бы следующее, записанное мною у одного искателя правды.

Жатва.

— Это бог?—спросил я.

— Нет, это человек,—ответил он,—смотри, нивы побелели, наступает время жатвы, пора человеку пуповину от бога отрезать.

Не я автор замечательного рассказа о тюленях, не сумел бы я сказать так сильно о жатве человеков, я только выбирал отвечающее моей душе из массы ненужного. Значит, из элементов художественной деятельности у меня только вкус, остальное все не мое, и я только присоединился душой к общему творчеству, вник и записал. Но если таким простым способом можно добывать великие ценности, то почему же так мало этим занимаются? Почему к жизни подходят со своей малюсенькой, какой-то приват-доцентской темой, а не признают самоценность всякой человеческой жизни и не выслушивают ее признания почтительно, как нечто несоизмеримо большее, чем своя тема? Я думаю, что это происходит от распыления старого мира, в котором мы воспитались.

Разделение прошло так глубоко, что и сам простак говорит на двух языках. Однажды прихожу я в деревню просить общество уступить для школы участок земли. Один мужичок и говорит:

— Ребятушки, этот человек пришел поговорить о наших головах.

— Го-ло-вах!—удивился другой.—Что о наших головах говорить, голова и у быка есть.

— Не о брюхе же говорить с вами ученому человеку?

— Я и не хочу о брюхе, а только голова и у быка есть, да что в том, и ею только землю роет.

— Чего же тебе надо?

— А чтобы не о головах, а что́ в головах.

Тогда я стал говорить о школе, и тот, кто так прекрасно своим языком подготовил успех моей речи, совершенно другим, парадным языком, обращенным не к своим товарищам, а ко мне, образованному, сказал:

— Категорически вам сочувствую, потому как в настоящее время демократизация прогрессивная и все прочее, то я присоединяюсь к вашему заявлению.

Очевидно, человек этот умел говорить на двух языках, на своем природном, и на плохо усвоенном газетном, очень дурном. Наш неестественно отставший народ сохранил природную красоту речи, а образованный класс ее еще очень мало усвоил, и потому в переходных типах бывает такая иско-

верканная речь, похожая на гной, вытекающий из раненого организма. Это, конечно, пройдет, народ познакомится с литературой по прекрасным образцам, но и литература не может так бросить богатства народной речи, далеко еще не использованные.

Что я говорю о словесности, то надо сказать и вообще о краеведении. Это не художники и ученые творят черты лица своего края, а больше простаки. Этим простакам надо начать сознавать себя в общем творчестве, понимать, что вода моховых ручьев бежит в океан, омывающий берега всего мира.

Я говорю об инстинкте, очевидно мне хочется дать какой-нибудь простор при новом строительстве природному инстинкту, в котором находятся атериалы сознания. Мне кажется, что путешествие, передвижение своего ела в новую среду пробуждает первое сознание излюбленного мной простака, , вернувшись к себе домой, он и тут продолжает путешествовать и открывать овые страны возле себя. Так делают все наши простаки, вернувшиеся из лена, но какою ценой дается им это сознание? С ужасом я вспоминаю те збитые фразы истории, которыми говорятся приятные вещи о том, что челоэчество приобрело после крестовых походов: побывав в других странах, юди начали видеть вокруг себя, и «дело культуры пошло быстрыми шагами».

2.

Пережимка.

Закрываю свою пишущую машинку колпаком и по морозцу отправляюсь путешествовать из деревни в город, иду на родительское совещание школу второй ступени и готовлюсь там выступить с отчаянной критикой предложить свою краеведческую программу. Славно утопают валенки в олодом снегу, деревенские дети поздравляют меня «с обновкой» и прерасно называют первый душистый и пушистый снег «дядя Михей». Всего дна верста, и я—на огромном кустарно-промышленном базаре. Присматриаю женские ботики и слышу тихий знакомый голос:

— Это не для вас.

Понимаю, это значит не обувь, а «художество», и сделано так, что ноиться будет только три дня, знаю, что мастер эти ботики гонит, работая асов по шестнадцати в сутки—прелесть кустарного труда! Базар окружен ольшими зданиями, в которых размещены всевозможные кустарные союзы, много о них расспрашивал, но все путаю и осталось только в памяти, что сть союз желтый, есть розовый и красный. В один из этих союзов я захожу просить ботики, но мне говорят, что есть только несколько пар и то не сделаны, нечего и доставать. Спрашиваю себе подметки.

— Сколько пар?

— Одну.

— Для одной не будем канителиться: приходите в будни.

А в лавке полтора покупателя и человек пять служащих.

Нечего делать, иду на базар, смотрю...

— Чего угодно?

— У вас этого нет: подметки?

— Есть, есть!

Шепчет мальчику, тот бежит.

— Не беспокойтесь, я после, я найду...

— Пожалуйте, вот они.

Конечно, покупаю: мальчика гонял из-за меня. Так-то дела делаются! Скверно,—чем старше становлюсь, тем больше и больше сочувствую кооперативам; и все больше и больше через эту серую лавочку мне сквозит человеческая мирная, хорошая жизнь.

В раздумьи о большом вопросе, почему все это не ладится,—хочу зажечь папиросу и вынимаю спички.

— Стой, стой,—закричал кто-то возле меня и дернул меня за рукав.

— Что такое?—удивился я.

— Акциз,—ответил он.

И, вынув свою зажигалку, поднес к моей папиросе.

— Этот огонь,—пояснил он,—без акциза, зачем платить, когда можно и так обойтись?

И сам закурил от того же самого огонька, противного государству.

Разговорились, зашли в трактир чаю попить. Он, оказалось, занимается скупкой ботиков у ремесленников по деревням и уж он-то выберет мне настоящие, только просит, чтобы потихоньку.

— Зачем же потихоньку?

— А вот чтобы не платить этого...

— Акциз?—догадался я.

— Ну, да: поймают, я разорился.

Так встретил я человека, совершенно враждебного государству, но он оказался враждебным и кооперации: он ненавидит кооперацию и уверяет меня, что она никогда не может быть торговой силой и раздувается насильно.

— Потому что, первое, свой карман всегда ближе, я работаю только для своего кармана, а кооператор—для чужого: мое дело успешнее; второе, служу одному господину, своему карману, а кооператор двум—и кооперации, и своему карману, значит, опять мне способнее; третье, я никому не обязан отчетом, мой карман—мой банк, а кооператор ведет книги; четвертое, если свой карман сознаю, то я и чужой сознаю, потому я всегда с покупателем любезен и ласков, а кооператору наплевать на вас...

Не могу припомнить дальнейшие доводы кулака против кооперации, их было, кажется, около десяти. Мне было не по себе, не мог я этому человеку из другого мира сказать свои доводы за кооперацию, что сила ее в соединении, что это момент, когда сила вещей преобразуется в моральную силу, ту силу, которой человек покорил всякую тварь и уложил ее у своих ног, силу, которой и я вижу насквозь этого карманника, а ему меня никогда не узнать... Ничего этого я не мог сказать и только сослался на государственную власть, направленную теперь против «своего кармана».

— Ну, да,—быстро и боязливо согласился он,—против этого я ничего не могу сказать и мало понимаю в этом, вот в Германии, слышал, ну, нам-то что в этом?

— Мы должны помогать.

— Почему же другие-то не хотят помогать ей?

— Потому-что просто: у других правительства буржуазные.

— Все буржуазные?

— Все.

— Стало быть...

Он оглянулся, не слушает ли нас кто-нибудь, наклонился ко мне и рошептал:

— Стало быть, эта вещица только у нас, у одних только у нас?

Я ничего не сказал, и мое молчание было принято, как согласие, он юргнул мне и принялся за чай.

— Настоящий чай изволите кушать у себя дома?

— Китайский.

— А мы начинаем опять о морковке задумываться.

— Что так?

— Сами видите, какие дела, и притом, ежели, как вы говорите, эта ещица только у нас, то в недалеком будущем...

— Переворот?—хотел я сказать.

Но вдруг сосед мой сделал страшное лицо, схватил за рукав, я успел олько сказать «пере...» и оглянулся: к нашему столику подходил какой-то оенный. Мне было унизительно прятаться, я нарочно погромче опять сказал:

— Пере...

— ...жимка!—быстро окончил мое слово мой собеседник.

И так вышел не переворот, а пережимка.

Обрадованный новому, наверно и самому Далю неизвестному слову, я асхохотался на весь трактир и сказал:

— Значит, вас, купцов, опять пережимают теперь посредством коопеации?

— Ну, да,—ответил он,—опять пережимка.

И сам тоже, открыто глядя на военного человека, чему-то расхохоался.

3.

Янус.

Базарные наблюдения и сопутствующие им мысли еще более расширили углубили то, что я решил высказать в школе на родительском совещании. лавное, мне удалось себе, наконец, выяснить и решить самое смутное в моей рограмме место, там, где я говорю о том, чтобы ученый присоединился к ворчеству простаков, а простак стал бы сам сознавать себя. Кооперация, калось мне, должна развязать этот Гордиев узел, потому что она есть момент

рождения моральной силы и общего дела. Кооперация добывает материальные средства и перерабатывает их в культурные ценности—вот цель этой серой лавочки. И если это верно, то краеведение, как общее дело, возможно только через кооперацию. И так просто в этом свете кажется и решение смутного до сих пор вопроса о трудовой школе. Мы согласуем преподавание всех предметов согласно идее кооперативного изучения местного края. И гораздо будет точнее, если мы назовем такую школу не просто трудовой, а школой общего дела... Бесчисленными примерами из своего личного опыта я украшаю свою будущую речь на родительском совещании и мысленно заканчиваю: «Мы не будем фанатиками и оставим слово «мое» для базарного употребления. Пусть те наивные люди делают наше же общее дело, относя его к своему я, мы будем смотреть на это с такой же улыбкой, как смотрим на детей...».

С таким проясненным сознанием вхожу на родительское совещание. Я был тут прошлый год, и трудно рассказать, что в один только год могли сделать два энергичных учителя, Янус первый и Янус второй, так я их называю, потому что оба они произошли от одного существа—двуликого Януса. Янус первый, заведующий школой, взял на себя всю хозяйственную часть, ту часть дисциплины в школе, которая связана с необходимостью принуждения; он наказывает учеников, оставляя переплетать после уроков школьные учебные пособия, выколачивает «добровольные» взносы родителей на экстренные расходы по школе, запирает двери перед носом ученика, если он входит в грязных сапогах; как мрачный дух принуждения, он и живет даже в самом школьном здании, и никто никогда не видел, чтобы он хотя бы на минуту присел—его не любят все ученики и ругают через учеников и родители. Напротив, друг его, Янус второй, заведующий учебной частью, действует только лаской, советом, убеждением, он—открытый враг всякого принуждения и всегда подчеркивает, что взносы родителей на школьные нужды добровольные. Он всегда окружен учениками, дома, в школе, в учительской, и побеседовать с ним без этих свидетелей невозможно—его все любят, все хвалят: и родители, и ученики. В памяти учеников есть одно только темное пятно на светлом лике своего ласкового учителя: была одна неделя, когда этот Янус второй остался без первого Януса и взял на себя хозяйство и дисциплину; говорят, он всю эту неделю кричал и даже будто бы раз жалобно завыл у окна...

Оба друга, действуя согласно каждый в своем, сделали в один год школу неузнаваемой. Прошлый год я видел, как ученики вкатывали в печь трехаршинное полено и, по мере того, как один конец в печи подгорал, проталкивали его дальше; было холодно, дымно, грязно даже в полумраке керосинового освещения. Теперь при входе дежурный мальчик взял мое пальто, подал щетку отереть ноги, от центрального отопления было даже слишком тепло, электричество не оказывало даже соринки. В зале, увешанном диаграммами, работами учеников, за столиком плотно друг к другу сидели Янусы, как два лица одного существа: Янус первый, гладко остриженный, коротко-головый, с крепкой челюстью, и Янус второй, длинноголовый, длинноволосый,

углубленный, Из родителей двухсот сорока учеников был только ветеринарный фельдшер, бухгалтер кооперативной лавки, бараночница и десять жен башмашников - кустарей. Остальные места были заполнены учениками, присутствующими на всех собраниях.

— Родители не желают являться,—сказал Янус первый,—но мы, подождите, сумеем их принудить, если они не желают добровольно, тем хуже для них...

— Я против принуждения,—сказал Янус второй,—постепенно расширяя сознание родителей, мы заинтересуем их, многие из вас были здесь прошлый год, что вы видели тогда и что теперь...

— Спасибо,—раздались голоса,—осветили и отеплили!

В эту минуту моргает электричество, раз, два... Первый Янус бросается к телефону, слышно, как он говорит в трубку:

— Не прерывайте тока на сегодня, прошу вас, сейчас у нас родительское совещание, я вы-ко-ло-чу деньги, ручаюсь вам, на-днях все получите, вы-ко-ло-чу...

Собрание открывается вопросом о немедленной добровольной раскладке на родителей платежа за электричество.

— А если не будет сделано добровольно,—говорит Янус первый,—то...

— Добровольно, только добровольно,—вмешивается Янус второй,—мы не можем это сделать иначе, как только добровольно...

Янус второй рассказывает подробно, как они, учителя, чтобы только существовать, берут по десяти, двенадцати уроков в день, как они, кроме того, должны заниматься хозяйством, порядком, почти не видят своего дома, почти не бывают на воздухе, не знают жизни, ничего не читают...

Все растроганы, возмущены, ветеринарный фельдшер вскакивает, кричит:

— Принудительно, принудительно, раз мы так не можем, то как Петр Великий, чтобы дубинкой, дубинкой...

Бараночница заявляет:

— Я против ничего не имею, только я желаю, чтобы всем ровно и без категорий, все торговцы и ремесленники поровну.

Башмашница возражает:

— Как же так поровну: мой муж шестнадцать часов в день башмаки делает, он труженик, а вы баранками торгуете.

— Мои баранки всем известны, какие мои баранки, а ваши башмаки фальшивыми задниками.

Янус первый звонит. Янус второй предлагает формулу добровольной раскладки. Все понимают, конечно, что слово «добровольный» чисто официальное, иначе нельзя занести в протокол, но бухгалтер кооперации имет счеты с ветеринарным фельдшером и возражает:

— Здесь заявили о Петровской дубинке, нехватает только милиции, а вы говорите добровольное.

Глубоко оскорблен ветеринарный фельдшер, ведь он именно хотел сказать, что Петровскую дубинку должно взять на себя само общество.

— Я сам буду милиционером,—заявляет он,—поручите мне, и я вык лючу.

— Не беспокойтесь,—с улыбкой отвечает ему Янус первый,—нам н нужно ни Петровской дубинки, ни милиции,—я вам обещаю, что деньги я по лучу.

— Принудительно, или добровольно?

— Не все ли вам равно, запишем, что добровольно.

— Конечно, добровольно,—подтвердил Янус второй.

И записали: добровольно.

Тогда было предложено высказаться по учебному плану, и оба Янус посмотрели на меня. А мне представилось, будто я свой план видел во сне очень сконфузился и решил пока помолчать.

Искусство и общество.

(О книге Гаузенштейна.)

И. Гливенко.

Статья 1-я.

Книга Гаузенштейна, недавно вышедшая в русском переводе (изд. «Новая Москва»), появляется в такой момент, когда социологический метод в области изучения искусства привлекает на свою сторону все большее количество русских ученых, и, следовательно, появляется как нельзя более во-время. Опыт построения истории искусства не только в связи, но и в зависимости от социально-экономических факторов, нельзя не признать не только интересным, но и крайне поучительным и знакомство с трудом Гаузенштейна далеко не излишним.

Книга распадается на две части: I. Человеческий образ и общество. Основы социологической эстетики. II. Культурные предпосылки наготы. В первой части, разбитой на двенадцать глав, автор изучает влияние хозяйственной жизни на характер формы изображения человеческого тела; вторая часть является ответом на вопрос: как вообще общественно-исторические условия сделали возможным изображение нагой человеческой фигуры.

В предлагаемой статье мы имеем в виду остановиться лишь на первой части труда Гаузенштейна. Размеры журнальной статьи не дают возможности с исчерпывающей полнотой разобраться в богатом материале, представляемом книгой Гаузенштейна, и потому, в силу необходимости, мы подробнее рассмотрим лишь несколько глав, из которых первые две имеют особо важное значение, так как в первой, озаглавленной «Сущность и необходимость социально-эстетического исследования», автор устанавливает метод своего исследования, а во второй, как видно из самого ее заглавия, дает построение схемы социально-эстетического развития. Последующие главы, из которых мы воспользуемся лишь некоторыми, представляют собой выполнение программы, намеченной во второй главе, по методу, изложенному в главе первой. Заранее принуждены оговориться, что около 150 страниц, составляющих первую часть исследования, настолько содержательны, что изложение их неизбежно примет несколько конспективный характер; однако мы думаем что и в таком крайне сжатом изложении знакомство

со значительным во многих отношениях трудом немецкого ученого-ма ксиста не окажется излишним для тех читателей, которые почему-либо і смогут прочесть самой книги.

«Искусство есть выражение мировой истории. Задачей нашей кни является рассмотрение предмета истории искусства, как частичного выр жения мировой истории. Конечная движущая причина культурных я лений, это — социально-экономический фактор. Иссл дование по истории искусства, имеющее целью проникнуть до границ н учно-познаваемый, или скажем скромнее, умственно-уловимый связи явлени принуждено прослеживать связь, которая существует между проблемами х зяйственной и общественной жизни и проблемами искусства, — верне должна существовать, поскольку мы хотим рассматривать полноту элеме тов человеческого бытия не как беспорядочную массу, но как космическі синтез связанных между собою сил». Этими строками (стр. 7) начина Гаузенштейн свою книгу, достаточно определенно устанавливая в них сво точку зрения на характер построения истории искусства. В отличие от пре них поколений, искавших в истории индивидуальных побуждений, «мы,—г ворит Гаузенштейн,—ищем социально-коллективных побуждений» (стр. 7 «Социальное — вот мера нашего времени и ритм будущего»... История и кусства, берущая исходным пунктом индивидуальное и ищущая повсюду и кусства выражения освобожденной личности, по мнению Гаузенштейна, ес теория буржуазного индивидуализма. Подчеркивание роли индивидуализм и иных его классических деяний искажает действительность. «Теория иску ства, которая в его основе видит лишь индивидуальное, также преувеличи вает жизнь личности, как политическая экономия, которая придает ценнос лишь инициативе предпринимателя, или как политика, которая верит лиц в великих людей, а не — пользуясь прекрасным выражением Лампрехта - в решающий натиск масс» (стр. 9). Необходимо установить отношение все идеологических элементов культуры к первичным формам существовани человека. «Всякая человеческая жизнь есть прежде всего некоторое утве ждение животного бытия, организация хозяйственных элементов для дост жения более высокого и высшего бытия и, наконец, взаимоотношение с с циальной группой во время борьбы за условия существования» (стр. 10 и форма этой первичной борьбы за существование всегда как-либо отр жается в художественных произведениях. Даже то искусство, которое н в каком смысле не может считаться прикладным, выдает пытливому взгляд социально-экономическую обусловленность своего характера.

Таково первое основное положение Гаузенштейна. Следующим осно ным вопросом является вопрос об об'екте исследования в искусстве, инач говоря, вопрос о так называемых форме и содержании. И в этом пункт Гаузенштейн решительно становится на сторону формы. «Социология стил ни в коем случае не может быть социологией художественного материал т.-е. сюжета картин, статуй, рисунков, если она только серьезно смотри на свою задачу. Для социологии стиля дело идет не о влиянии социальны условий на художественный материал, но о влиянии на форму» (стр. 12

И он ссылается на Мейера-Грефе, часть цитаты из которого гласит так: «Произведение может заключать глубочайшую истину, не удовлетворяя даже в малейшей степени художественной потребности, сознательное выдвигание вперед идейной стороны будет вредить художественной». «Эта предпосылка,—продолжает Гаузенштейн,—неизбежна для социальной эстетики в которой утверждается истина, что искусство, это — форма, а материал, выдвигаемый на первый план, это — дидактика» (стр. 13).

Таким образом задача, которую ставит себе исследователь искусства, социолог, состоит в применении метода исторического материализма к проблемам истории развития искусства, поскольку на формах последнего отразилось влияние социально-экономических условий. «И для того, чтобы преградить себе всякий путь к псевдоэстетике, связанной с художественным содержанием, нужно обратиться,—говорит Гаузенштейн,—к художественным мотивам, при которых не приходится иметь дела с легко уловимыми проявлениями политической мысли. Нам нужны эстетические мотивы, которые отличаются настолько общим характером, чтобы их не легко было понять, как социальный манифест; но и не такие, которые, наоборот, были бы так специальны, чтобы трудно было найти их социальное направление; мотивы, наконец, которые всегда пользовались значением во все эпохи художественного развития, и поэтому должны считаться классическими мотивами всякой художественной культуры. Этими мотивами являются формы нагого человеческого тела, — формы самого элементарного человеческого бытия» (стр. 17). «Перед нами простой вопрос: имеют ли формы хозяйственной, общественной, политической жизни влияние на изображение человеческих форм? Можно ли по стилю какого-то тела, понимаемого в духе натюр-морта, угадать его зависимость от социальной культуры?» (стр. 18).

Установив, казалось, так прочно отграничение себя от содержания, даже признав в сущности несчастьем, что он принужден с таким усилием избегать вопроса о художественном содержании, автор несколько для нас неожиданно заключает: «Дело ни в коем случае не обстоит так, будто искусство является отвлеченностью, совершенно не зависящей от содержания. Нам придется бороться только с одним: с литераторской дидактикой, с мертвенностью аллегории и подобным безобразием. В остальном наше исследование имеет вполне ясно выраженной целью — показать значение содержания. Наиболее общим содержанием для искусства является общество. Но настоящее искусство обращается с этим материалом не с поучительным глубокомыслием, но так, что характер формы определяется социальными свойствами эпохи совершенно непосредственно, без какого-либо литературного средостения, без посредничества социальной доктрины» (стр. 19). Такова «сущность и необходимость социально-эстетического исследования», поскольку мы сумели извлечь и изложить это по первой главе книги Гаузенштейна.

Следующая глава представляет собой «Попытку построения схемы социально-эстетического развития». Прежде всего автор устанавливает понятие термина стиль. Определение этого понятия настолько существенно для всего

дальнейшего понимания книги, что мы приведем его целиком: «Идея стил если понимать его в точном значении слова, обозначает замкнутый синт всех форм существования. Стиль в возможно позитивном значении это понятия представляет сущность бытия, организованную полностью, без из ятий, и исключает распыление энергий и направлений в различные сторон динамических устремлений человеческой жизни. Стиль, в позитивно значении этого слова, это — понятие, наиболее враждебное принцип индивидуализации. Он ставит определенную границу аналитическом напору, стремлению к разрыву». «Даже там, — продолжает Гаузен штейн, — где искусство служит предметом усердных работ, может отсут ствовать стиль: именно тогда, когда эти заботы отрывают предмет искусств от культурной общей динамики человеческой жизни, и оно ценится, ка особый священный предмет, только в часы парения духа» (стр. 20). Идея социалистического искусства требует, чтобы оно было обращено на сам собой понятные, ежедневные, ежечасные явления. Это искусство, охватываю щее всех детей народа в широчайшей демократии. Искусство, кото рое действительно заслуживает названия стиля достигается там, где оно является функцией хорошо организованной общины в наиболее общем стиле все равно, отличается ли это общество характером социалистической демократии, феодальной организации или прочно спаян ного абсолютизма. Из последних слов как будто вытекает, что с понятием стиля отождествляется понятие истинного искусства, которое, в свою очередь является таковым тогда, когда оно служит обществу, когда художник под чиняется понятиям коллектива о красоте, а не является служителем индиви дуальных наслаждений.

Как в процессе исторического развития периоды организации общества сменяются периодами усиления индивидуализма, так и в искусстве первым соответствует положительное развитие стиля, вторым—отрицательное. Или иными словами, в истории искусства наблюдается смена «органических» и «критических» эпох.

Наблюдая ретроспективно смену этих эпох, Гаузенштейн устанавли вает, что «господствующий ныне род художественного производства и го сподствующая манера пользования искусством ведут свое начало со времени освобождения буржуазной демократии», при чем это время различно для раз личных европейских стран. Искусство этого периода «носит следы индиви дуалистического творчества художника, отказа от подчинения нагого тела корпоративным нормам, отказа также от общественных, монументальных задач, удовлетворенности частным мещанством и частным дилетантством. Этот род производства вполне соответствует социально-экономическому характеру эпохи. Как буржуазный капитализм находит свой жизненный центр в производстве движимых ценностей и как он обнадеживает индиви дуум господством над этими движимыми ценностями, так и художественное производство становится производством движимых ценностей искусства и является, таким образом, как по своему происхождению, так и по характеру использования, приложением частной инициативы. Живопись становится

станковой, скульптура — индивидуальной пластикой». Таково воздействие на искусство социально-экономического характера буржуазного общества. Это воздействие сказывается и на изображении нагого тела. «Нагое тело всегда является предметом изображения в культурах, способных к некоторой патетической экзальтации... Эпохи крайне-буржуазного искусства легко оставляют в стороне нагое тело: они охотно изображают человека, который испытывает приятное чувство от хорошо одетого тела в хорошо омеблированном intérieur» (стр. 26).

Иной характер представляет собой искусство средневековья: «Если новая эпоха денежного хозяйства, начинающаяся с Ренессанса, является критической мировой эпохой,—эпохой дифференциации, анализа, индивидуализации, то средневековье есть органический мировой период,—период установления связи, коллективного—хотя и иерархически-коллективного—духа.

Эпоха не дифференцирования и индивидуализации, но, как сказал бы Спенсер, эпоха интеграции; эпоха выдвигания на первый план общего, которое является неот'емлемым добром всех членов общества; эпоха выдвигания на первый план общечеловеческой стороны явлений» (стр. 27). Лозунгом эпохи была о р г а н и з а ц и я во всех направлениях. При таких условиях организации общественности и искусство становится общественным делом. В искусстве господствует корпоративный дух, выразившийся в художественных обществах и цехах, обращающих свою деятельность на создание художественных памятников общественного характера, прежде всего — соборы, храмы. Во время раннего средневековья общественный характер искусства выразился еще отчетливее. Стиль искусства отвечал почти иератически-феодальному стилю общества. А художественный стиль феодально-иератических обществ всегда стремится вызвать впечатление количеством. Количественное в искусстве Гаузенштейн определяет так: «Героическим, колоссальным, простым, как сама феодальная культура, безразлично, светская или духовная, является перед нами и художественный стиль. Это показывает фресковая романская живопись» (стр. 28).

Закономерность в смене органических и критических эпох с соответствующей ей сменой положительного и отрицательного стиля не ограничивается западно-европейским миром; она действительна и для совершенно других культурных миров, напр., для античного мира, который также прошел через оба эти периода: органическую и критическую эпоху. Первая — это героическая, иератическая рыцарская эпоха греческого культурного развития, эпоха совершенно феодальной, хозяйственной и социальной культуры; ее художественным выражением является архаическое искусство. Вторая эпоха — критическая, это — эпоха буржуазной демократии колониальных народов Ионии и Великой Греции и эллинической культуры V, IV столетий, эпоха буржуазного денежного хозяйства, торговли, ремесла, капитала. Художественным выражением этой эпохи является творчество Поликлета и его школы, и еще более—позднейших художников, для которых были возможны иллюзионистски-натуралистические произведения с их трепещущими телами (стр. 29).

Отсутствие смены указанных эпох в таких искусствах, как индусскс мексиканское, ассирийское, персидское и др., отнюдь не противоречит ус новленному закону. В культурах этих стран художественное произведен всегда отмечено стилем застывшей торжественности, и этот факт об'ясняет тем, что эти культуры никогда не перешагнули через ступень феодального х зяйства и общества. На примере Японии видно, как вместе с возникновени в ней общества с резко буржуазным характером «исчезло благородное ко сервативное направление искусства».

Так диалектическая социальная экономика дает возможность п строить социально-эстетическую схему. Она формулируется Гаузенштейнс следующим образом: «Органические и критические эпохи меняются в истори и каждая эпоха концентрирует в стиле своих художественных форм сти своего общества. Этим самым художественный стиль становится высшим в ражением общей наружной энергии эпохи — не только ее психической, также и ее материальной животной энергии, которая является основани всех человеческих чещей» (стр. 32).

Установив таким образом сущность своего метода и определив схе исследования, Гаузенштейн переходит к рассмотрению последовательных п риодов в развитии искусства, начиная с социальной эстетики первобытно искусства (глава III). «Первые проявления человеческого искусства отл чаются, поскольку позволяют судить дошедшие до нас памятники, впол определенными натуралистическими признаками. Только по истечении н туралистического первобытного периода развилась строгая стилистическая но мировка явлений» (стр. 35). Различие это является следствием разделения эпо по социально-экономическим основаниям. Натурализм более ранней эпох первобытного искусства отличает искусство охотничьих племен. Стил стическое искусство позднейших периодов, это — искусство эпохи, ког развивается скотоводство и начинается разведение растений. Посколь охотничий промысел по самому своему существу неизбежно влияет на ра витие индивидуальности, постольку занятие земледелием и скотоводство способствует коллективистической кооперации. Различия социальных усл вий влекут за собой различия в характере искусства. «Душевная организ ция первобытного охотника и первобытного земледельца,—говорит Гаузе штейн,—неизбежно действовала на образование художественных форм. Охо ник не мог создавать образы иначе, как натуралистические, первобытн земледелец — иначе, как стилистические» (стр. 36). Изображения животн у охотников поражают верностью жизни и природе, своим реализмом; а ч касается художественных изображений последующего периода, то фигур идолов, животных, людей отличаются условной стилизованной формой. Га зенштейн подводит под эти оба вида искусства социально-экономическу базу: «Импрессионистский натурализм внутри первобытного мира, это — искусство первобытного охотника и определяется социально-экономическим формами существования этого охотника. Напротив, строго стильное напра вление внутри первобытного мира, это — эстетическая надстройка в обществ которое занято первыми проблемами крестьянского оседания на земле, ко

торое в сознании усилившейся зависимости от неба и земли создает самые ранние мистерии религиозных представлений. Изображение человеческого тела при этой смене эпох перестает быть игрой формами, результатом почти животного стремления к созданию фигур и становится результатом религиозного интереса к формам,—интереса, побуждающего к созданию идолов, в формах которых выражены метафизический страх или магическое заклятие» (стр. 40). Первобытный охотник в силу своего положения является пропитанным духом языческим, атеистическим, безрелигиозен. Рисунки охотника являются продуктами чисто эстетического побуждения к игре и далеки от всякого *символизма, всякого сверхчувственного значения; они* — отражения ищущей выхода энергии наблюдения, направленной на зоологические и антропологические явления. Социально-экономические изменения должны были отразиться и на изменении психики первобытного человека различных периодов. В отличие от первобытного охотника, человек последующего *периода не верит в* конечность чувственных явлений, «его жизненная энергия уже сильно концентрируется в духовном, и он не может верить, что вещи замкнуты в самих себе, что у них нет никакого потустороннего бытия, никакого «завтра». Этот тип первобытного человека склонен к мучительной мистике, к развитому пандемонизму, он — религиозен. И таково его искусство, таково и его изображение человека» (стр. 43).

В конечном итоге, в первобытном искусстве резко отличаются две эпохи: натуралистического импрессионизма, искусства индивидуально-анархического, и искусства, отмеченного определенным стилем и отвечающего органической эпохе, эпохе первобытного товарищества, синтетического на первобытный лад общества. Это искусство, главным образом, условного орнамента с религиозным смыслом. «Во все органические эпохи, — утверждает Гаузенштейн,—искусство было орнаментально, декоративно и религиозно».

От первобытного человека Гаузенштейн переходит к «Общественному стилю древне-восточного искусства» (глава IV). Древние Египет, Ассирия, Персия представляют собой общества с очень крепкой организацией, с определенно выраженной феодальной, хозяйственной и общественной организацией. Их искусство должно быть выражением эпох «в высшей степени органических», а следовательно, должно иметь определенный стиль. Стиль этот стремится к художественному выделению общественных верхушек, «искусство становится статуарным, и задачей формы становится выражение самосознания, *а также благочестие господствующих лиц или классов». Как уже было* сказано выше, феодализм развивает культ количественного. Так, в Египте это выразилось в колоссальных статуях фараонов и особенно в пирамидах. Это, по словам Гаузенштейна, находится в полном соответствии с социально-экономическими условиями: «Как феодализм в хозяйственном отношении опирается на принцип наибольшего валового дохода и видит цель хозяйственного присвоения благ в неограниченности потребления, так и эстетическая обработка форм во всех феодальных культурах резко направлена на массивное и количественное» (стр. 48). Эта колоссальность художественных изображений могла быть создана только социальной культурой деспотии, «в

безумной роскоши, уничтожающей работу платящих дань племен». Харак' культуры отражается и на изображении человеческого тела. Очень сил‹ увеличенное по размерам, выпрямившееся тело,—таково изображе‹ властителя; «подданным приличествует то, что греки презрительно назыв‹ проскинезисом: собачье ползание, самоунижение восточного подданного четвероногого существа», равно как и величина тел подданных всегда дол‹ быть значительно меньше фигуры монарха. Прямая фигура фараона и не‹ пустимость вертикального положения для подданных, по утверждению Г‹ зенштейна, отнюдь не об'ясняется содержанием художественного произве‹ ния. «Никоим образом не относится к содержанию искусства указание ег‹ толога Эрмана,—говорит Гаузенштейн,—что египетская живопись изобража‹ человеческое тело в разных формах в зависимости от социального про‹ хождения изображенного: эстетика, установленная по отношению к ли‹ высокого происхождения, совершенно другая, чем интерес к формам, об‹ щенный на народ. Изображение аристократической формы подчиняется египетском искусстве торжественной стереотипности, канону. Изображен‹ тела простонародья опирается на закон образования форм, установлен‹ аристократической эстетикой, и знаменитый деревенский староста с успех‹ выражает иератически-феодальное достоинство фараонов».

Следующий этап в развитии стиля в зависимости от общественных п‹ чин представляет собою греческое искусство, которому посвящена V гла‹ озаглавленная: «Общественные основы греческого стиля изображения наг‹ тела».

Греческое искусство прошло в своем развитии несколько ступене‹ Первый период, который доступен нашему наблюдению, это — эпоха фе‹ дального уклада, каким его рисует гомеровский эпос. В искусстве он отмеч‹ аналогичным древне-восточному культом количественного, грандиозно‹ Если даже считать несомненным египетское влияние на этот стиль, то э‹ влияние оказалось действенным именно потому, что оно соответствовало с‹ циально-эстетической степени зрелости эгейского запада (стр. 60). Но в м‹ кенском стиле Гаузенштейн отмечает отчетливые следы некоторых традиц‹ доисторической культуры. Этот стиль представляет собой парадоксальн‹ гармоническое сочетание двух стремящихся отделиться друг от друга эл‹ ментов — стиля и натурализма. «Этот свободный характер формы, пр‹ краснее которых не создал даже Ренессанс, есть результат взаимодейств‹ двух различных социальных факторов: относительно индивидуалистическ‹ жизненная энергия охотничьей эпохи скрещивается с тяжелыми условн‹ стями более синтетического общества, которым полувосточный деспоти‹ правит с помощью туго натянутых вожжей» (стр. 60, 61).

Что касается изображения тела, то оно также претерпело ряд посл‹ довательных изменений. Греческий феодализм, как он особенно выразил‹ в древних царствах Спарты или Афин, будучи до некоторой степени близо‹ к социальному складу древнего Египта, не достигал, однако, никогда египе‹ ской грандиозности. Гаузенштейн сближает характер этой эпохи с харак‹ тером немецкой эпохи Гогенштауфенов, усматривает в ней рыцарский ду‹

)пределивший сущность изображения божества. «Бог является вполне идеа-
юм рыцарски-утонченного властвующего человечества» (стр. 62), так ха-
)актеризуется статуя Аполлона Тенейского. Что касается положения тела,
го и здесь спокойная, прямо стоящая фигура являлась выражением благород-
тва. И это понятие о приличном положении тела, соответствовавшее фео-
ально-аристократическому стилю, долгое время держалось и в буржуазных
ругах классической античности. Со временем, однако, понятие прямоты стали
онимать не только в физическом, но и в моральном смысле, что соответ-
твовало именно буржуазному мировоззрению (стр. 64). Дав хороший
черк поступательного движения буржуазии, ее зарождения, борьбы с фео-
альным дворянством и, наконец, победы (стр. 64, 66), Гаузенштейн отмечает
)ответственные моменты в изменениях изображения человеческого тела. За-
тывшая, спокойная фигура, символизирующая вечность и неизменнность,—
исто феодальный стиль, с одной стороны, и фигура, подобная метателю
иска, запечатлевающая лишь непродолжительный момент, с другой —
исто буржуазный натуралистический характер изображения, между ними—
игуры Гармодия и Аристогитона, в которых напряженная стройность со-
тается с возбужденными жестами, таким образом смешивая элемент
еодальный с буржуазным. В IV столетии натуралистический индивидуализм
зживает себя, как изживает себя и индивидуализм экономический. Вместе
победой империализма Александра Македонского возникает и отвечающий
іу стиль, и поскольку империализм является формой социального синтеза,
)столько и искусство стремится быть синтетическим; но не будучи в со-
оянии создать оригинального синтеза форм, он обращается к архаическим
іразцам. Такова линия движения античного искусства у греков.

Оставляя в стороне, за недостатком места, рассмотрение последую-
их глав, трактующих об европейском искусстве, остановимся на наиболее
изкой к нам эпохе XIX века, которому посвящена последняя XII глава
рвой части, озаглавленная: «Общество и человеческое тело в эпоху инду-
риализма».

Культ формы, «искусство для искусства», становится настоящим де-
зом буржуазной деятельности XIX века, говорит Гаузенштейн. Причины
зникновения этого культа он усматривает в сильном дифференцировании
изненных отношений, которое есть наиболее общий признак частно-ка-
талистических отношений хозяйственной политики XIX века,—века спе-
ализации, индивидуализации и суб'ективизма. «Буржуазный либерализм,
о—уничтожение всех социальных условностей, отрицание организованного
ловечества». На примере Франции Гаузенштейн иллюстрирует несколько
апов истории искусства этого периода. Рост буржуазии и развитие инду-
риализма и специализации прежде всего в области искусства отразились
ень своеобразно на самой буржуазии; в буржуазном мире социально-эко-
мическое дифференцирование достигло гиперболических размеров. Раз-
жение всей общественной воли по специальностям не только лишило боль-
інство людей, почти всех нехудожников, художественных потребностей,
даже отняло у них возможность быть об'ектом искусства — гениальность

модели, талант быть изображенным. «Специфическое приспособление б; жуа к искусству, это—талант быть карикатурно изображенным. Это—ед; ственная услуга, которую художник с чувством стиля может ждать от б; жуа»... С одной стороны, карикатура (Домье), с другой—протест Карти вроде «Сарданапала» (Делакруа) с его кучей жадно льнущих друг к др; тел, является ниспровержением буржуазной нравственности и буржуазн(общественного порядка.

Но вот наступает 1848 год,—год февральской революции, национа. ных мастерских, пролетарских июльских боев и ссылок рабочих,—год, ко| «пролетариат развивается в европейскую великую державу». Но лишь толь «новая социальная сила нашла свое выражение, как ей была дана и ху, жественная форма». Эти новые формы находят свое выражение у Делакр; Домье. «Домье страстно восторгается низшими слоями демоса. Многочı ленны и великолепны его изображения нагих тел, говорящих о плебейск монументальности. Но Домье не одинок». Г. Курбе с его формулой «savoir pour pouvoir», — чтобы мочь, надо знать, с его требованием «живого иск; ства», т.-е. искусства, изображающего жизнь, устанавливает новое напр вление в живописи. «Какие социально-политические условия реализма изс ражения нагого тела у Курбе?» — спрашивает Гаузенштейн и отвечае «В Курбе ни в коем случае нельзя видеть исключительно выражения бу жуазной культуры. Уже в искусстве Делакруа и Домье, а затем и у Мил с его жреческой патетичностью, действует новая социальная сила: рабочи как чувственно оформленный и чувственно подвижный феномен. То же Курбе».

Созданием прежде всего социально-политических условий ярко бу жуазной общественности является и импрессионизм. «Он является преж всего последним выводом из буржуазного индивидуализма. Все интегральнı элементы исчезают, принцип дифференцирования, господствующий в с циальной жизни буржуазного общества, доводит анализ чувственного явл ния до последних пределов. Этот анализ заходит так далеко, что можı сказать: только ко времени импрессионизма можно отнести начало де ствительной гибели общественного искусства. Буржуазное общество изол ровало художественное произведение, как оно изолировало индивидуум И с точки зрения этой дифференциации импрессионизм, возвысивший иску ство эскизов plein air до цели живописи, является величайшим, смелым и своем роде грандиозным деянием буржуазной эпохи. И, однако, несмотря ı такое крайнее выражение сущности буржуазии, импрессионизм имеет дво кий характер. «Вполне установлено, — говорит Гаузенштейн, — что глашата импрессионизма с величайшей симпатией относились к рабочему движениı что революционный темперамент, сказывающийся в рабочем движении, пı служил источником силы для их собственного темперамента, который оказа очень большую услугу в решении задачи революционизирования формы искусстве. Сильный корпоративный дух великих французских импресси(нистов также коренится в условиях эпохи».

В итоге Гаузенштейн так формулирует в общих чертах двойствен-ный характер импрессионизма: это — «искусство аналитически-специали-стической эпохи, одновременно в высшей степени суб'ективное, хотя и со-держит в себе энергии, которые стремятся к безличному, коллективному». онечная оценка искусства XIX века с точки зрения его общественности зусловно отрицательна: «современное искусство лишено организованного оциального базиса. Оно аполитично, суб'ективно, оно расщепляет целое на оизведения специалистов. Для синтеза у искусства нет решающего эле-ента, ему недостает цельного понятия общественности, для того, чтобы оявить свое действие. Социализм хочет дать его, это понятие одушевляю-ей, упорядоченной, уравновешенной шири. Наша общественность все еще одится к трению тысяч капиталистических частных хозяйств. При таком стоянии никакое общественное искусство не может процветать». Для того, обы появилось такое искусство, нужна новая общественность, нужна новая ла. И «эта сила идет. Эта сила — мощный коллектив рабочих, новый на-д; по прекрасному выражению Рихарда Вагнера — «общество тех, кто пытывает общую нужду». Но это новое общество творит еще в «царстве обходимости», как имел обыкновение выражаться Энгельс. Дело идет пока лько о рациональной организации хозяйства, общества и политики. Для вого общества еще не наступило «царство свободы». Это новое общество, дготовляемое рабочим движением, будет неизбежно коллективистским. Су-ествование народного коллектива обусловливает и возможность коллектив-й художественной работы. Коллективное творчество создаст стиль, кото-й будет коллективистичен, т.-е. он об'единит многих для общего насла-дения.

Такими приблизительно словами кончается последняя глава, а вместе нею и первая часть книги Гаузенштейна.

Талантливый труд немецкого ученого заслуживает детального изуче-ия, возбуждает много мыслей, дает новое направление изучению истории кусства. Должную детальную оценку невозможно вложить в журнальную атью, приходится ограничивать себя и высказать лишь несколько за-мечаний более общего и принципиального характера, и, конечно, — таков удел критика, — отметить прежде всего те моменты, которые вызывают мнения и не могут быть с нашей точки зрения признаны бесспорными.

Повторяя, что в общем и целом книга Гаузенштейна представляет со-ю ценный труд, достоинства которого бесспорны, нельзя не указать, что ней есть пункты, которые, по нашему мнению, до некоторой степени ума-ют ее значение. Прежде всего шатким является положение Гаузенштейна носительно так называемой формы. Как уже было цитировано выше, Гау-нштейн считает, что об'ектом изучения искусства должна быть форма ху-жественного произведения, а не его материал, как он говорит, или сюжет или держание. Но, с одной стороны, он не дает определения того, что надо нимать под формой, а с другой, заняв как будто бы очень определенную зицию, он постоянно с нее соскальзывает. Действительно, иллюстрируя

свои положения теми или иными примерами, он прежде всего говорит о содержании; так, например, он говорит об изображении животных, фараонов, богов, ставит в заслугу новейшим французским художникам, что они стали изображать пролетария (Курбе, Менбе). «Жерико был в достаточной степени социал-психологом для того, чтобы искать эту (новую) действительность в госпиталях, анатомических театрах, домах умалишенных, богадельнях, и со страстной ненавистью противопоставлять ее лишенным содержания культурным фикциям реставрационного периода». «Крубе с большим усердием выписывает тип плебейски-пышной женщины». Таких примеров, где говорится, конечно, о содержании, можно привести достаточно. Попытка разделять в искусстве форму и содержание для нас представляется явным недоразумением и менее всего понятна в устах исследователя социолога. Ведь в том, что именно властитель у египтян изображался в форме колоссальной величественной статуи, а подданный в форме жалко пригибающейся фигуры, сказывается определенная идеология, определенное отношение между двумя общественными группами.

Возможно, однако, что недоразумение происходит от неудачного применения слова форма и своеобразного понимания его автором. Некоторые цитаты как будто могут подтвердить эту мысль. «Едва новая социальная сила нашла свое политическое выражение, как ей была уже дана и художественная форма»,—говорит Гаузенштейн по поводу интереса Домье к изображению «низших слоев демоса», и далее в другом месте: «художниками владевает интерес к форме нового класса». В приведенных фразах термин «форма» явно не соответствует той мысли, которая в них выражена. Если вместо слова «форма» поставить слово «изображение», то все станет ясным. Но изображение есть форма неразрывная с содержанием, ибо мы только через форму познаем содержание, и малейшее изменение формы неизбежно влечет за собой изменение содержания. Благодаря этой неясности термина получилась некоторая спутанность и невыдержанность, проходящая через всю книгу.

Но, ограничив рамки своего исследования изучением форм, Гаузенштейн идет еще дальше. Чтобы преградить себе, как он говорит, «всякий путь к псевдоэстетике, связанной с художественным содержанием», он избирает для своего изучения «мотивы, при которых не приходится иметь дело с легко уловимыми проявлениями политической мысли», а таковыми по преимуществу являются формы нагого человеческого тела. Устранять из своего поля зрения громадный материал художественных изображений вне нагого человеческого тела, из страха впасть в псевдоэстетику, вряд ли целесообразно, и такое чисто искусственное устранение неизбежно должно отразиться на полноте и убедительности исследования, и Гаузенштейн невольно переходит за рамки, им самим себе поставленные, и оперирует и с другими видами художественных изображений.

Конечно, каждый автор более или менее свободен в выборе своей терминологии, и читатель должен считаться с его определениями, но все же определение «стиля», а в связи с ним и понятия искусства, нам также предста-

вляется несколько искусственным. Гаузенштейн неоднократно в своей книге противопоставляет стиль натуралистическому, как он называет, или реалистическому, как сказали бы мы, изображению, при чем искусство, характеризуемое тем или иным стилем, по его мнению, имеет право называться истинным искусством, так как стиль есть показатель общественного искусства, натурализм же есть искусство индивидуальное, а следовательно, как будто бы и не истинное, тем более, что натурализм есть неизбежная принадлежность буржуазии. Такое противопоставление вряд ли можно признать бесспорным, мы считаем его по существу неправильным, и для нас совершенно неясно, почему условный орнамент земледельческого периода есть истинное искусство, а поразительные изображения зверей охотничьего периода— только импрессионистский натурализм. Здесь опять-таки явное недоразумение. Мы не можем отказаться от того, что реализм есть определенный стиль, что он есть искусство, и искусство в общественном смысле очень показательное, поскольку оно связано с определенным классом, в определенный момент его существования, его классового самосознания. Сам Гаузенштейн говорит, что «социалистический идеал требует, чтобы искусство было обращено на сами собой понятные, ежедневные, ежечасные явления», а ведь это в конечном итоге и может дать не только «стиль», но и реализм.

Отрицательно относясь к тому, что не есть «стиль», Гаузенштейн проникается каким-то умилением к искусству стиля. Так, он дважды повторяет об исчезновении в Японии «благородного, консервативного» направления благодаря резко-буржуазному характеру общества в XIX веке. Автор как бы сожалеет об исчезновении феодального периода в истории Японии, создавшего этот торжественный, благородный стиль.

[Заметим попутно, что автор иногда склонен к ненужно досадным в ученом труде поэтическим толкованиям и восклицаниям, вроде: «недостает музыкального пафоса венецианской формы, шумной оркестровки нагого женского тела» (стр. 158); или: «там, где задеты мотивы религиозной эротики, где приводится имя Иштар, ассирийской Венеры, смягчается рубленая резкость стиля, а форма предложения принимает сладострастную пространность»; или, наконец: «Искусство — это любовь. Искусство — это высшая форма социальной эротики».]

Наконец, еще одно замечание. Всякое художественное произведение, будь то картина, статуя, поэтическое произведение (мы остаемся в сфере изобразительных искусств), прежде всего отражает собой то или иное мировоззрение, то или иное отношение автора и стоящей за ним группы зрителей, слушателей, читателей, одним словом, потребителей произведений искусства к окружающей их действительности. За совокупностью художественных изображений исследователь должен рассмотреть ту или иную общественную группу, идеологию которой в художественной форме данный вид искусства выражает. Таким образом устанавливаются категории художественных произведений, отвечающие тем или иным общественным группировкам. Характер художественного изображения дает возможность установить отношение той или иной группы как к самой себе, так и к другим

общественным группировкам. Сопоставление добытых таким обследованием результатов раскроет нам картину взаимоотношений между общественными группами и поможет определить относительное значение той или иной группы в социальном строе данного общества в определенный момент. Художественные произведения покажут нам эти группы находящимися в состоянии борьбы или перемирия, поражения или победы той или иной из них. Если это так, а мы настаиваем, что это так, то при исследовании художественных произведений необходимо прежде всего изучение не только течений, доминирующих в тот или иной период, но и целого ряда других, так как господствующее течение в искусстве отвечает лишь господствующей общественной группе; знакомясь с ним, мы узнаем победителей, но не видим побежденных или борющихся, или еще готовящихся вступить в борьбу. И вот этого-то отчетливого рисунка, дающего характеристику отражения в искусстве взаимоотношений общественных групп, не дает нам Гаузенштейн, говорящий нам преимущественно о победах. Благодаря этому, получается такая картина, будто целые, иногда длительные, периоды в истории целой страны, находятся в каком-то неизменном состоянии, и получается представление о возможности какого-то общенационального искусства. Вместо сложного процесса, отвечающего всей сложности общественных отношений, — очень широкое, но захватывающее лишь вершины, и очень схематическое обобщение.

Справедливость требует, однако, признать, что сил и знаний одного человека вряд ли может хватить для того, чтобы выполнить ту огромную работу по изучению и группировке не всех даже, а хотя бы совокупности произведений одного из видов искусств; тут необходима коллективная работа многих работников, об'единенных одним методом, опыт применения которого на одной из отраслей искусства дает нам немецкий ученый.

Литературные силуэты.

А. Воронский.

Сергей Есенин.

I.

Есенин вошел в нашу отечественную поэзию со стихами о деревенкой Руси. За исключением последнего периода творчества, у Есенина почти ет лирики любви. Место любимой у поэта занимает Русь, родина, родной рай, нивы, рощи, деревенские хаты:

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

Русь Есенина встаёт в тихих заревых вечерах, в багрянце и золоте сени, в рябине, в аржаном цвете полей, в необ'ятной сини небес. У поэта реобладает золотое, малиновое, розовое, медное и синее. У него даже лес ызванивает хвойной позолотой. «О Русь, малиновое поле, и синь, упавшая реку». Поэт хорошо воспринимает также осеннюю грусть, журавлиную оску сентября, древность наших вечеров, заунывность наших песен, печаль аших туманов, одиночество и забытость наших хат, солончаковую тоску, емоту синей шири.

Русь Есенина в первых книгах его стихов—смиренная, дремотная, древучая, застойная, кроткая,—Русь богомолок, колокольного звона, монастыей, иконная, кононная, Китежная. Правда, поэт знает и чувствует темноту той Руси, он слышит звон кандалов Сибири, называет свою страну горевой, о вдохновляет его в «Радунице», в «Голубени» не это. Деревенский уклад, еревенский быт взяты поэтом исключительно с идиллической стороны. Каорга сельского под'яремного труда, непосильность, измызганность житьяытья крестьянского, весь предреволюционный, накопленный веками социльный гнев, ненависть, злоба, мятежность деревни остались за пределами удожественного восприятия поэта. Его деревня живет в нерушимом ире и в покое. Как будто нет ни помещика, ни кулака, ни урядника, ни ютой бедности. В хатах пахнет драченами, квасом, тихо ползают тараканы;

«старый кот к махотке крадется на парное молоко», «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты». В поле «вяжут девки косницы до пят», косари слушают сказы стариков. Сохнет рожь, не всходят овсы: нужен молебен. Все тихо грезит, все издавна отстоялось, прочно осело; ничто и никто не угрожает твердости этого уклада. От этой неподвижности хаты, овины, поля, речки, люди, животные кажутся погруженными в полусон, в полуявь. Даже такие «случаи», как набор рекрутов, не нарушают этой идиллии. Рекрута играют в ливенку, гоняются за девками, развеваются платки, звякают бусы. Сотники оповестили под окнами итти на войну. Безропотно, безответно, покорно собираются пахари класть животы свои на поле брани.

Всеконечно, деревня далека была от этой безжалобности, беспечальности и кротости. Она пережила уже 1905 год, когда по помещичьим угодьям основательно погулял красный петух, и царская опричина в кровь и в смерть «успокаивала» крестьянство, когда деревенские антагонизмы достигли почти предельной остроты, напряженности и глубины. В повестях Ив. Вольнова уже отчетливо выглянула и новая деревня кануна революции. Во фронтовых записях Софии Федорченко, вопреки воли автора, с достаточной выпуклостью показано наличие и рост того стихийного большевизма среди солдат, опираясь на который рабочий совершил впоследствии Октябрьскую революцию. Все это общеизвестно. Гораздо интереснее иное. Есенин— не барчук, не дворянчик, не патриотический интеллигент, чуждый по своему характеру и складу деревне, кто слащаво и не без задней мысли часто воспевал мирных мужичков-пейзанов, безропотно поставлявших в поте лица своего снедь, злаки, натуральные и денежные оброки, соответственную арендную плату выродкам и пенкоснимателям, умилявшихся в барах и ресторациях кротости меньшого брата. В стихах Есенина, в некоторых мотивах, чувствуется сын земли, сын хаты, деревенский кудрявый парень, от ливенки и частушки пришедший в город со своими песнями, навеянными ивовой грустью, малиновыми зорями, овсом и рожью. Есть в них искренняя любовь к скирдам, к тополям и рощам, к коровам и кобылам. Оттого у поэта «рыжий месяц» жеребенком запрягается в наши сани, или кажется щенком, либо ягненком, который гуляет в голубой траве, заря на крыше—котенком, моющим лапкой рот, волосы любимой — снопом волос овсяных, солнце—желторотым отроком, вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под уздцы, тучи плывут и рвутся о солнечный сошник, мрак плывет синим лебедем, вьюга уподобляется тройке, «тучи с ожереба рвут, как сто кобыл», «небо — словно вымя. звезды — как сосцы» и т. д. И нужно верить словам поэта:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

«Неизреченной животностью» полны для поэта не только края родные, но и небо, солнце, вселенная. И когда поэт пишет о мокрой буланой губе, о ячменной соломе, свисающей с губ кивающих коров, о смоле качающихся грив, эта «неизреченная животность» м а т е р и а л ь н о ощущается

читателем. Это—органическое, свое, настоящее, а не наносное со стороны, хотя часть образов и кажется вычуркой. Есенинская любовь к родной деревне питается прежде всего этой «неизреченной животностью».

Почему же, однако, поэт, чуткий к журавлиной тоске сентября, к мокрой буланой губе, к меди нашей осени, прошел мимо той деревни, которая не только беззлобно и беспечально растягивала тальянки и покорно набивала обой вагоны — сорок человек и восемь лошадей, но и боролась против «прижима», а позднее воткнула штыки в землю, свергла «прижимы» и осоветилась? Ответ на этот вопрос следует искать в религиозности Есенина. И «Радуница», «Голубень», и «Трирядница», и иные многие стихи поэта окрашены и пропитаны церковным, религиозным духом. Со златой тучки глядит Саваоф, среди людей ходит с дорожной клюкой кроткий и голодный Спас, путешествует мужичий святой Микола, на легкокрылых облаках спускается «возлюбленная мати». В предисловии к последнему собранию своих стихов Есенин сообщает: «самый щекотливый этап, это—моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка. Литературная среда 13—14—15 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка; поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отмахиваюсь сейчас руками и ногами. Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я—реалист, и если есть что-нибудь туманное во мне для реалиста, то это—романтика не старого нежного домообожаемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения... Мистики напоминают мне иезуитов. Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии».

Оставляя пока в стороне вопрос о том, является ли религиозный этап творчески принадлежащим поэту, нужно отметить, что на творчески принадлежащем поэту несомненно пагубно отразилась дедовская религиозность. На примере ранних поэтических произведений Есенина очень отчетливо и показательно видно, как религиозность и прочие подобные «протухшие настроения» застят глаза, как в тумане этих настроений скрадываются, мутнеют, становятся незаметными реальные очертания вещей и людей, как вместо твердых, упрямых, четких контуров и линий действительности выступают нежные, обманные пятна, мзга, хмарь — недаром у Есенина линия в поэзии отсутствует и он—поэт мягкого багрянца и золота,—как живая жизнь в туманах мистики преображается в фантазмы, в баюкающие миражи, в тихие беспечальные острова блаженных. Отсюда один только и

притом непременный шаг к кротости, к идилличности. к послушанию, к с
рению и прочим добродетелям, очень выгодным для властелинов и оприч
ков. Благодаря этому разлагающему и размягчающему влиянию дедовс
прививки и получилось то, что, реалист по духу и по направлению сво
творчества,—Есенин не отразил ту деревню, которую мы имели в действите
ности. По силе сказанного его поэтические произведения рассматриваем
периода являются художественно - реакционными вопреки крепкой, нар
ной, здоровой, полнокровной «неизреченной животности», так животре
щущей в этих же стихах.

Какую-то довольно заметную роль в этой религиозности помимо д
сыграла одна глубоко индивидуальная черта поэта: «Что прошло, то бу
мило». Вот это прошлое, ставшее милым и саднящее сердце своей нев
вратностью, своим «никогда»—очень прочное поэтическое настроение Е
нина, прочное и давнее. Обращаясь к друзьям своих игрищ, Есенин пиш

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то,
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я, в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки
Молюсь[1] дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Заметьте, пишет это поэт-юноша, только что вступающий в жиз
К теме о невозвратном прошлом поэт возвращается постоянно и поздн
Здесь он наиболее искренен, лиричен и часто поднимается до замечательно
мастерства. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу», «Не бродить,
мять в кустах багряных» несомненно останутся. Однако томление и грус
о прошлом, достигая большой силы и напряжения, при пассивном и созерц
тельном отношении к жизни, легко могут питать «дедовскую» религиозност
они ведут к настроениям и мыслям «о бренности и тленности земного» и дал
ше к молитве, жажде загробной жизни; с другой стороны, дедовская пр
вивка сама усугубляет грусть о том, что «отоснилось навсегда».

Анализ первоначальных психологических моментов, из которых склад
валась поэтика Есенина до революции, был бы не полным и односторонни
если не упомянуть и не учесть поэтических чувств его совсем другого хара
тера. Кротость, смирение, примиренность с жизнью, непротивленство, сл
вословия тихому Спасу, немудрому Миколе уживаются одновременно с бу
тарством, с кандальничеством и прямой поножевщиной:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

Поэт говорит о том, что он полюбил людей в кандалах, не ведающи
страха, их грустные взоры со впадинами щек. Позднее эти настроения усил

[1]) Курсив всюду автора статьи.

ись, окрепли и вдохновили его на «Песни забулдыги», «Исповедь хулигана», :Москва кабацкая». Есенин вспоминает себя забиякой и сорванцем и утвер-кдает: «если не был бы я поэтом, то, наверно, был мошенник и вор». Есть в том опоэтизировании забулдыжничества нечто от деревенского дебоша пар-ей, от хулиганства, удали, отчаянности, от неосмысленной и часто жестокой аты сил, а это, в свою очередь, связано с нашей исторической пугачевщи-й и буслаевщиной. При этом забулдыжничество юродиво сочетается со иренностью, молитвой и елеем: нигде нет столько разбойных и духовных сен, как в нашем темном прошлом. Об этом ниже; пока же довольно будет азать, что в отличие от дедовской прививки хулиганство, хотя и очень ивое, но все же активное чувство, особенно, если оно окрашено некоей циальностью. Все, что шло у Есенина отсюда, побуждало его писать в отивовес елейным акафистам. В юношеской поэме «Марфа Посадница» енин призывает вспомнить завет Марфы: «заглушить удалью москов-ий шум», заставить царя дать ответ, разбудить Садко с Буслаем, чтобы с на вновь загудел колокол. Все это звучит совсем не по-дедовски. Тем не нее, дедовская прививка пока очень сильна и явно перетягивает поэта песням с церковной настроенностью. Сейчас это производит дикое впе-гление. но, как говорится, из песни слова не выкинешь.



II.

В революции Есенин надеялся увидеть торжество «овсяных волей», окрой буланой губы», нового мужицкого сеятеля, его идеалов и чаяний. он достаточно ярко отразил в своих стихах собственнические взгляды и ежды нашего крестьянства, с которыми оно вошло в революцию, но отра-л в мистической форме.

Прежде всего об этой форме. Она не случайна у Есенина. Если бы поэт лел связать овсяную, мужицкую волю с крепкой, железной, дисциплини-занной волей русского и европейского рабочего, найти стык крестьянских ежд с идеями класса-водителя, определить место и удельный вес кре-янина и рабочего в ходе русской революции, он, наверное, нашел бы иные ова, образы, сложил бы другие песни, более реалистические, более соответ-енные и контактные главным этапам революционной борьбы. Но действи-льный характер революции остался для поэта непонятным и непонятым, русская революция, как торжество диктатуры пролетариата, поставившего іе коммунистические цели и задачи, была для Есенина чужой. Революция стала Есенина с песнями «о неизреченной животности», о кротком Спасе, хулиганстве и буслаевщине, о журавлиной тоске сентября; то, что мешало у раньше разглядеть настоящую деревню, не позволило распознать и ре-ьный ход революции с ее борьбой классов, с противоречиями, со всеми уха-ми, провалами и победами и, в частности, с очень запутанными, сложными аимоотношениями между пролетариатом и крестьянством. Как сын деревни, росший среди табунов, он не мог не пропеть победе народных масс свое санна!». И он пропел. Но наличие заумных настроений, полнейшая чуждость

рабочему естественно должны были привести поэта к своеобразному имажинистскому символизму, к мужицким религиозным отвлеченным акафистам, к непомерному «животному» гиперболизму, к причудливому сочетанию язычества времен Перуна и Даж-бога с современным космизмом, к жажде преобразить вселенную в чудесный, счастливый мужицкий рай. Символизм и мистика всегда подменяют живой образ, когда действительность ускользает в своих точных очертаниях, ибо символ по природе своей абстрактен, тогда как образ живет только в определенном времени и пространстве. Для Есенина символические приемы тем более разительны, что он, вообще говоря, поэт с исключительной силой образного, конкретного изображения; но даже такой дар овеществления образов не спас поэта от туманной имажинистской заумной символики: дедовская прививка и тут жестоко мстит поэту.

Революция во многом все-таки преобразила поэта. Она выветрила из него затхлую, плесенную церковность:

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых,
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоем часослове я
Проклюю моим клювом стихов...

(„Инония“).

Это—хорошо по существу: с Китежем и с часословом в эпоху социальной революции, в век сверх-капитализма и сверх-империализма далеко не уедешь. Но старый Китеж можно подменить новым, вместо древнего часослова можно попытаться написать другой, свой. Так оно на самом деле и есть у Есенина. Поэту мерещится, что революция несет с собой новый Назарет. Назарет этот сойдет на землю новым Спасом: «Новый на кобыле едет к миру Спас». Он сойдет на землю напоить наши будни молоком, преобразит чудесно мир. О чудесном госте и сеятеле у Есенина—в «Пришествии», в «Преображении», в «Октоихе». Поток звонких рифм, каскад причудливых образов (орнамент), но цельной картины нового рая не получается, да и самого рая нет. Остается отпечаток душевной сдвинутости, перетряски, приподнятости, какого-то сверх'умного пафоса, ожидания необыкновенных преображений, в которых земная твердь смешается с небесной, реальное со сказкой, с фантазмами, но «глагол судьбы» остается темным, нераскрытым, неразгаданным, вещие слова не затрагивают сердца, в чудо не веришь. Так не убеждают. В конце концов, здесь только метафора, игра образами, а не подлинное пророческое прозрение. Рай никогда не призрачен, он всегда во плоти и в крови, а не «в духе». Между тем, для Есенина его рай, его «Инония»—не метафора, не сказка, не поэтическая вольность, а ожидаемое будущее. В статье об имажинизме «Ключи Марии» поэт пишет: «Буря наших дней должна устре-

мить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева». Поэтому Есенин недаром собирается просунуть свою голову во вселенную, колесами солнце ·· месяц надеть на земную ось, встряхнуть за уши горы, смести все заборы тыны как пыль и т. д. В этом гиперболизме нужно видеть устремление от емного «к сдвигу космоса». Только этот космизм—животный. Поэт превраıает небо в пастбище, солнце и луну в животных, заставляет месяц щениться латым щенком, звезду слетать малиновкой. Здесь «неизреченная животость» раздвигает пределы хлевов, изб, полей, покрывает собой вселенную, ревращая ее в одно вселенское мужицкое счастливое хозяйство. Наши проетарские поэты одно время усиленно проповедывали заводской, фабричый космизм и пантеизм. Есенин проповедует в противовес им космизм хояйский, животный. Получается сочетание космических настроений XX века первобытным язычеством, когда божества, духи находили свое местоıительство в домашних и прочих животных. Отсюда—отвлеченная схолагика. От церковности Есенин пришел не к материализму, а к этой помеси зычества с новейшим пантеизмом.

За всем тем его «Инония» представляет значительный шаг вперед, так ак знаменует отход от церковности к реальному миру. Ожидаемый мужичий ай рисуется в поэме в целом очень конкретно:

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистый звон,
И как жерди златые вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей,
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней...

Вполне реалистическая картина. Имя же этой «Инонии» — общество елких, свободных, равных, вольных, с достатком, хлебопашцев, сбросивших го податей, оброков, чиновников, помещиков, капиталистов. Чтобы не оставıть на этот счет сомнений и разнотолков, следует напомнить следующие розаические строки из статьи Есенина «Ключи Марии». Поэт представляет ебе грядущее творчество, «как некий вселенский вертоград, где люди блаıенно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного реогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицом творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы овые, кипарисовым тесом крытые, где дряхлое время, бродя по лугам, сзыает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому олотой ковш, сычёною брагой».

«Инония» Есенина есть идеал нашего мелкого трудового собственникарестьянина. Века крепостного, помещичьего, полицейского гнета воспитали

в нем жажду покончить со старым, разбить ее вдребезги и водрузить общежитие вольных деревень без государства, без податей, чтобы вся земля была крестьянская, «божья», чтобы она утучнена была рожью, овсом и всякими злаками, чтобы не было недостатка в лесе, в скотине. Эта жажда лучшего, иного, несомненно, в борьбе с царизмом, с крепостничеством сыграла крупнейшую и благотворнейшую роль. Своеобразно, с мистикой, в нарочитых имажинистских образах Есенин отразил это в своих стихах об «Инонии», прокляв «Радонеж» и «тело Христово».

Протест и борьба нашего крестьянства были направлены, однако, не только против царского и помещичьего гнета. Старый патриархальный уклад с неслыханной жестокостью и быстротой ломался капиталом. Деревню подминала под себя фабрика, завод; а деревенские устои подтачивались рублем и свистом машины; протянулась чугунка, пришел чумазый. Не отдавая себе ясного отчета в складывающейся социально-политической и бытовой обстановке, люди есенинского склада, видя, как рушатся «устои», сплошь и рядом склонны часть своих бед взвалить на машины, заводы, железные дороги, как таковые, взятые сами по себе, безотносительно. Мертвящему лязгу Америки, «электрическому восходу», «глухой хватке ремней» Есенин посвятил немало вдохновенных строк. В «Сорокоусте» его анти-машинный лиризм поднялся до неподдельного пафоса:

Видели ли вы,
Как бежит по степям
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок.

Милый, милый смешной дуралей!
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?..

. . . .

Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой...

Одно время Есенину казалось, что русская революция, расчистив место для мужицкой «Инонии», уничтожит также и железного гостя. Он пророчит гибель Америке; он уверен, что лавой стальной руды она не зальет огневого брожения революции. В статье об имажинизме Есенин писал, что

мир крестьянской жизни умирал, «как выплеснутая волной на берег земли рыба». Этот мир должна спасти революция: этот вихрь, который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплоатации массовых сил. явился нам, как ангел спасения к умирающему, он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: «Возьми одр твой и ходи!». Отсюда ведь и стихи об «Инонии».

Надежды, однако, не оправдались, не сбылись, не могли сбыться. Революция наша безусловно несет крестьянству избавление не только от гнета помещика и царской опричины, но и от капитализма, но несет ее совсем по-иному, чем полагал Есенин. Рабочий, руководящий революцией, уничтожая капитализм, совсем не намерен отказать в гостеприимстве железному гостю. Наоборот, его социализм—индустриальный, совсем не похожий на примитивную мужицкую «Инонию» с сычёной брагой. Железный гость, в тысячи раз увеличивая производительность, освобождает человеческий труд; он дает возможность этот освобожденный труд при рациональном устройстве общества направить на другие высшие сферы человеческой деятельности. Есенин полагает, что нельзя устремляться «в одно пространство чрева». Вот именно. Железный гость несет миллионам трудящихся освобождение от таких устремлений, в том числе, и в первую очередь. деревне. Старый деревенский мир ломается *и* при капитализме, *и* при индустриальном социализме. Но при капитализме ломка крестьянского мира сопровождается неслыханным пауперизмом, одичанием, рабством, сифилисом, проституцией, самогонкой. При социализме деревня органически, исподволь, путем наглядных примеров. в меру жизненной необходимости, в меру общественных потребностей, без сифилиса и проституции вводит к себе железного гостя. Разумеется, дело это—не одного и не двух лет: своего полного размаха процесс приобщения деревни к культуре достигнет только после прочной победы социальной революции. Трудности переходного периода, когда крестьянству приходится нести бремя очень тяжких повинностей, ни в какой мере не имманентны социализму вообще, они временны даже в этот переходный период борьбы за социализм.

Людей есенинских настроений пугает общая механизация жизни, ее интегрирование, вырождение самого человека в машину. Так именно и нужно понимать трогательный образ красногривого жеребенка и воспоминание о временах печенегов. Но механизация жизни получается благодаря власти машины над человеком, а власть эта, в свою очередь. есть результат общественных отношений при капитализме, когда человек делается придатком к машине. Но коммунизм как раз стремится в корне эти отношения изменить, оставив человека господином творения рук своих. Социализм означает разумное подчинение железного гостя человеческому хотению и волению. Освободившись от рабства машине, человек снова получит возможность поставить себя лицом к лицу с природой, с космосом. Он вернет себе «рай» непосредственной жизни, общения с природой, разовьет в себе новые могучие инстинкты и будет глубоко и чутко переживать и чувствовать и приволье степей, *и синь небес, и девственность лесов, и необ'ятность океана, и радость солнца*. Мало того, пред ним раскроются «бездны», пучины морей, полюсы, воздушная стихия и, может быть, миры. Он будет сознательно работать над

улучшением человеческой породы, внимательно следя за тем, чтобы человеческий индивид не превратился в марсианина Уэллса, в гомункулюсов в реторте там, где эта опасность будет обнаруживаться. Различие же от первобытного рая и мужицкой «Инонии» этого общежития будет заключаться в том, что уничтожено будет господство стихийного нелепого случая, ибо первобытный рай хорош и гармоничен только до тех пор, пока не приходит нежданно-негаданно господин Случай, а так как этот гость врывается постоянно и производит опустошения потрясающие, то все великолепие и гармония первобытного рая летит кверху тормашками. Это еще понимал прекрасно один из умнейших народников—Г. И. Успенский. По силе сказанного, железный гость при социализме по сравнению с гостем в лице господина Случая имеет то несомненное преимущество, что, давши «под микитки» этому своему конкуренту, он нахальничать и своеволить не будет, а станет служить человеку верой и правдой по примеру домашних животных: запрячут — поедет; не нужен — постоит, отдохнет. Наши крестьянствующие писатели вместе с Есениным очень обеспокоены будущим человека. Но именно марксистский индустриальный социализм, внеклассовое, общечеловеческое общежитие венцом творения, центром земли делает человека. Он освобождает человека *и* от господства злого, нелепого, стихийного, непредвиденного случая, *и* от господства железного гостя над человеком путем разумного подчинения случая машине, а последней — человеку.

Кроме того, индустриальный социализм актуален, динамичен, а «преогромнейшее древо» Сергея Есенина, по правде сказать, весьма смахивает на нашу российскую развесистую клюкву. Поэт собирается созывать народы пить сычёную брагу, но надо полагать, что, пользуясь красногривым жеребенком, ни морей не переплывешь, ни по суше далеко не уедешь. Застоем, Китаем, дряхлым Востоком, сонной, «дремотной» Азией отдает от «Инонии» Есенина; недаром поэт только вспоминает про родимые поля, предпочитая асфальт городских улиц и электрическое освещение родной лучинушке.

В процессе ломки старого уклада и особенно революции миллионы наших крестьян давным-давно уже поняли пользу железного гостя; на очереди теперь стоит вопрос не о том, чтобы убеждать крестьянина в полезности трактора и чугунки, а в том, чтобы трактор и чугунку дать ему. В этом вся заковыка дней наших.

Повторяем, в своих ожиданиях мужицкой «Инонии» без машин и приводных ремней, Есенин должен был обмануться. Поэтому акафисты в честь «Инонии» переходят у него в проклятия по адресу городской культуры, при чем поэт ясно чувствует, что «мир таинственный», «древний», деревенский гибнет безвозвратно. Он называет себя последним поэтом деревни; он уже слышит победный рожок железного врага и знает, что его, поэта, ждет черная гибель.

Он выступает здесь как реакционный романтик, он тянет читателя вспять к сычёной браге, к деревянным петушкам и конькам, к расшитым полотенцам и Домострою. Нужды нет, что оправлено все это в прекрасную, сильную художественную форму.

III.

Как совмещает в себе поэт такие настроения с признанием русского Эктября, с борьбой пролетариата, с настоящей, а не выдуманной рево-поцией?

Есенин прежде всего аполитичен. Свою ненависть к железному гостю 1оэт приурочивает не столько к действительному ходу революции, сколько юобще к веку пара и электричества. Кроме того, как сын деревни, черно-темья, он не может не чувствовать, что именно большевистская революция скачала с шеи крестьянина помещика и царскую нежить и сделала его хо-зяином той самой Земли, к которой он рвался издавна и упорно. Что былая 1ежить Есенину крепко не по душе, ясно не только из его юношеских поэм, ю и из «Пугачева».

Главное, однако, не в этом. Есенин—поэт не цельного художественного иросозерцания. Он — двойственен, расколот, дисгармоничен, подвержен глу-око различным настроениям, часто совсем противоположным. Прочного, вердого ядра у него нет. Хулиганство у поэта сопрягается со смиренностью, беззлобностью, тоска по родному краю — с тягой к городу, религиоз-ость—с тем, что называют святотатством, тонкий, чарующий, интимный ли-изм—с подчеркнутой грубостью образов, животность — с мистикой. «Чело-еческая душа, — пишет Есенин, — слишком сложна для того, чтобы за-овать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мело-ии или сонаты». Прославляя свою «Инонию» и предавая поэтической ана-еме железного гостя, Есенин сознает, что без гостя не обойдешься, а в лю-имом краю и в стозвонных зеленях — Азия, нищета, грязь, покой косности что это... страна негодяев. Так им и названа одна из последних поэм. В ней екистов в диалоге со щуплым и мирным обывателем при явном авторском эчувствии говорит между прочим:

Я ругаюсь
И буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет.
Потому, что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие,
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.

Это «хулиганисто», но крепко сказано и целиком противоречит ана-емствованиям по адресу каменных шоссе и железных дорог: в самом деле, iесто уборных древний есенинский мир усиленно возводил храмы божие.

Поэт хорошо также знает и сознает убогость, косность, неподвиж-эсть, ограниченность кругозора крестьянского мира, нестойкость, неспо-обность постоять до конца, сообща, за общие интересы. В «Пугачеве» сто-эж, крестьянин-казак, говорит:

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрав.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы,
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы.
Что нам первый ряд подкошенной травы!
Только лишь бы до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.

Через это: — только до нас не добрались бы — терпит поражение Пугачев, и его злодейски предают его друзья и соратники.

Дисгармоничность, раздвоенность, противоречивость поэтических мыслей и чувств Есенина согласуется, однако, с двойственной душой нашего крестьянина. Крестьянство — класс - амфибия: оно колеблется между реакцией и революцией, между пролетариатом и буржуазией. Оно может злобно и ожесточенно бороться, но оно поднимается стихийно, неорганизованно, оно не знает, где верный и прочный его союзник. Оно распылено. Борьба деревни, предоставленной самой себе, поэтому не доводится до конца и бессильно вырождается в бунты, в махновщину, в непротивленство, в неверие. И миросозерцание нашего крестьянина двойственно, спутано, непостоянно, изменчиво, несогласовано в элементах своих, маятникообразно, лишено цельности. Не раз и не два селянство российское, армяжная, аржаная рать поднималась в защиту прав своих, но победило оно только однажды — под руководством рабочего класса. И только в меру приобщения его к пролетарскому руслу революции крестьянство получает организованность, цельность миросозерцания и не распыляется в анархии бунтов.

Есенин — чрезвычайно одаренный поэт, такой, каких у нас в России можно счесть по пальцам одной руки. Но этот поэт творит сплошь и рядом вещи прямо вредные. Это оттого, что он ни в какой мере не желает поработать в поте лица своего над сведением концов своего разорванного мироощущения. Об этом он нисколько не заботится. Наоборот, поэт сознательно как будто подчеркивает свою дисгармоничность, противоречивость возводит в принцип, культивирует, нарочно оттеняет, старательно показывает. Получается поза, что-то наигранное, кокетство, какое-то переодевание на глазах у читателя. Недаром Есенин говорит о преследовании им «авантюристических целей в сюжете». Но читатель должен поверить писателю. А когда художник легко, без особых усилий, без внутренней жестокой борьбы, без мучений, без работы над собой, без попытки преодолеть—переходит от одного настроения и системы чувств к другим, противоположным, и все это укладывается в одном поэтическом ящике свободно, бок-о-бок,— здесь кроется большая опасность для художника. Есть поэты и художники

цельные, монолитные: такими были Пушкин, Гёте. Есть писатели, черпавшие свою силу в дисгармоничности, в расколотости; таков, например, Достоевский. Но Достоевский, терзая читателя, терзался сам, а не играл провалами, искривлениями, противоречиями человеческой психики. Другие. как Ибсен, с железным упорством искали выхода из психологических тупиков в высшем синтезе. Ничего подобного у Есенина нет. У него нет ни коллизии, ни столкновения поэтических чувств, ни попыток преодоления этого столкновения, а только нарочитое подчеркивание противоположностей, намеренное их заострение. Получается, действительно, своеобразный поэтический авантюризм.

И поэт напрасно скрывается за мыслями о сложности души, которую нельзя втиснуть в один определенный круг. Речь идет не о сложности, а о поэтическом авантюризме, о своеобразной рисовке, а они у поэта есть. Нельзя сказать, что поэтические настроения Есенина не соответствуют подлинным чувствам и душевному его строю, но у поэта нет желания синтезировать их. Наоборот, он играет на несогласованности. А это очень опасно.

IV.

Особо следует остановиться на опоэтизировании хулиганства. Вопрос этот приобретает сейчас особо острый характер. О своем хулиганстве поэт говорит давно, не переставая, с юношеских лет. Эта тема наиболее постоянная для Есенина.

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я—разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

При оценке и распознании хулиганства Есенина следует вспомнить прежде всего его драму «Пугачев». Пугачев мечтает о торжестве мирного крестьянского труда. Так как путь к этому благополучию прегражден дворянами и чиновниками и мужик стонет от их «цепких лапищ», Пугачев поднимает знамя бунта. Он пользуется именем Петра, чтобы созвать «злую и дикую ораву» бродяг и отщепенцев для погрома, для кровавой мести, чтобы «вытащить из сапогов ножи и всадить их в барские лопатки». Пугачёв приближен к нашей эпохе; он говорит и думает, как имажинист, он очень похож на поэта. Марксизм давно уже дал надлежащую оценку нашей исторической пугачевщине, и напоминать ее здесь не имеет смысла. Но, конечно, теперешнее хулиганство Есенина имеет с подлинной пугачевщиной весьма отдаленное сходство. Волею исторических судеб потомок Пугачева уже не гуляет с кистенем, не собирает под осенний свист молодцов-удальцов. Он — в цилиндре, в смокинге, в перчатках и не скрывается в дремучих заповедных лесах, а ходит по асфальту городских улиц. Он знает, что от этого асфальта ему никуда не уйти. В городе—величайшая социальная борьба, но городская культура обратилась для дальнего потомка Пугачева не этой своей стороной,

литературному, кабацкому и иному хулиганству, этим несомненным факторам маразма и гниения.

Поэтический путь Есенина, замкнутый пока стихами о Москве кабацкой, очень показателен. Он показывает, что в наше время мужицкая «Инония», пугачевщина и буслаевщина, в той или иной форме, давным-давно потеряли свое положительное значение, выродились, кончились. Когда-то, в эпоху крепостничества, царизма мужицкий рай и буслаевская удаль вдохновляли и толкали на борьбу, на подвиг. Дни эти безвозвратно ушли в прошлое благодаря диктатуре пролетариата. Поэту, который хочет итти плечом к плечу с эпохой и быть рупором ее, как воздух и вода, нужна другая «Инония» — ленинская. Только она спасает от духовного вырождения. Мужицкая «Инония» привела одного из крупнейших поэтов к кабаку, к отчаянию, к ресторанному хулиганству. В этом нет ничего случайного; наоборот, в этом — символ, знамение времени, тут есть своя беспощадная логика.

Предсказывать и гадать о будущих путях поэта — занятие сомнительное. Есенин уверяет в последних стихах, что он прощается с хулиганством, но что-то долго прощается: закрадывается законное сомнение, что о прощании говорится единственно из «авантюристических целей сюжета». А ведь у Есенина есть любовь к крестьянину, к «животности», к зорям, есть мужество и крепость стиха.

V.

В заключение—об имажинизме, творцом которого является Есенин вместе с Мариенгофом и Шершеневичем и от которого он сейчас, кажется, отошел.

Уже отмечалось выше, что особенность и своеобразие поэтического дара Есенина заключается в способности овеществления образа. Его образы материализированы, они всегда осязаемы, они лишены всякой «духовности», отвлеченности; они пахнут; их хочется взять руками; они отвердевают, кристаллизуются на глазах читателя. У него «синь *сосет* глаза», «все резче звон *прилипает* на копытах, то *тонет* в воздухе, то *виснет* на ракитах»; «*заметалась* звенящая жуть», «словно *ведра* наши будни он наполнит молоком»; старушка-мать «*пальцами* луч заката старается она поймать»; «*каплями* незримой свечки *капает* песня с гор»; «вечер морозный, как *волк, темнобур*». Даже отвлеченные понятия поэт стремится овеществить: «время — *мельница* с крылом», «месть *щенками* кровавыми щенится», «по черни ныряет весть как *по гребням лодка*

с низким парусом», «з о л о т о увядания», «золотая словесная г р у д а», «проклюю к л ю в о м моих стихов», «все мы я б л о к о радости носим» и т. д.

Отсюда статичность Есенина. Образы его лишены динамики. Они оттуда, от полей и хат, где время действительно словно мельница с крылом, где — тишина, покой и неподвижность.

Образ Есенина — орнамент. Об этом мы уже писали. Несомненно, поэт хочет возвратить поэзию к образности Гомера, Библии, Баяна, нашего народного эпоса. Само по себе это стремление в известной мере законно и отчасти может быть оправдано. Период импрессионизма, декаданса, символизма, упадочной индивидуалистической изощренности или описательного безыдейного натурализма должен пойти на смарку. С другой стороны, русская революция открыла широчайшую возможность органического слияния нашего культурного художества, обслуживавшего привилегированные классы, с народным искусством, с эпосом, с частушкой. Не случайно, конечно, Демьян Бедный широко пользуется русской былиной, басней, песней и недаром в художественной прозе наших дней есть несомненное тяготение к сказу, правда, чаще всего к модернизированному. Стремление освежить, подкрепить себя народным творчеством в противовес эпохе декаданса, по существу,—здоровое стремление.

Нужно, однако, знать меру. Гомер и Баян жили в совершенно другой обстановке. Ведь даже нашу деревню, по признанию самого Есенина, трясет «стальная лихорадка». Для образного выражения и обнаружения наших ощущений, темпа, характера нашей жизни сплошь и рядом больше подходит полет аэроплана, чем полет птицы, по той простой причине, что это более соответствует творческому актуальному началу, чем пассивный образ птицы, которой мы не создавали и которая дана природой. Прекрасен образ Гомера, когда он уподобляет слово птице, вылетающей из ограды зубов, но современный Гомер, будь он на-лицо наверное нашел бы иное уподобление «машинного» характера. Если в изображении деревни, природы можно пользоваться образностью «Баяна вещего», то для изображения Лондона и Нью-Иорка нужны иные образы. Образы Баяна — статичны, внешни, они часто не передают внутреннего смысла понятия. Не нужно забывать, что Гомер и Баян обращались к читателю с исключительной силой конкретного мышления и чувствования. Наши мысли, наши ощущения даже, стали несравненно более отвлеченными. Нам часто не нужно той наглядности, той осязаемости, которые требуются для примитивного и конкретного мышления; помимо того, более абстрактный дух нашей эпохи требует иных поэтических средств. Стороннику теории относительности Эйнштейна потребуются совершенно иные поэтические средства, чем певцу неподвижного древнего мира Гомера и Баяна. Разумеется, в образе вся сила поэта. Здесь он пробует свои способности и обнаруживает их. Но это еще не означает, что образ нужно непременно свести к орнаменту или к метафоре. В известном стихотворении Гёте «Горные вершины спят во тьме ночной» — в описании природы нет ни одной метафоры, между тем это — гениальное поэтическое произведение: ни одного лишнего слова; состояние тишины, покоя передано каждым словом

и совершенно неподражаемо; все целостно, ничто не отвлекает внимания в сторону, все просто, строго, органично. Между тем, погоня за метафорой и неумеренное пользование ею, часто приводит к тому, что картина, долженствующая быть цельной и гармоничной, разрывается на ряд отдельных звеньев, — внимание сосредоточивается на частном, на многочисленных уподоблениях: как в Малявинском хороводе глаз режет яркость и пестрота цветов, начинает рябить. Если проанализировать с этой точки зрения, например, «Преображение» Есенина, то этот недостаток цельности и гармоничности сделаются очевидным.

О, веруй, небо вспенится,
Как лай сверкнет волна,
Над рощею ощенится
Златым щенком луна.
Иной травой и чащею
Огенит мир вода,
Малиновкой журчащею
Слетит в кусты звезда и т. д.

Составьте из этих метафор общую картину, — получается совершенно несуразно: в небе, вспенившемся волной, как лай, рождается щенком месяц, а на кусты слетает малиновкой звезда; ни лай, ни щенок — возбуждающие однородные ассоциации — не спасают картину от общей ее дисгармоничности.

Отсюда один шаг до погони за образом, как за самоцелью. Все дело сводится к тому, чтобы запечатлеть, остро вбить в голову читателю сумму образов, что, в свою очередь, легко превращается в нарочитую изощренность, а от нее рукой подать до прямой извращенности и противоестественности. Таким путем, вместо возвращения к естественному народному творчеству, к орнаменту, получается нечто совсем противоположное. Мариенгофу очень нравится у Есенина «нарочитое соитие в образе чистого и нечистого»: у Еесенина «солнце стынет, как лужа, которую напрудил мерин», или «над рощами, как корова, хвост задрала заря»; «одна из целей поэта вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения, как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа» (Мариенгоф, «Буян остров»). Все дело, однако, в том, что «нарочитое соитие» этой цели, в конце концов, не достигает. Правда, н а р о ч и т о е с о и т и е может «всадить» образ в читателя, но только своей нарочитостью, а не гармоничностью, не своим внутренним соответствием тому, что хочет воплотить художник, в чем заключается единственная задача его. Образ Есенина, уподобляющего калмыцкие кибитки в «Пугачеве» деревянным черепахам, прекрасен, ибо соответствует их медленному ходу, их внешнему, крытому виду, а образ зари, задравшей хвост, как корова, — безобразен и безобразен в итоге. Поскольку Есенин одно время усиленно занимался подобным нарочитым соитием и всаживанием образов, он делал крупнейшую поэтическую ошибку; он занимался хулиганством, и в области построения образа он шел не к народному эпосу, не к Гомеру и Баяну, а попадал в наезженную колею литературщины, манерности,

декаданса. Он терял себя и обращался со своим даром, как лихой расточитель. Непосредственность, крепость своего деревенского поэтического таланта он отдавал на служение интересам литературных стойл и групп.

Все это осложнялось еще тем, что в образ-орнамент Есенин хотел вселить смысл «миров иных». В стадии имажинизма образ мыслился поэтом, как способ раскрытия некоей мистической тайны мироздания, как средство проникновения от земного «к сдвигу космоса», как форма прорыва через реализм в мистическую сущность жизни и вселенной. В этом и заключалась суть имажинизма. Он соответствовал его «Инонии», его пониманию революции в духе преображения ее в особой мистерии. Получалась совсем вредная труха, тем более досадная, что в основах своего творчества Есенин, несомненно, реалист.

Повторяем, дар Есенина — мир конкретных, деревенских образов. Его сила—в способности овеществления их до осязаемости. У него есть формальные возможности внести в нашу поэзию простоту, крепость, сочность от народного искусства, от эпоса, песен и т. д. Он—один из самых тонких, нежных лириков современности, но «нарочитое соитие» тянет писателя в сторону от этих прямых задач, а внутренний распад поэтической личности, элементы идейного разложения грозят ему гибелью. У Есенина есть немало поэтических последователей, подражателей. Достаточно сказать, что проза Всев. Иванова очень сродни «неизреченной животности» и образности Есенина. Есенина хорошо читают. Неужели он, действительно, войдет в нашу великую эпоху, главным образом, как автор «Москвы кабацкой»? Пока он «распространяет вокруг себя пространство» главным образом именно в этом направлении.

О культуре искусств [1]).

(Литературные перспективы).

В. Правдухин.

I.

«Звездное небо» Канта, как символ нравственного закона, совершенно угасло после бурного взмета русской революции; его далекое сиянье скрыто сполохами социалистических устремлений.

Для социально-здорового человека зажглись другие маяки, и «категорический императив», говоря языком философии, стал имманентен жизни, т.-е. лишь одна необходимость для жизни оправдывает то или иное практическое или теоретическое свершение.

В области политики революция продиктовала свои законы решительно и сурово — языком воина; в области экономической она это делает настойчиво, с последовательностью разумного педагога или хирурга.

Но остается одна область, где революция не дала ясных заданий; здесь она своими зарницами лишь на момент осветила будущее и оставила людям возможность до известной степени самостоятельных исканий и творческих свершений. Эта область постройки конкретной культуры, в частности — искусства, литературы.

И если в сфере политики и даже экономики оказалось возможным теперь же с достаточною ясностью нащупать нужные линии практического строительства, то в области искусства, в частности литературы, эта задача оказалась неизмеримо сложнее. Здесь людям новых классов, совершенно неподготовленным к этому, раньше лишенным участия в стройке культуры, предстоит не только завершение ранее достигнутых результатов, но и раскрытие новых, по своему качественному смыслу, культурных возможностей, — осуществление небывалой полноты подлинно-человеческой культуры.

Общая внешне-социальная цель человечества теперь ясна: экономическое равенство всех людей и их свободное общественное сосуществование. Но и к этой ясной цели — по слову К. Маркса — «путь мучителен и длинен».

---

[1]) Разделяя в целом точку зрения автора на современную литературу, редакция оставляет за собой право несколько иных оценок творчества отдельных писателей.

Ему сопутствует еще более мучительный и не менее длинный идеологический путь выращивания новой культуры. Процесс этот, естественно, будет протекать с тягчайшими родовыми муками, и здесь именно возможны и вероятны более резкие и частые уклонения, от идеально-здорового пути, так как эта область менее крепко связана непосредственными и бесспорными в своем направлении интересами, как это наблюдается в экономической сфере.

Но и в этой области перед нами стоит необходимость найти основные принципы культуры, в данном случае, основы современной эстетики, раскрыть внутренний смысл, нащупать руководящие импульсы современного творчества.

Почему же, в самом деле, мы не ограничиваемся лишь практическим, внешним восприятием мира, почему не удовлетворяемся хваткой его лишь в поверхностно-«пространственных» очертаниях, зарисовкой его «пространственными» терминами, как рекомендуют это нам философ-«футурист» Э. Енчмен своей теорией новой биологии и современные футуристы и конструктивисты?

Но современный человек, выходящий из своих классовых нор навстречу новому миру, полон настроений, совершенно обратных Енчменовским. Он ощущает, что ему предстоит не сужение, а расширение его творческого обхвата мира, обогащения и органического углубления своей личности. Он не хочет социальной плоскости и пустоты. И будущую свою культуру, которую он видит еще в смутном, но радостном озарении грядущего, как юноша свою неизжитую жизнь, он наполняет богатейшими и небывалыми возможностями реальных свершений.

И себя, свою личность, он хочет донести в этот грядущий мир здоровой, крепкой и цельной. Говоря пока общими словами, человек непременно хочет оставить в мире приоритет господства за собой, не создавая никаких фетишей над человечеством, которых слишком много было в прошлой истории.

Человек, сохраняя в себе первобытную крепость непосредственных переживаний, хочет, чтобы эта крепость естественно в нем усилилась от органического обрамления ее столь же цельными и здоровыми культурными напластованиями.

Необходимо, чтобы человек, пройдя сквозь накипь буржуазного мира и сбросив ее, сохранил в себе и углубил все основные, здоровые тенденции своего видового организма.

И такое ясное стремление, и в то же время естественно органическое развитие, должно быть всесторонним — по всем основным линиям роста человеческой личности.

Здесь совершенно неисчерпаемы, даже в мыслях, эти линии развития человека в стремлении к его здоровому и полному идеалу.

Эта пока безусловно «декларативная» и сугубо-общая зарисовка будущих человеческих идеалов, конечно, не дает нам еще права социально в настоящий исторический момент быть «вегетарианцами». Она не дает нам права мыслить весь длинный и мучительный процесс приближения к данным

идеалам вне общего, победного экономического движения и представлят его себе, как сказочный полет на ковре-самолете, требующий от нас с н(обходимостью в данный момент, в предчувствии наших будущих гармони чески-цельных ощущений, заботы о сохранении жизни букашки, попавше вот сейчас в чернильную кляксу.

Но, мысля этот процесс связанным крепкой зависимостью с общи экономическим развитием, как зависимо движение парохода от действи машины, мы в то же время знаем, что это движение и его правильность за висит и от общей установки его корпуса, прочности материала, из которог последний сделан, а главное, мы каждую минуту помним, что в кладовых па рохода можно провезти вместо ценного и полезного груза самую настоящу дребедень.

И обозревая искусство в историческом прошлом, всматриваясь в ег сущность и в наши дни, мы и видим и хотим иметь в нем особый ви творчески-познавательного оформления жизни, спо соб выработки посредством искусства внутренней, ду шевной закваски и окончательной закалки ценног человеческого материала.

Это —наш общественно-необходимый метод сохранить, усилить в чело веке, обогатить и нарастить в нем его внутреннее здоровое, подлинно-живое выковывая таким образом с той или иной идеальной приближенностью из че ловека во всякий исторический момент нужный для общей социальной цели тип.

И каждая культурная эпоха имела и должна иметь свое искусство с особым качественно, ей лишь присущим смыслом.

И пусть первым нашим общим критерием, нашей шкалой эстетических ценностей будет—органическая приобщенность того или иного произведения к духу эпохи; его основное эстетическое достоинство пусть заключается в его образной, всякий раз конкретной зарисовке основного направления эпохи, частичной подготовки мировоззрения, мироощущения, сужденного человеку грядущей эпохи.

Буржуазные идеологи и теоретики всегда боялись, а сейчас они особенно боятся, данной точки зрения на искусство. Боялись потому, что чувствовали уже во второй половине XIX века, что возможности, сужденные культуре буржуазии, приходят к концу, человеку их эпохи внутренне уже нечего накоплять; теперь боятся потому, что у них совершенно утеряны возможности найти об'ективно ценные линии для развития их литературы. В самом деле, как оправдать, напр., русский символизм Бальмонта, Гиппиус с этой точки зрения? И их теоретики и вообще теоретики, завязившие безнадежно свои вкусовые ощущения в прошлом, стремятся убежать от сути и подлинной сущности вопроса — социально-исторической оценки искусства, а ищут ее — в отвлеченно-эстетическо-психологической сфере или в формальном разборе произведения.

Нашей эпохе этой опасности не предстоит в силу того, что ее развитие потенциально заключает в себе впервые в истории постоянную, вверх

стремящуюся линию. Ей не предстоит испытать на себе исторического тупика, в который всегда упирались прежние эпохи.

В силу вышеприведенных соображений, пора уже утвердить положение, *что искусство есть конкретный осадок, познавательно-эмоциональное воплощение общей динамики той или иной эпохи, получающей живое, конкретное, образное, синтетическое выражение в слове, краске, линии, звуке и форме.*

На-ряду с этим, искусство всегда питается в своем содержании общим стремлением к разрешению проблемы конечного счастья человечества.

И для современной эпохи вся история человечества должна быть пронизана этим исканием; историки культуры должны именно по этой линии зарисовывать историю искусств, как К. Маркс зарисовывал или вернее искал смысл различных исторических фаз по их попыткам разрешить экономически-производственную проблему, выражавшуюся всегда в своеобразии общественно-хозяйственных форм, пока не нашел ее разрешения в уничтожении классов.

С этой точки зрения только и можно разрешить проблему правильных оценок произведений писателя.

Эстеты, представители формальной школы, напр., никогда не сумеют правильно оценить то или иное литературное явление, потому что их никогда не интересует существо дела, сущность искусства.

Что такое для них, напр., Д. Бедный?

Человек, владеющий старомодным стихом, не больше. Человек, расписывающий этим стихом заборы, как сказал, по свидетельству П. Когана, о нем Вяч. Иванов [1]).

Для того же, кто свои суб'ективные оценки проверяет, сопоставляя их еще с оценками всей социальной громады, кто умеет об'ективно учесть значение этих оценок на фоне общего устремления нашей эпохи, для того всегда будет ясно значение поэзии Д. Бедного.

Пусть даже нас с вами суб'ективно стихи Д. Бедного не волнуют глубоко, но разве мы не видим, что они волнуют людей, идущих впервые к культуре; людей, которым суждено сыграть в нашей эпохе основную созидательную роль. Этот поэт, спутник и временщик политической победы русского пролетариата и крестьянства, сумел дать в своих стихах ряд бодрых настроений, впервые заразив новых людей реальным волнением своего небогатого слова. В культурном смысле поэзия Д. Бедного, это, конечно, еще даже не распашка полей, тем более не засев этих полей какими-либо новыми культурами, это—неизбежная подготовка, очистка полей от мусора, камней, корчевание старых пней, мешающих урожаю.

И здесь значение его поэзии, которую даже при всей суб'ективной искренности не понять эстету, который всю свою мудрость навсегда заключил в собственные ощущеньица и выработавшиеся у него эстетические

[1]) Литература этих дней. „Основа". 1924.

навыки. Влияние поэзии Д. Бедного, конечно, текуче, потому что эпоха политической борьбы пролетариата исторически не так уже продолжительна, но в границах этой эпохи Д. Бедный значителен и крайне характерен. И даже в его недостатках — поэтической незамысловатости, прямолинейности, отсутствии внутренней образности — первого признака подлинной поэзии есть об'ективная законность, историческая последовательность.

В его стихах вы не найдете глубокой образности, элементов нового мироощущения, что лишает их длительного значения и отражает момент, когда новые классы еще не обладают общественно-выраженной культурой, отражает момент, когда новый пахарь еще не видит никаких всходов на своем поле, взятом с бою у жизни.

Ясно, что стихи В. Казина, где поэт каплю за каплей, как пчела, копит новые мелькающие переживания, наращает уже подлинные, положительные ценности, невиданные и по-новому новые, отражают уже в себе дальнейший рост новой поэзии.

Они еще не являют собой элементов цельного, нового мироощущения, но они являются попыткой нащупать их, и в каждой строчке, как в живом зеркальце воды, уже отражены лучи живого солнца нашей эпохи.

В стихах Казина мы присутствуем впервые при зарождении действительно новой и подлинной поэзии.

Описывает ли Казин стройку нового дома, зарисовывает ли портрет своего дяди или описывает свои ощущения природы, от всего этого уже пахнет по-настоящему чувствами человека, который находит в вещах, в труде человека живую, образную подоплеку новой установки жизни, отражающуюся в нем со свежей обновляющей и бодрящей мир новизной.

Чем к а ч е с т в е н н о выражена у поэта эта новая установка?

Передачей картин самого простого труда, как радостного жизнеощущения; труда, впервые лишающегося элементов безучастного, механического выполнения его по принуждению. Перенесением вообще радостных настроений ближе, п л о т н е е к основам человеческой жизнедеятельности: от звезд — к постройке дома. Это начатки подлинно - «классовой» — по существу внеклассовой поэзии.

Конечно, у Д. Бедного этого еще нет.

Стихи В. Казина, как капельки нового мироощущения, уже частично могут заменить, вытеснить из широкого общественного обихода привычные стихи Фета, Тютчева, выдвигая новые переживания иногда даже и по тем же самым жизненным случаям.

Это накопление нового мироощущения, собирание его капля за каплей в формах подлинно-волнующего нас искусства и будет на длительный период задачей новой поэзии, пока она не выдвинет больших, мощных художников, которые сумеют в широких полотнах, в картинах большого захвата дать нам жизненное, словом оформленное мироощущение. Это — длинный и кропотливо-трудный процесс.

Вся прошлая история человечества является рядом периодических культурных под'емов и до сих пор — неизбежных крушений.

В прошлом мы видим крушение идеалов средневековья, символический итог которым подвел Данте своей энциклопедической «Божественной комедией», где он с гениальной силой и последней, предельной для той эпохи изобразительностью запечатлел неудавшуюся попытку средневековья обрести счастье и единство человечества в религиозной стихии, обнаружив в конечном счете в картинах рая и ада лишь трагедию человеческого неравенства и — отсюда — очень предельного совершенства личности, боящейся заглянуть в глаза Медузы.

Именно поэтому нас и волнует эта поэтическая трагедия Данте, именно поэтому человечество и хранит ее в своей памяти, а совсем не потому, что в ней фактически изображены нравы и верования средневековья, как это иногда об'ясняют себе упростители и вульгаризаторы материалистического понимания истории, что, конечно, дает легкое оружие против социально-исторического понимания литературы таким эстетам, как, напр., проф. Евлахову с его книгой «Введение в философию художественного творчества» [1]), где он порой и справедливо упрекает П. Когана в слишком примитивном подходе к истории литературы.

Буржуа эпохи французской революции, создавая в 1793 г. «Декларацию прав человека и гражданина», тоже в законном самозабвении видел пред собой счастливого и гармонически цельного человека, и художники того времени пытались отразить его.

Эти художественные опыты под'емных исторических эпох, опыты классов, у которых было революционное будущее, конечно, необходимы и нам. И с этой точки зрения только мы сможем разрешить вопрос о том, что надлежит наследовать нам из старой литературы, а не с точки зрения механического рассечения истории ее на две линии: дореволюционная и послереволюционная литература.

У каждой эпохи есть основное прогрессивное устремление и только то, что попадает в его основной фарватер, то в искусстве сохраняет свой смысл и для нашего времени. Или, как эту мысль—несколько публицистично—выразил Плеханов: «Когда ложная идея кладется в основу художественного произведения, она вносит в него такие внутренние противоречия, от которых неизбежно страдает его эстетическое достоинство» [2]).

И у каждой из прошлых эпох есть и своя пора увядания, гибели. Мы видим, как с исторической неизбежностью видение того же буржуа исчезло, как в конце концов этот же буржуа, который когда-то писал «Декларацию» и имел таких художников-писателей, как Золя, Бальзак, Ж.-Занд, оказался пресыщенным декадентом, изломанным уайльдовским «Дорианом Греем», героем Эдгара По, Гюисманса. Или в лучшем случае — Фаустом, со всей своей интеллектуально-энциклопедической мудростью еще раньше пришедшим в тупик, в об'ятия Мефистофеля, бессильным с конечной ясностью разрешить «проблему бесконечности», поставленную перед ним философией XVIII века.

---

[1]) А. М. Евлахов. Введение в философию художественного творчества, т. III, Ростов-на-Дону 1917 г.

[2]) Г. В. Плеханов, Искусство и общественная жизнь.

И эти опыты великих художников, рисующих сильную личность, попав шую в тупик, конечно, увеличивают и наш социальный опыт, обогащая на на будущее.

Но художническое бессилие и эстетическую немощь обнаруживает писатель, когда он пытается создать современного Дориана Грея, Фауста и выдать их за некую характерную ценность для нашего века, на самом деле имеющего совершенно иные жизнеобразующие тенденции, для которых подобные явления уже не могут быть художественно-значимыми в полной мере. Человек нашей эпохи заинтересован наращением в себе качественно совершенно иных ценностей и изживанием в себе других из'янов.

Поэтому, когда такой наблюдательный художник, как Андр. Соболь, хочет стать непременно послереволюционным Чеховым, то это ему не удается, и перерабатываемый им материал мало кого волнует: в картине утра—тени, в весеннем разливе реки—«обломки» исчезнут сами собой, художественная подмога тут повисает в воздухе без достаточного отклика в читателе.

Выбор значительного для современного человека по своему внутреннему звучанию материала является решающим для искусства, и так было всегда в истории искусств.

Стиль, форма и композиция являются в искусстве производными, вторичными, хотя и неотторжимыми, качествами. Внутренним же творческим бродилом искусства является способность художника видеть живой смысл общего устремления эпохи в конкретных отпечатках его на бытовых и других реальных явлениях жизни. Художник должен обладать способностью находить живую, образную подоплеку живого процесса жизни, отражающуюся и в отдельном человеке и в семейной его ячейке, в группах и классах, вообще во всех живых расчленениях общества вплоть до отдельных кусочков человеческих переживаний самого различного свойства.

И вот, когда мы видим живую передачу, — образную, конкретную, экономично-оформленную, действующую на нас с разительной бесспорностью,— этих отрывков жизни, созвучных общей социальной динамике эпохи, тогда мы начинаем абстрагировать из этих произведений форму его, стиль, изучать их, создавая из них абсолют, канон — некую чистую платоновскую идею, как историки литературы создают в настоящий момент подобный канон из форм Пушкинского стиха, Гончаровских и Толстовских романов или Мопассановских рассказов.

Но для искусства форма, стиль — не решающий момент. Решающим моментом для него вообще является способность, талант видеть и изображать все существующее в *живом течении*, в том исконном человеческом ощущении мира, когда всякое явление в нем является *выражением живого*, когда всякое явление, какого бы характера оно ни было, *соприкасается с живым*. Искусство имеет дело с живым, образующимся миром, являющимся в искусстве отражением, символом растущей жизни.

И сюда именно писатель и должен устремлять свою художническую энергию, имея в виду становление именно современного ему исторического периода.

И прав Л. Троцкий, когда он говорит, что «методы марксизма — не методы искусства» [1]).

Это значит, что нельзя даже методы марксизма, выработанные для науки,—мы уже не говорим о прежней науке, берущей жизнь по выражению Маркса «post factum (потом, впоследствии), т.-е. исходящей из готовых результатов процесса развития» [2]),—целиком переносить в область искусства. Это и очень неудачно, порой до комизма запутанно (разбор, напр., строки из стиха Герасимова «Болванок красные гробы») пытается сделать Г. Якубовский в статье «Практика и теория в творчестве Кузницы», создавая теорию «материалистического искусства» [3]).

Здесь предстоит выработка совершенно новой эстетики, новых методов.

В данном случае, мы со всей решительностью хотим указать на то, что те теоретики, которые зовут молодых писателей к нарочитому исканию форм, к сосредоточению их художественного внимания на внешне конструктивных задачах, вольно или невольно отвлекают их от сути дела, разрежают их творческое под'емное настроение, прежде всего необходимое для задач конкретной зарисовки живых картин ранней весны нашей эпохи.

Общий, обязательный для искусства критерий надо искать именно в художественном уловлении живых целей эпохи, и тот, кто хочет найти этот критерий в условностях чисто технического характера или физиологического, эстетически-суб'ективно-психологического или, в лучшем случае, в задачах простой зарисовки быта, нравов, политических воззрений, не освещенных нарастающим образным мировосприятием той или иной эпохи, тот, не понимая основной проблемы искусства, всегда окажется вечным, бездомным странником — Агасфером, которому не суждено притти к своей цели.

Да в сущности представители формальной школы литературы и эстеты, они, конечно, при разборе произведения свое ощущение мира, свое понимание нарастания культуры держат про запас, подобно староверу, который прячет в темные углы свои книги «старого письма». И исходят они при оценке художественных произведений в конечном счете непременно из этих потаенных книг, из ложной стыдливости уверяя, что они обладают таким об'ективным мерилом, которое дает всегда химически-правильную реакцию. И разница оценок происходит всегда от разницы ощущения основных устремлений, современности. То, что для Шкловского, Евлахова означает высшую форму развития, то для нас в большинстве случаев—явление упадка, а часто—просто — вырождения.

И если для многих еще произведения Андр. Белого являются свидетельством усложненного и высшего понимания мира, то для нас с несомненностью самая форма его письма, изощренность, отклонение от естественных форм без ясной, внутренней необходимости, является достаточным обнаружением того, что от его писаний уже не брызнет и не повеет запахами

---

[1]) Партийная политика в искусстве. Книга—„Литература и революция". 1923. Из-ство „Красная Новь". Москва.

[2]) Капитал, т. I, глава I.

[3]) Журнал „Красная Новь", книга шестая, 1923.

грядущих культурных свершений нашей эпохи. Андр. Белый утерял способность хватки живой жизни, он лишился художнической избыточности нормально - человеческого восприятия живого процесса бытия и в то же время продолжает гениальничать своими мистико-революционными, сверхходульными обобщениями. Художник, лишенный ощущений, он, современный безглазный Циклоп, упрямо стремится сделаться грандиозной фигурой современной литературы. И, наоборот, микроскопическая фигура Либединского с его несовершенной повестью «Неделя», конечно, незначительной еще по своим достижениям, поэт Безымянский с его еще неустановившимся внешне стихом—для нас «надежда»,—в их произведениях есть нечто от наших устремлений, надежда, которая, возможно, персонально в данном случае и не развернется в подлинное осуществление. И даже то, что бывает удачным у писателей и поэтов, подобных Андр. Белому, является лишь запоздавшими отсветами прошлой, уходящей эпохи, еще не вытравленной из людей недостаточно обнаружившимся будущим.

Таланту иногда удается с большим напряжением заглянуть в историческое прошлое и почерпнуть из него каплю былого. опьяняющего в свое время, вина.

Так, поэт Ходасевич в своих прекрасных по мастерству стихах занимается все время «невольным плагиатом»—разжигает свой ночной светильник от ярких и цельных Фетовских «Вечерних Огней».

И трудно различить, кто это пишет—Фет или Ходасевич:

Еще томят земные расстояния,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознание.
Что ты близка.

Но все меньше и меньше остается столь удачных духовных имитаторов. Уже в русском символизме, поэтическом декадансе, эта перелицовка старых литературных настроений не сыскала себе в конце концов никакого подлинно-ценного кредита у жизни.

Инерция искусства сохранилась, осталось механизированное искусство, но живого впечатления зарисовки основных линий диалектики роста человека в этом искусстве уже не было,—а были лишь Гиппиус, Игорь Северянин, был Сологуб, извративший Тютчевский, хаотический кубок, превративший ощущение загадки ночи и сна в ощущение осоловелого от воя зверя, ревущего перед «запертыми для него дверьми» будущего.

Это безверие, непричастность и незараженность зовами и запахами грядущей эпохи сохраняется и до сих пор у многих современников - писателей. Но из самой сущности искусства, неизбежно связанного всегда с растущей, становящейся жизнью, вытекает благодетельный закон, формулированный еще Карлом Либкнехтом:

«Стремление искусства установить эстетическую и этическую гармонию служит вечно идее жизни и содействует ее улучшению. Вот почему

эстетика, как и этика, находятся в непримиримом противоречии со всем тем, что вредит процессу развития» [1]).

И те художники, которые не видят этой «вечной» и в то же время постоянно юной и современной идеи, те сами обрекают себя на умирание, те сами ведут свое творчество к механизации, к новому мастерству, лишенному трепетания и запахов жизни. Этому великолепной иллюстрацией может служить творчество таких крупных писателей, как Ил. Эренбург и Е. Замятин.

Их художническое восприятие, ощущение нового человека не выше представления героев Достоевского, которые людей социалистического общества мыслили, как греющихся поросят на солнце. Е. Замятин рисует их себе в виде механизированных сомнамбул, отличающихся друг от друга лишь различной нумерацией.

Подобные писатели в своем упорном ослеплении, обуреваемые социальным атеизмом, представляют себе, что новый человек механически неизбежно унаследует пороки пресыщенного буржуа. Они не верят в то, что новый человек сумеет пронести себя живым сквозь рогатки и проволочные заграждения периода экономического накопления, первичного благополучия; они предполагают, что он обожрется на первых же порах и окончательно растеряет свою живую душу среди богатства вещей, среди громады машин и вечной грандиозности индустриальной эпохи, которая должна предшествовать и сопутствовать эпохе окончательного осуществления социализма.

Поэтому Ил. Эренбург тщетно пытается художественно зарисовать нам «Историю гибели Европы» в своем последнем фантастическом романе и дает лишь лубок, схему, обнаруживая тем самым лишь слепоту своего художнического зрения, пустоту мировоззрения.

Эта новая модная Вербицкая, с большим светско-парижским шиком и с бо́льшим умом и мастерством, хочет ухватить «дух времени» и нарисовать нам новые космические бездны и провалы мира.

Вы посмотрите, как он рисует будущую Россию:

> Гражданин Ильин во́-время прибыл в ресторан „Эксцентрик". Туда собрались заправилы всех трестов Москвы. Они деловито ели по три-четыре бифштекса каждый, пренебрегая соусами. Только в питье сказывались еще традиции дряхлой Европы—все считали своим долгом пить французское шампанское, фыркая и отплевываясь, ибо в душе предпочитали хороший неразбавленный спирт.
>
> Всех превзошел гражданин Хапьян. Он съел 8 бифштексов, выпил пять бутылок шампанского и подрядил на вывоз 11 разномастных девиц. Ровно в полночь, когда секундная стрелка показала 60, гражданин Хапьян встал и запел гимн Республики:
>
> Вставай, проклятьем заклейменный,
> Весь мир голодных и рабов!.
>
> Тотчас же все, жевавшие бифштексы и глотавшие шампанское, бодро встали.
>
> Ту же песню пели бунтари, мечтатели и аскеты, собравшиеся в помещении Коминтерна на товарищескую вечеринку. Делегат германской коммунистической партии, тов. Гекель, произнес речь:

[1]) См. его статью „Об искусстве".

— Безумие умирающей буржуазии и нерешительность вождей пролетариата уже погубили Германию. Но это Пиррова победа империализма. Мы можем со спокойной уверенностью глядеть в грядущее. На Международном Конгрессе в Женеве наша резолюция получила 1/8 всех голосов. Мало-по-малу пролетариат освобождается от иллюзий [1]).

Весь роман написан подобной манерой хлесткого фельетона. Но мы совсем не собираемся, подобно Бор. Волину из «На посту» [2]), инкриминировать писателю «содержание» этих слов, потому что, поистине, никакого содержания, художественного значения в них нет. Это — пугало для ночных птиц, которого человечески зрячему просто не видать.

Если бы к подобным картинам пришел подлинный художник, он действительно сумел бы создать страшное художественное предостережение новому человеку, как создал его Гоголь образами Плюшкина, Собакевича, Коробочки.

У Эренбурга же совершенно нет черточек гибели живого человека, а есть лишь словесное, догматическое утверждение этой гибели, не обнаруженной ни одной, хотя бы малейшей, черточкой живой закономерной образности. И писания Эренбурга могут лишь развлечь уставшего буржуа, позабавить утомившегося от революции русского обывателя, — этого карикатурного, приниженного олицетворения бесплотного и бездушного скептика, безнадежно зараженного механическим восприятием мира, оставленного в наследство буржуазией, ее вырождающейся литературой, влияние которой сильно чувствуется на Эренбурге.

Вот почему нет ничего вреднее для нашей молодой литературы, чем зазывы Евг. Замятина, Лунца [3]) к исключительной выучке у Запада, его мастеров, зазывам к решительной необходимости устремлений художнической энергии на выработку фабулы, конструкции по Западным образцам.

Тот, кто зовет к этому, тот не видит, что Западная литература находится еще под протекционизмом буржуазии, и при том буржуазии, стоящей перед своим закатом, не понимает, что там литературой руководит потребитель, который ищет не охвата жизни, не обогащения от нее внутренними культурными ценностями, а лишь развлечения. Он уже жаждет не Фауста и даже не Жан-Кристофа, а героев Бенуа, «Тарзана» Бёрроуза, произведений Клода Фаррера. Литература—не творчество, а лишь спортивное развлечение, не органическая потребность, а лишь мода.

Там закончено господствующим классом добывание и потребление общечеловеческих ценностей: их уже не хочет буржуазный потребитель. Это все ярко показано Р. Ролланом в его эпопее «Жан-Кристоф». И понятно, почему Уот Уитмен и Верхарн, Ан. Франс, Р. Роллан стремились и стремятся, как художники, к новому потребителю—к пролетариату.

Но понятно, а порой и законно то, что наши молодые писатели, которые действительно не имеют никакой еще внешней культуры искусства,

---

1) „История гибели Европы". Гос. Изд. Украины. 1923.

2) № 1 — Журн. „На посту"—1923 г. Из-ство „Новая Москва".

3) Лев Лунц, „На запад". Беседы. № 3, сентябрь—октябрь 1923 г. „Эпоха". Берлин.

с юной жадностью тянутся к этому внешнему лоску—к европейской форме, фабуле, внешней конструкции.

Так иногда здоровые дикари, крестьяне любят носить уродливые галстуки, фраки и цилиндры, козырять иностранными словами, сидеть с важным видом в провинциальном кинематографе и слушать Вяльцеву в граммофоне, думая, что они приобщаются действительно к культуре.

И мы видели порой эту Епиходовщину и у наших молодых писателей; мы видим, как Чеховский лакей Яша, побывавший с своими господами в Париже, стремится привить ее «серапионовым братьям».

Иногда это отражается довольно печально на произведениях таких талантливых писателей, как Всев. Иванов, Н. Никитин.

Сам Замятин, как гордый Сальери, никогда раньше не был завистником и врагом молодой литературы; теперь же, когда она уходит от него, идет дальше его, он стремится подлить в ее кубок смертоносный яд «дара Изоры».

Пока молодая литература вместе с Замятиным была революционной лишь по отношению к мещанству, пока она била лишь по накипи буржуазно-аристократической обывательщины, по ее «уездной» периферии, Замятин шел с ней в ногу. Но когда, после революции, пришел в литературу «чумазый» писатель и начал зарисовкой нового, низового—не по внешней лощенности, но по существу нового, высшего мировоззрения, стал рушить все основания старой уютной культуры, Замятин заговорил о внешних или абстрактно-отвлеченных целях искусства. Сам же в своих последних произведениях стал на путь самой «злонамеренной» тенденции, сарказма, высмеивая не искривления основного, здорового пути, но самый факт устремления к новому, самый факт возможности рождения нового мира от иных социально-классовых корней. Поэтому печать ложно-классической тенденции, печать мертвого направленства, механически интеллигентского мировозрения и отсутствия «безумия» обуяли Евг. Замятина, и даже у столь сильного художника естественно не хватает сил на то, чтобы одухотворить материал, который он берет, до границ живого организма, чем всегда является подлинное художественное произведение. Так с суровой низбежностью сказывается тот же закон искусства, что эстетика находится во вражде с тем, что мешает прогрессу, что противоречит основному устремлению, динамике эпохи.

Этот закон еще разительнее сказывается на молодых писателях.

Вот перед нами два талантливых произведения на одну и ту же тему, имеющих дело с одним и тем же материалом. Это «Петушихинский пролом» Леонида Леонова [1]) и «Перегной» Л. Сейфуллиной [2]).

Оба автора рисуют нам современную деревню в момент Октябрьской революции. Если подойти к этим произведениям с формальной или чисто интеллигентской точки зрения, то произведение Л. Леонова может показаться несравненно ярче, талантливее, совершеннее.

[1]) Москва. 1923. Изд. М. и С. Сабашниковых.

[2]) „Перегной“. Сб. повестей. 1923. Из-ство „Сибирские огни“.

В самом деле, по внешней образности и зарисовки отдельных моментов, по внешней стройности конструкции, произведение Л. Леонова несравненно, казалось бы, совершеннее «Перегноя». Автор—в высшей степени одаренный человек. Но то, что он вкладывает в свое произведение, в его образную подоплеку, говоря словами Плеханова, «ложную идею», лживое, нереальное миропонимание—от этого в конечном счете страдает, и страдает очень существенно, «эстетическое достоинство» этого любопытного и яркого произведения.

У Леонова—не реальный подход. Говорим «не реальный» не в том смысле, что он извращает факты жизни, это делает и Л. Сейфуллина, а в том смысле, что он на творимую им жизнь накладывает отпечаток какого-то выпестованного в городах, в кабинетах, в домах искусства мистического мироощущения. Над его страницами клубится мистический туман, которым он хочет скрепить воспроизводимую им в слове жизнь. Этот «Егорий на коне», которого в заключение видит его герой Алеша «в беззвездной, страшной вышине», и весь этот налет мистической бредовой грезы, это—не находит и не найдет никакого отзвука у современного, подлинно современного читателя. И эстетически вполне законно. Эти мистические инкрустации Леонова не волнуют читателя потому, что они незначительны, они почерпнуты автором не из ощущения реальности, а из кабинетных мистических высиживаний и религиозных настоек à la Бердяев и Булгаков. Русский народ религиозен, он е щ е религиозен. Это мы видим и из «Перегноя». И в «Перегное» мужики за оскорбление их бога убивают своего односельчанина, но уже ясно должно быть для художника, что основное светлое устремление деревни опирается не на «Егория на коне», а на совершенно другое—иногда пусть даже отрыв от старого выражается в пьянстве, хулиганском разгуле, но чаще в стремлении к освобождению от давящей ее всяческой темноты. И поэтому Ванька у Сейфуллиной уезжает в город, стремится понять и почувствовать большой городской мир, а у Леонова Алеша видит лишь Егория на коне и мечтает сделаться мистическим поводырем деревни.

Мистика, религиозность существуют в деревне, но они эстетически уже не обладают внутренним приоритетом, и поэтому у Л. Сейфуллиной так хорошо выдумано, так эстетически законно звучит последняя молитва нереального, придуманного автором, Артамона Пегих:

— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.

Одна мистика уже не передаст живой динамики жизни, если на нее не наслоено автором современной, реальной выдумки.

Леонов иногда с его молодым, талантливым, художническим зрением это чувствует, и так верно и ярко дан им образ игумена Мельхиседека:

«Чуялось в его твердом шаге неслышное величие уходящего мертвеца».

Это мертвое величие монаха — верная и непосредственная хватка художника; такими же чертами описывает Л. Сейфуллина свою «важную и высокую игуменью» в «Правонарушителях».

И если художник не хочет быть тенденциозным, то он и должен услышать этот живой голос жизни, который ведет неизбежно к такому есте-

ственному пониманию мира: то, что умерло в жизни, не может быть насильственно и нарочито воскрешено в художественном произведении, то не может быть воплощено художественно.

Тенденция должна быть решительно вытравлена из художнического мировоззрения художника; мир он должен видеть с четкостью современного ясноокого, здорового и зоркого дикаря.

В силу же искусственно привнесенной извне Леоновым интеллектуальной тенденции, его произведение лишено актуальной, конечной силы искусства. Его звуковую силу художник нарочито заглушил несуществующим уже, неестественным, электическим мировосприятием, мировосприятием, которое он стремится упрямо поднять из могилы. Все это рушит цельность и крепость произведения.

Так всякие попытки оторвать искусство от живой социальности, т.-е. от самой что ни на есть подлинной—в своей новой образующейся идеальной сущности—реальности,—терпят крах и приводят художника к пустоте и беспредметничеству, чем является в данном случае и Леоновская мистика.

Страшные годы революции, они действительно были «Перегноем», который обещает богатейший урожай нашей эпохе, а не «Петушихинским проломом», как его мнят себе представить мистики, пытающиеся жизнь подменить мнимыми, головными ценностями.

Но то, что без ущерба для своей бесполезной философии может доказывать Бердяев, того нельзя доказывать в литературном произведении, не отнимая у него художественной силы.

II.

На-ряду с этим, есть немало писателей, поэтов и теоретиков искусства, интеллектуально принявших «категорический императив» революции, но не могущих качественно, с достаточной глубиной, охватить смысл надвигающейся на мир культуры.

В конечном счете, «высшей проверкой жизненности и значительности» всякой эпохи является искусство (Л. Троцкий). Способность человека создать свой своеобразный, внутренне содержательный мир, свое богатое видение мира, свое мироощущение, сохранить человека на глубине живого, одухотворенного, человека, способного к безконечному творчеству, перманентному обогащению мира. Вне этого искусство бесполезно. Иной роли у искусства нет. Оно познает в живом движении мир, наращивая на всеми видимые факты творческие проценты, новые ценности.

То, что нашло свое выражение в подлинной литературе, то осуществлено — завоевано окончательно и может быть действительно вкраплено в живое бытие, в конкретный человеческий материал.

Наука, «научный анализ форм, избирает вообще говоря, путь, противоположный их действительному развитию. Он начинается post factum (потом, впоследствии), т.-е. исходит из готовых результатов процесса развития» [1];

[1]) К. Маркс. Капитал, том , глава первая.

искусство же пытается запечатлеть подлинное движение жизни; оно, как живой свидетель, перерабатывающий, оформляющий в себе материал, впитывает в себя ее продвижку, художественно — с идеальной реальностью — измышляет иногда потенциальную ее динамику или отмечает ее торможение. Вот почему можно интеллектуально принять «категорический императив» революции, а внутренне художественной продвижки конкретной жизни, являющейся следствием революции, не чувствовать. Не понимать, в этом смысле, революционной динамики искусства, и требовать от него того же анализа фактов, той же зарисовки жизни, какой мы требуем от науки, от политической платформы и т. д.

Отсюда все искривления современной эстетики, отсюда требования от искусства ясных, рационалистических форм, отсюда — навязывание искусству «производственных, конструктивистических» и т. п. посторонних ему целей. Отсюда—стремление лишить искусство его познавательно-преображающего качества, отрыв его от целей реально-художественного претворения действительности, хотя бы формами фантастики.

Да, современному искусству будут присущи все формы, ему присуща и фантастика, но фантастика, напоенная в своем существе кровью, родственной современной жизни, ему присуща и сатира, но сатира, соединенная в своих образах жизненной артерией с живыми людьми нашей эпохи, а не Эренбурговская схема. И именно поэтому мы можем видеть, как Толстовский, фантастический роман «Аэлита» в своем начале, в своей первой половине, где живет и действует фантастический, но живой красноармеец Гусев и подлинный инженер Лось, как эта фантастика великолепна, полнокровна, художественно-разяща; к концу же, где А. Толстой пытается создать из Лося современного «платоновски» и платонически настроенного Фауста или Ромео, там впечатление ослабевает, выветривается. Снижается и разряжается и общее впечатление от романа.

И поистине смехотворным, геркулесовским недоразумением является средневековая софистика Б. Арватова, когда он в конце своей книги «Искусство и классы» [1]) пытается доказать, что реализм, натурализм, вообще внутренняя связь искусства с действительностью нужны были лишь буржуазии. «Буржуазное «общество»,—пишет Арватов,—между членами которого не существовало непосредственной активной связи, превратило искусство в средство для установления этой связи...» (стр. 77).

«Между тем, пролетариат, как класс коллективистический и поэтому воспринимающий жизнь социально, т.-е. об'ективно, совершенно не нуждается в каких-то особых, искусственных формах конкретного познания...» (стр. 78).

Фома Аквинский и все средневековые схоласты могут воскреснуть и умереть еще раз от зависти к столь «гениальному» софизму.

Это подлинно-гениальный ответ на вопрос:

«А сколько ангелов усядется на острие иглы?»

---

[1]) Госиздат. 1923. Москва – Петроград.

В потугах оправдать современный футуризм, не признающий за искусством особого образного восприятия мира, а видящий его задачу «в построении из материалов» рационально задуманного на данный случай произведения, Арватов поистине из пролетариата творит «ангела», которому уже не нужны средства установления внутренней социальной связи. Похвальное, но прожектерское старание. «Пророческое» зрение Арватова, еще до окончательной политической и, тем более, экономической победы пролетариата, создает уже социалистическое, оторванное от настоящего, воображаемое общество с законченным коллективистическим восприятием, с социалистическим мировоззрением.

Избави бог писателей и теоретиков искусства от подобного провидения социалистической эпохи, от такого ходульного верхоглядства — мечтаний Щедринского карася, ведущих в практике к схематизму, механическому мировоззрению и ложно-классическому идеализму.

И хорошо, что даже стремительный и бесстрашный Вл. Маяковский, союзник Арватова, не пытался в своей практике ни разу воплотить это призрачное, бесплотное видение, хотя и снизошел в своей практике до писания стихотворных реклам в подновленном стиле блаженной памяти дяди Михея. Но даже в самых «утопических» своих произведениях, даже в «Мистерии-Буфф» и поэме «150.000.000», где он, вообще говоря, громоздится довольно высоко — вплоть до вершин Эйфелевой башни, а в последней поэме «Про это» даже до колокольни Ивана Великого, он все же нигде не смог прозреть, вслед за Арватовым, его идеального, законченного общества.

Талант Маяковского спасает. И мы наблюдаем, как он вынужден вопреки Арватовским теориям, возвращаться к основным человеческим темам, конкретным и реальным темам современности, оставляя на время занятие дяди Михея.

В этом отношении поэма «Про это», сумбурная, крикливая, загруженная порой уродливой словесностью, иногда сплошь ненужными страницами, действительно замечательная вещь. Она бьет по нарочитому, удуманному футуризму прежде всего тем, что в ней поэт, как блудный сын, от поверхностной, с точки зрения подлинной культуры искусства, политической публицистики, рекламных стихов, возвращается к основным темам литературы, бьющим по глубоким линиям живой личности: говорит снова о человеческой любви, о подлинных реальностях своего внутреннего мира.

И здесь Вл. Маяковский снова, как в поэме «Тринадцатый апостол» (Облако в штанах), обнаруживает себя, как огромного поэта.

Эта тема придет,
калеку за локти
Подтолкнет к бумаге
прикажет:
скреби.
. . . .
Эта тема придет,
во век не износится,
только скажет:

Отныне гляди на меня.

. . . .

И как будто ярясь
— позабыли забыть ее, —
затрясет:
посыпятся души из шкур.

Эта тема — любовь. Одна из основных, исконных и не лишенных и в будущем значения в искусстве, которой, однако, стыдятся многие взгромоздившиеся на ходули современники.

Правда, Маяковский тоже стыдливо ставит вместо этого слова точки, но важно то, что талант поэта вынуждает, толкает вновь его к этой реальной и значимой человеческой теме. И на последних страницах поэмы перед нами снова воскресший из мертвых Маяковский, поэт «огромного таланта», «почти гений». Он свнова вышелушивает свою душу из искусственной, неуклюжей словесной оболочки и создает поэму, по силе напоминающую поэму «Тринадцатый апостол».

Поэма «Про это», как и поэма «Облако в штанах», крик здорового организма, который очутился в межпланетном (планеты — эпоха буржуазии и социалистическая эпоха) пространстве. Поэма выражает настроение оптимизма отчаяния, как христианская религия была в свое время выражением отчаявшегося, лишенного активности оптимизма. Поэт в настоящем не видит ничего, на чем бы могла утвердить свое равновесие его личность, но с силой здорового существа, комлевой, кряжистой личности, оставшейся без наследства, он требует себе законного аванса от грядущего.

Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя бы за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь.
Воскреси меня
хоти бы за то,
Воскреси —
свое дожить хочу,
Чтоб не было любви-служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
Чтоб всей вселенной шла
любовь.

В разящей ненависти к заплесневелым формам любви он хотел бы уничтожить старый, осевший, но еще современный быт, хочет выдернуть собственный «хвост» из-под пресса прошлого, разбить все внешние вещные декорации любви, доставшиеся ему в наследство от папаш и мамаш, хочет, забравшись на Ивана Великого, ощутить светлое грядущее, чтобы в этом живом ощущении сохранить равновесие своего нарушенного нутра.

Во всяком случае пока важно отметить и подчеркнуть то, что поэты возвращаются к исконным темам искусства — любви, ненависти, страданию, героизму, душевным трагедиям, и вообще основным, корневым выражениям человеческих переживаний, по которым всегда идет переплавка и обогащение внутреннего челевеческого мира.

Это путь Гомера, Сервантеса, Данте, Шекспира, Пушкина, Толстого. Он остается обязательным и для искусства нашего времени. Эти основные, извечные темы искусства с их всеоб'емлющим охватом жизни, с их грандиозным, ассоциативным богатством всегда соединяют кровными нитями творца-человека со всей сложностью и внутренней роскошью мира. И только те, для кого мир погас, кто по наследству от умирающих классов видит во всем одну механику, те пытаются увести искусство в бездушное пространство голого оформления вещей, слов, ритмики, внутренней бессодержательности и беличьего верчения вокруг выработки форм или, в лучшем случае, стройного изложения своих сложившихся интеллектуальных понятий о мире.

В эту сторону нашу молодую литературу пытаются увести люди, потерявшие ощущение живой стройки мира. Эта «литературная Енчмениада» имеет у нас довольно сильный фронт. И последняя «гражданская война» в литературе, создавшая известный водораздел в писательских кругах, обнаружила в конечном счете два различных жизнеощущения. Здесь с одной стороны об'единились Октябристы-Напостовцы и Лефы (странное, внешне, сочетание, но, повидимому, внутренне-естественное и законное) и с другой стороны оказались в основном на одинаковой позиции по отношению к искусству — Л. Троцкий, А. Луначарский и А. Воронский.

В первом случае требования напостовцев к литературе обнаруживают суб'ективно ограниченную точку зрения, в сущности, глубоко индивидуалистическую, с безжизненно-механическим воззрением на жизнь, хотя оно и прикрыто у них горячим приятием «категорического императива» революции, — во втором случае, взгляды на искусство вытекают из более об'ективного мировоззрения, мировоззрения людей, все еще жаждущих мир ощутить в его подлинном, живом становлении, в его постоянно творящемся, процессуальном, диалектическом оформлении.

«Напостовцы» видят и ощущают лишь статику жизни, и будущее они воспринимают так же. Им хочется—и, повидимому, искренно—приблизить его к себе, как готовый футляр жизни. Они его мыслят так же, как обездушенный мистик мыслил ад и рай. И, как средневековые мечтатели, они хотят статического распределения писателей на дантовские круги с точной классификацией их преступлений и заслуг. Отсюда неизбежное для них опошление термина, брошенного Л. Троцким—«попутчики». У Л. Троцкого

«попутчики», как это вытекает из живого смысла этого слова, идут той же дорогой, в ту же сторону, куда устремляется и революционный авангард, но лишь с другим ритмическим напряжением, другой походкой. «Попутчики» обращены лицом в ту же сторону, и если глаз их еще не различает далей с идеальной, желанной отчетливостью, то все же они видят эти дали, они ощущают отблески будущих социалистических зорь. И главное — они, «попутчики», первые в искусстве реально показали нам эти отблески. И в этом их большая заслуга.

«Напостовцы» же самое понятие «попутчик» хотят превратить в понятие «встречного» грядущему; встречного на узкой улице, где двоим уже не раз'ехаться, и где непременно надо сшибиться лбами и испытать, чей лоб может выдержать конкуренцию с историческими лбами фонвизинских героев.

И это все происходит от того, что «напостовцы» хотят притянуть и немедленно пересадить в современную почву пока лишь мыслимое ими будущее. И ради этого они обнаруживают часто неприязнь к окружающему их «сегодня», художническую глухоту к настоящему, что конкретно обнажено, напр., в последней повести «Завтра» молодого писателя Ю. Лебединского.

Не уразумевая того, что большой общественной ценностью и исторической неизбежностью является то, что художник крупицами приближает грядущее, крупицами собирает новое мироощущение, они, как сказочный цыган, хотят это не близкое и глубокое «завтра» зачерпнуть кожухом, хотят кожу с быка сдернуть в одно мгновение, взявшись за хвост. Они не видят того, что именно попутчики и непопутчики втягивают широкие массы в орбиту искусства, и что им — напостовцам и ненапостовцам — временами не лишне поучиться у первых видеть реально в художественной зарисовке настоящее и это желанное, но еще мелькающее будущее.

Они не видят, не хотят видеть, что именно Б. Пильняк показал нам коммуниста в плоти и крови, эти кожаные куртки, которые реально «энегрично фукцируют», показал Архипова, который с подлинной мудростью умеет встретить смерть отца и с величайшей скромностью делать большое новое дело; показал «поезд смешанный» и рядом чиновничью цепкую, упрямую и преступную жадность. И Пильняк, вообще, первый сквозь мглу, метель, сквозь наслоения прошлого стал искать, порой с уродливыми ужимками, живые проблески будущего, ритм его, синтез бесформенной стихии прошлой России с четкими шагами современности: «Бум-бум»... «Главбум» и т. д.

Они не хотят видеть, что Вс. Иванов, первый в сущности, напечатав в № 1 «Красной Нови» своих «Партизан», а затем «Бронепоезд», увидел сам и показал нам в достаточно художественной зарисовке мужика, повернувшегося лицом к революции, спиной (мужик Селезнев) к прошлому, к Колчаковщине. Они не дооценивают того факта, что именно Иванову удалось показать в сцене с американцем в «Бронепоезде», как мужик впервые живо ощутил Интернационал. Эта сцена на-ряду со сценами братанья русских солдат с французами из «Севастопольских рассказов» Л. Толстого войдет во все будущие хрестоматии. А у Иванова немало таких картин, а ведь их так мало вообще в новой литературе.

Эта политика «Напостовцев», глухих к живому росту искусства, проистекает из вкоренившегося во всех нас в нашем тяжелом, в сущности вечно-уездном, мещанском быту механизировавшегося, обывательски-неглубокого взгляда на искусство. В этом же сказывается на нас вторичное наследие буржуазного миропорядка, приведшего мир к пустоте, к мертвой неподвижности, к бессмысленной оголтелой конкуренции и внешней смене форм, к социальному тупику.

Это вместе взятое и создает тип человека, социально и биологически бескровный, глухой к подлинным колебаниям, живым потребностям, к человеческому «трепетанию» — в конечном счете, к непониманию подлинных задач нашей эпохи, а следовательно, и искусства, как высшего жизненного ее обнаружения.

В лучшем случае, здесь сказывается суб'ективнейшее настроение растущей молодежи, «биологической молодости», имеющей в своих носителях настолько еще неиспользованный в жизни, брызжущий запас оптимистического эгоцентризма, что они искренно не ощущают порой нужды в об'ективной зарисовке этой жизни в искусстве.

И всем нам, конечно, необходима выработка в себе подлинно вкусовых ощущений к художественной литературе и умения воспринимать художественную литературу в социально-качественно-новом ощущении нашей эпохи.

И никогда не убедит нас Асеев в том, что мелодийность, скрупулезная фразеологическая живопись поэта Б. Пастернака делает его чуть ли не первым поэтом современности. Хотя Пастернак и очень изысканный и филигранный поэт и у него немалый талант к этому, но все же его внутреннее социальное и словесное косноязычие, мелочность и уродливая расщепленность мировосприятия с несомненной ясностью обнаруживает, что это — поэт русского, доморощенного «аристократического» мещанства, правда, с похвальным напряжением пытающийся взглянуть на новый мир.

Но скверно то, что эти поэтические и словесные «карачки» Пастернака часто заражают таких свежих поэтов современности, как Тихонов. Последние стихи его, особенно поэма «Шахматы», обнаруживают с несомненной ясностью, что это косноязычие обуяло и Тихонова.

Неужели в самом деле так соблазнительно менять простой костюм на неудобный и уродливый, хотя и модный? Неужели ясная ударная крепость Н. Тихонова с его стремлением к выработке динамической современной эпики не стоит изысканной узорчатости синтаксиса Пастернака? Конечно, стоит. И не зачем гнаться Н. Тихонову за дешевыми лаврами в кругу изысканных, европеизированных литераторов.

В области искусства, культуры каждая новизна получает свою полнокровную весомость и социальную ценность тогда, когда она вырастает из живой крови человека, когда она бурно прорывается из его мироощущения. Тогда она ассимилируется и широкими массами и делается их мироощущением.

И перед искусством, литературой в данный момент и стоит основная задача выплавки руды этого нового мироощущения, которое создает нового человека.

А против этого нового мироощущения у нас еще много, может быть, слишком много, найдется врагов. Внутренне это—наша крепкая и упорная неграмотность, ужасающая неподвижность быта, духовная и материальная нищета; внешне —далеко еще не умершая буржуазия и в ее недрах квалифицировавшаяся группа интеллигенции и мы все, далеко еще не вырвавшиеся из плена прошлого и, в сущности, еще очень беспомощные в вопросах культуры.

Нужна большая длительная закалка и переплавка нас самих, нужен неисчерпаемый художественно-органический, крепко привитый человеку пафос уверенности в завтрашнем дне, чтобы не опускались наши руки при виде той исторически-исконной, наследственной обывательщины, которая тянет нас книзу на каждом шагу. Но то, что нашей эпохе предшествует огромный философский размах, которым дана нам подготовка к современности рядом ученых во главе с К. Марксом, и тот органический и стихийно-беспощадный революционный опыт, который проделан всей Россией, руководимой В. Лениным, это все дает нам уверенность, что мы теперь можем «прозреть» и увидеть основные линии, по которым должна развиваться культура, а отсюда искусство и литература.

Насколько средневековая феодальная и буржуазная культуры Запада в конце своего завершения (Кант, Фауст, полумрак готики, тени портретов Рембрандта, Бетховенские сонаты) характерны, как и наш дворянский декадент, поэт Тютчев, а за ним и Фет с мутным влечением к мерцающим, порой хаотическим сумеркам, «вечерним огням», социальному молчанию, к беспредметной и внесоциальной отвлеченности, формальному преодолению пространств мира,—настолько грядущая социалистическая эпоха и эпохи ей предшествующие намечаются, как ранняя ясная весна, весна ясных, кровью насыщенных красок, непосредственных и социально-значительных впечатлений, крепких, светлых, под'емных человеческих настроений, стремящихся утвердить в мире исключительно человеческое господство.

Мир цельной творческой, человеческой заинтересованности; мир настроения, наполняющего каждый трудовой удар по мертвой материи бодрой уверенностью конечной победы человека над миром.

И, конечно, всяческое освобождение от мистики, от туманных, исторических настроений, полное освобождение от внешней авторитарности с параллельным накоплением социально равнодействующей авторитарности в каждом живом человеческом существе.

И если феодальная замкнутость и величайшая недоступность искусств прежних, упомянутых нами, эпох вытекали из характера и существа их устремлений, то так же из существа наших подлинно-человеческих устремлений вытекает величайшая демократичность и ясность нашего грядущего искусства.

По этому пути и этим линиям и пойдет развитие нашей литературы, которая задачей своей имеет накопление человечески ценного материала для растущего коллектива нашего общества.

Письмо в редакцию.

М. Волошин.

До меня дошел ноябрьский номер журнала «На посту» со статьей Б. Таля «Поэтическая контр-революция в стихах. Максимилиана Волошина».

Я не позволю себе разрушать творимой обо мне легенды, ибо самый приятный вид славы — незаслуженная. Но два пункта статьи нуждаются в публичном раз'яснении.

Таль цитирует по заграничной газете «Последние Новости» некоего Зноско-Боровского, который рассказывает, как я при добровольцах приезжал в Екатеринодар «спасать какого-то генерала». Это какой-то «белый» генерал, как уже от себя добавляет Таль, был профессор Никандр Александрович Маркс, фольклорист и палеограф, известный на юге под почетной кличкой «красного генерала». В 1919 году при красных он стоял во главе Отдела народного образования, а по взятии Крыма белыми—арестован и отправлен в Керчь, как раз во время свирепой ликвидации «восстания в каменоломнях».

Так как в этот момент все от него отшатнулись, как от зачумленного, я поехал вместе с ним и мне удалось не только предотвратить его расстрел, но и направить его дело в Екатеринодар, провести через военно-полевой суд и, несмотря на обвинительный приговор, добиться — не оправдания, — а освобождения его, вопреки воле всей армии и прессы, требовавших его казни.

Позже, уже при Советской власти, Маркс снова вернулся в Екатеринодар, стал основателем и первым ректором Кубанского университета. После его смерти в 1921 году ему были устроены всенародные похороны, и Советская власть по заслугам оценила его общественную и научную деятельность.

Издевательский тон «Последних Новостей» по отношению к Марксу понятен: это отголосок ненависти, с которой отнеслось к освобождению Маркса белое офицерство, грозившее расправиться с ним «своими средствами», а заодно и со мной, так как «только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого негодяя», говорилось тогда, и, ирония судьбы, — в ту эпоху те же самые стихи, что Таль приводит сейчас в доказательство моего «монархизма», приводились как образцы моего «большевизма».

Но пренебрежительный тон по отношению к памяти Никандра Александровича Маркса, вполне уместный в эмигрантской прессе, совершенно не подобает в советском журнале, и я чувствую необходимость крикнуть Талю: «К порядку!».

Второй пункт — личный.

Таль сообщает, что я являюсь сотрудником какого-то монархического альманаха «Детинец».

По этому поводу я должен сообщить, главным образом к сведению тех советских изданий, которые печатали мои стихи, следующее:

С моего ведома и разрешения были опубликованы только те мои стихи, которые шли через руки В. В. Вересаева (а в 1921 г. и С. Парнок), все же остальные как в России, так и за границей печатались и печатаются без моего ведома, разрешения, оплаты, лицами мне неизвестными и в искаженных текстах; следить за этим из Коктебеля я не имею возможности.

То же относится и к злоупотреблению моим именем в списках сотрудников эмигрантских изданий. Могу еще сообщить Талю, что имя мое видели и в списке сотрудников «Нового Времени», и национально-патриотического издания «Зарницы». «Детинец» для меня новость, так же как и собственная моя книжка «Стихи о терроре», о которой пишет Зноско-Боровский. Содержание ее, очевидно, так и останется для меня тайной, так как она запрещена к ввозу в Россию. Только берлинское переиздание моей книги «Демоны глухонемые» (1-е изд. в 1919 г. в Харькове при Советской власти) сделано с моего ведома и разрешения.

Достопримечательно, что моим именем за границей пользуются преимущественно те органы, которые меня особенно шельмовали раньше.

Протестовать против всего этого я не собираюсь и по тем же причинам, по которым не возражаю на статью Таля.

Стихи мои достаточно хорошо заряжены и далеки от современных политических и партийных идеологий: они сами сумеют себя отстоять и очиститься от нарастающих на них шлаков лже-понимания.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Неверов. Пьесы. „Красная Новь". Г. П. П. М. 1923 г. Стр. 212.

Покойного А. С. Неверова манил театр, к которому одной и очень отметной стороной своего дарования был он близок.

Какому главному требованию должен удовлетворять писатель, чтобы стать способным создать пьесу, — пьесу не для чтения, а обязательно для исполнения на сцене, пьесу для игры? Он должен быть как бы заряжен динамикой. Умея и в беллетристике развернуть сюжет действенно, можно приниматься за драматическую форму. Чувство сцены есть, по существу, чувство движения. Видеть своих персонажей не только разговаривающими, но и действующими—значит суметь вместить их в узаконенные рамки драматического произведения. И Неверов этой счастливой способностью обладал. Даже в пределах обычного рассказа он никогда не остается статичным. „Марья-большевичка", „Андрон Непутевый", „Ташкент—город хлебный" и целый ряд менее характерных для Неверова произведений носит на себе отчетливое выражение этой манеры уметь распорядиться персонажами в смысле показа их в активном действии. Протестующая Марья - большевичка, налаживающий новую жизнь в косной и темной деревне Андрон, героический Мишка, добывающий хлеб в Ташкенте—потому так и убедительны, что даны не в статике своей, а в кипучей динамике. И речь своих персонажей строил Неверов диалогически. У него нет монологов и сравнительно мало отступлений и пояснений „от автора" (ремарок — на языке драматурга). В его рассказах разговаривают так, как разговаривают в театральных пьесах. Отсюда и основное свойство Неверова-художника: развертывать сюжет в четком и упругом ритме, не задерживаясь на мелочах, а схватывая наиболее броские, яркие, типические особенности. Его рассказы из деревенской жизни всегда об одном и том же: о разрушении старых устоев. Хорошо сказано у Маяковского: „не бьют, и не движется быта кобыла". Неверов показывал, как движется эта „кобыла" — этот застоявшийся косный быт под мощным воздействием революции. В меткости и силе, с которой наносил Неверов удары старому, сказались опять-таки черты писателя, ощущавшего в себе несомненную способность стать настоящим драматургом.

На этот путь он, однако, вступил сравнительно поздно. Его пять пьес все помечены 1920 — 1923 годами. Революция, которая вообще дала мощный толчок для развития его творчества, несколько бледноватого и расплывчатого в годы первых писательских опытов Неверова в „Русском Богатстве",—революция, великая разрушительница-созидательница, подарив ярчайшие темы, помогла найти и опору. Неверов, заряженный революционной динамикой, быстро и уверенно рос как художник. Этот же заряд сохранил свою силу для него и как для драматурга.

Уже отмечено, что в пределы одного трехлетия сжато драматургическое творчество Неверова. Знаменательнейшие годы в истории революции, 1920—1923, — годы ликвидации гражданских фронтов, — они и в истории писательства Неверова занимают особенное место. Неверов, „волнуясь и спеша", стремится осознать смысл той великой раскачки, под размахом которой зашаталась старая жизнь. И для него, чуткого наблюдателя, не было ничего неожиданного в том вихре Октября, который пронесся бурей над всей землей. Ему было ясно, что пролог к великой революции разыгрывался на фронтах империалистической войны, в сырых окопах, в которых сгнивала „святая скотинка", и на занесенных снегом Карпатских отрогах, по которым ползли и скатыва-

лись армии. Деревня—а ее быт до конца был понятен Неверову—содрогалась от ударов, долетавших до нее благодаря своеобразным законам социальной детонации. Подкатывали, например, волны русских полков к Перемышлю, а ее валы отзывались в глухой заволжской деревушке притоком нового элемента: австрийскими пленными, во множестве вселяемыми в деревни Саратовской, Самарской, Нижегородской...

Одна из самых ярких и удачных драм Неверова „Бабы" и является отражением пролога к грядущей революции. В этой замечательной по яркости пьесе изображена деревня, опустошенная войной. Мужиков нет — они на фронте. Дома старики, отпущенные в бессрочный отпуск, раненые да пленные. И в силу сложившихся условий начинают играть новую и заметную роль бабы. Неверов, с чутьем настоящего писателя для театра, тонко намечает коллизию той драматической борьбы, в которой доминирующее положение занимают бабы.

Баба-солдатка: старый мотив бытовой литературы усложнен новым содержанием—солдатка „гуляет" с пленным австрийцем или пленным немцем. Этот „враг", с которым где-то там сражаются мужья, братья и сыновья деревенской бабы, этот „враг" принес в заволжскую глухомань небывалое: культуру Европы, пусть несколько примитивную, но в условиях русской глуши кажущуюся, поистине, сказочной. Пленный вежлив, услужлив, учтив, деликатен, чистоплотен. Он „кавалер" в хорошем значении этого слова. И он резкий контраст своему—„законному" — пьяному, грубому, грязному, драчуну, ругателю.

Баба „жалеет" пленного, но жалеть—значит любить, и баба отвечает любовью на нежную ласку и заботливость какого-нибудь австрийца Иосифа (такого именно и рисует Неверов очень верными и тонкими штрихами). А любовь к пленному, носителю культуры, рождает в бабе сперва чувство сомнения в правильности того закона, который отдал женщину в рабство, сделав ее мужниной вещью, а потом и сознание протеста против такого дикого положения вещей. На этом и построена драматическая коллизия неверовских „Баб".

Домна, в чертах которой легко угадать будущую Марью-большевичку, открыто, на глазах всей деревни, сходится с пленным, так утверждая свое право на свободную любовь. Мало того: она является настоящей агитаторшей за бабьи права, вмешиваясь в тяжелую семейную историю, переживаемую слабовольной, забитой Катериной. Словом, перед нами подлинная героиня.

Социальная значимость Неверовской пьесы именно в том и состоит, что „Бабы" с беспощадной ясностью рисуют прогнивший в самой основе своей старый уклад деревенской жизни. Семья, на крепости которой держался веками косный быт, распалась. Война расшатала все устои и прежде всего семейные. Война, заразившая деревню сифилисом, своим гнилым дыханием отравившая воздух деревни, вместе с тем послужила стимулом к зарождающемуся протесту против старых распорядков. Ожило бродильное начало революции.

Очень характерно для Неверова, этого восторженного певца освобожденной русской женщины, что носительницей революционного протеста он сделал прежде всего бабу, активную участницу деревенской революции.

Жуткая, незабываемо жуткая картина дореволюционной деревни нарисована в пьесе. Быть может, не было по сгущенности красок ей равной после Чеховских повестей „В овраге" и „Мужики". Сцены, рисующие измывательства и избиения Катерины пьяным Филькой, сцены надругательства над женщиной по силе впечатляемости очень близки к тем Чеховским главам в „Мужиках", в которых изображается страшный Кирьяк.

У Чехова читаем:

...но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет,—сказал старик, — легок на помине.

Все притихли, и немного погодя опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной некрасивой женщины выражение испуга. От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком, и что он, когда бывал пьян, приходил и бил ее без пощады.

— Ма-арья!—раздался крик у самой двери.

— Вступитесь Христа-ради, родименькие,—залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду,—вступитесь, родименькие...

У Неверова, во втором действии „Баб“, Катерина, сбежавшая от побоев мужа—пьяного Фильки—к матери, в обществе Домны и пленного Иосифа сидит в избе и смертельно боится прихода мужа. И Филька действительно, приходит:

Стук в окно. Голос Фильки: „Отпирай“.

Федосья (*мать Катерины*). Батюшки, господи, Домнушка! Филипп идет! Родные мои! Филипп идет!

Катерина. Идут! Опять бить?!

Домна. Сиди! Сиди!

Филька (*с улицы*). Закрылась! (*Стучит кулаком в раму.*) Отпирай! (*Бьет по стеклу, просовывает руку. Срывает шаль.*)

Катерина (*хочет спрыгнуть с кровати*). Пустите!

Федосья. Доченька, господь с тобой, доченька!

Катерина Ах, господи, один конец!..

А как говорят бабы о своей жизни:

Чай, хуже бабьей жизни и нет нигде. Каждый гнилой мужичишка канфузит. Каждый гнилой мужичишка хозяин над тобой. А без бабы все равно никуда. Днем — баба, и ночью — баба. Так бы плюнула в харю окаянному. Горе-горе, не стряхнешь никак. Везешь, как лошадь, весь дом на себе, а тут еще угрозы присылают, дерутся. Словно каторжные мы, для этого только и родились . .

. . . .

Они, мужики-то, за каждую юбку хватаются. Едут на побывку, заезжают в торговый. Из дома едут туда же. И нас заражают. А мы и тут, как бабы. Да. Муж гниет и жена гниет . . . . .

. . . .

Мой покойный, не тем будь помянут, тоже хорош был кобелек. Сколько раз я плакала от него! Грешница, прости меня, господи, не любила. 34 года прожила, как на цепи простояла. Стисну бывало зубы и лежу с ним, как мертвая. Не в радость был...

Подлинно толстовским, — „Властью тьмы“ — веет от этих страшных речей.

И по композиции „Бабы“ — наиболее удачная вещь Неверова-драматурга. Но в ней, к сожалению, смят финал, не четкий и несколько вялый. Вообще с концами в неверовских пьесах не все благополучно. „Захарова смерть“, хронологически, в смысле разыгрывающихся в ней событий, непосредственно связанная с „Бабами“ („Бабы“—даны на фоне пролога к революции; „Захарова смерть“ рисует деревню уже в эпоху гражданской войны), — пьеса, начатая очень интересно, к последнему акту становится мало выразительной. В драму, яркую картиной того развала семьи, который здесь представлен борьбою детей с отцами,—новой деревни со старой,—в эту драму без всякой необходимости вплетен чисто мелодраматический момент: старческое скряжничество Захара, его неудачная попытка зарыть деньги и пропажа их.

Скомкан финал: слишком уж бегло и трафаретно сделаны фигуры казаков-белогвардейцев.

Но образы носителей революционного начала — Григория и Надежды — показаны ярко и художественно убедительно. В смысле же отражения момента „Захарова смерть“ одно из тех произведений, которое послужит будущему историку отличным документом эпохи. В пьесе отчетливо вскрыто и революционное брожение деревенской бедноты, и безнадежные попытки стариков-богатеев поддержать прогнившие устои старого б..та, и победный рост молодого сознания, освобождающегося от пут предрассудков и смело идущих к коммунизму. Ярко фиксирует пьеса эпизоды борьбы на гражданском фронте, борьбы между Красной армией и казачьими бандами. Отчетливо показывает Неверов картину диких насилий, чинимых белыми над деревней. Еще ярче запечатлен именно этот момент в „Гражданской войне“ — „социальной драме“, построенной „как массовое действие“. Но Неверову самое действие удалось показать далеко не в тех широких масштабах, в которых оно должно бы быть. Картине Неверова недостает широты охвата. Да и написанная к острому моменту, переживаемому в 1920 году, в наши дни она уже не представляет значительного интереса.

Пробовал Неверов свои силы и в комедии. Но комедия удавалась ему куда меньше драмы. Не лишенный юмора, Неверов в

комедии, да еще на социальные темы, оказался лишь поверхностным наблюдателем быта, схватившим лишь внешне комические черты. „Смех и горе", — комедия, построенная по старым трафаретным образцам, в которых комические положения не делают пьесу выразительной. Хорохоренский, Сребролюбов, Паникадилов—вот фамилии действующих лиц (попы и псаломщик), долженствующие вскрыть и внутренние свойства этих персонажей. Но этот излюбленный прием старых водевилистов не оправдан Неверовым живым, ярким и, главное, действенным показом этих лиц. Пьеса в трех длинных актах могла бы свободно уложиться и в двух действиях. Видимый повод к написанию комедии—тенденция показать „плохого комиссара" из числа „примазавшихся". К сожалению, этот, очень занимательный для драматурга и интересный для комедии нравов, тип Неверовым очерчен бледно. Гораздо ярче „Богомолы" — шутка в одном действии. В ней ярко набросаны фигуры ханжей-старичков и с замечательной живостью рисуется один из отметнейших персонажей тех лет (действие происходит в 1920 г.)— фигура мешечника, скупающего у мужиков хлеб. Мешечник говорит тоном раешника, выдержанно, кругло, быстро и смешно.

„Какой ты губернии?"—спрашивают его. Мешечник отвечает: „Губернии подаянской, волости буянской, из деревни гляди в оба... Характером очень веселый, по два дня не ужинаю, по три не обедаю, сяду за стол— не вылезу. В чашке густо, во рту пусто, в брюхе нет ничего..."

Прелестной бытовой картинкой „Молодые побеги", опять-таки рисующей победное произрастание нового быта, заканчивается первый, так, к сожалению, и оставшийся первым, том пьес Неверова. В „Молодых побегах" главными действующими лицами являются ребятишки - школьники, беззлобно, но упорно воюющие со стариками. А детей Неверов умел писать: образ Мишки из „Ташкента — города хлебного", этот замечательный образ, стоит как живой, вскрывая все большое мастерство Неверова и его нежную ласковость, с которой он подходил всегда к детям...

Юрий Соболев.

„Вопросы теории и психологии творчества". Непериодическое издание под ред. Б. А. Лузина. Том VIII. Харьков. „Научная Мысль" 1923. 282 стр. 4000 экз.

Е. И. Боричевский. „О природе эстетического суждения". Изд-во „Белтрест печать". Минск 1923. 12 стр. 5000 экз.

Антуан Альбала. „Искусство писателя". Перевод с франц И. Б. Мандельштама с предисл. А. Г. Горнфельда. Кн-во „Сеятель" 1924. 165 стр. 3000 экз.

Современная эстетика начинает все более и более расставаться с чисто отвлеченным анализом проблем искусства. Говорить о сущности красоты, о возвышенном и прекрасном так, как это делалось раньше, теперь невозможно. К этому явно уже и не случайно утратили вкус,—все проблемы, эстетические в том числе, стали прежде всего конкретными и не нуждаются в слишком общих и отдаленных предпосылках. Место прежней эстетики должна занять теория искусства в настоящем смысле этого слова, т.-е. изучение всего, фактически данного в самом искусстве. Путь к этому один — сравнительный анализ однородных явлений, т.-е. работа, требующая уменья наблюдать и понимать значение фактов. Синтез, как результат этой работы,—дело сравнительно далекого будущего. Конечно, здесь от исследователя требуется большое чутье: он должен избежать двух подводных камней — чистой отвлеченности и не менее бесплодной схоластики только описательного метода. Первого из этих препятствий, на котором терпели крушение и люди исключительно одаренные, не обошел Ап. Васнецов, напечатавший в 8-м выпуске „Вопросов" статью о „Происхождении красоты". Прежде всего заглавие статьи не точно. Под „происхождением красоты" можно понимать исторический анализ развития самого чувства прекрасного, автор же дал ряд очерков, излагающих его собственные философские воззрения на красоту, понятую то как результат мирового процесса, то как проявление субъективного чувства. Для того чтобы обосновать первое, совершенно недостаточно тех данных, которыми располагает автор, цитат из Аристотеля, сделанных по „Истории философии" Фулье, в том числе. Несколько лучше и правильнее Васнецов анализирует красоту в явлениях искусства

и природы. Здесь чувствуется человек, имевший дело с наглядными формами, свыкшийся с ними и умеющий говорить о них. Теоретическая часть ему в общем, как и следовало ожидать, не удалась. Ее отличает неуловимая зыбкость и неопределимость основных понятий, т.-е. именно то, с чем должна бороться эстетика, в особенности умозрительная. Мы можем как угодно понимать положение: „Гармония в разнообразии есть условие красоты" (22 стр.) по той простой причине, что и гармония и разнообразие каждым неизбежно истолковывается по-своему. Не менее неопределенно автор понимает задачи эстетики, как науки: „повышенная способность к определению красивых форм, опирающаяся на объективные свойства красоты — вот абсолютный критерий эстетики (57 стр.). По этому поводу приходится отметить, что никаких „объективных свойств красоты" до сих пор не найдено, равно как не найден способ определять „повышенные" и „неповышенные" способности в этой области. Одно из двух: или слово „красота" нужно превратить в понятие, т.-е. дать ему точное и строгое определение, или выбросить его из эстетики. Хорошим методологическим пособием в этом смысле, освещающим всю трудность, связанную с анализом эстетических понятий, является небольшая работа Е. Боричевского „О природе эстетического суждения". Автор рассматривает проблему, начиная с Канта, и, совершенно отчетливо поставив ее, вскрывает всю сложность самого простого эстетического суждения. Уже в элементарном высказывании по поводу произведения искусства сплетается множество мотивов о том,—личных, социальных, научных, идейных, чисто художественных и т. п. В общем все это разнообразие сводится к трем основным типам: 1) Установка объективно ценного „путем имманентного изучения элементов художественного произведения", т.-е. идеи, стиля, композиции в их взаимной обусловленности. Фантазия воспринимающего искусства в этом случае покорно следует воле художника. 2) Свободное, вполне субъективное наслаждение искусством, корым пользуются только для познания своего „я". 3) Сочетание того и другого. Работа Е. Боричевского, к сожалению, недостаточно развивающая очень ценные мысли, является примером того, как нужно чисто логически анализировать отвлеченные проблемы эстетики.

Чрезвычайно талантливо и тонко написана книга А. Альбала „Искусство писателя". Безотчетному, наполовину бессознательному чтению он противопоставляет чтение разумное, „вдохновенному" писательству — требования мастерства. Как и что читать—этому посвящены первые главы его книги. Здесь дан ряд советов и указаний, практическая польза которых и несомненна, и неоспорима. Как следует читать, классифицировать, делать заметки, обращать внимание на существенное—на это у нас слишком мало обращают внимания, читая главным образом по-прежнему для удовольствия или нескучного времяпровождения. Вот краткая программа разумного чтения: „С точки зрения ремесла, в целях технической ассимиляции и для непосредственной пользы предпочтительно читать авторов, которые показывают нам свои приемы, у которых можно анализировать способы их работы, детали построения, стиля, науку выражения; какими усилиями добиваются они захватывающих противоположений, как достигаются яркость и рельефность; под каким углом зрения приобретают выпуклость идеи; умение, необходимое для их разветвления и роста и т. д. Уменье видеть— вот стержень литературного искусства; а знать, как нужно видеть, это почти то же, что знать, как нужно выражать" (34 стр.). Это, если ее расчленить,— как и делается в следующих главах,—целая программа исследования, предостерегающая не только читателей, но и писателей от целого ряда промахов и ошибок. Перечислять их—значило бы переписывать страницу за страницей. Мы воздержимся от этого точно так же, как и от подробного изложения книги Альбала, которую советуем прочитать нашим читателям. Укажем только на ее основной метод—это очень умелое соединение теоретического исследования и учебного пособия, не педантичного, всегда живого и указывающего на тонкий вкус. Против книги Альбала при соответствующем настроении можно было бы возразить только одно: отчасти он понимает писателя как ученого. Для него творчество неразрывно связано с критикой—нужно уметь до конца понимать других, чтобы писать самому. Нет искусства без черновиков. Быть может, от-

дельные положения Альбала можно критиковать или дополнить. Дело не в этом. Важно то, что он дает правильное направление, заражает чутьем к самой литературе, проверяет и доказывает требования вкуса.

Книга Альбала, между прочим, свидетельствует и о нашей культурной отсталости. Изданная 25 лет тому назад, она только теперь удостоилась сокращенного перевода на русский язык. Правда, сокращения коснулись, главным образом, цитат и примеров, но именно в такой работе все основано на примерах, приведенных в русском тексте чрезвычайно скупо. Самое правильное было бы сделать при переводе то, что редактор книги советует сделать каждому читателю в отдельности, т.-е. подобрать соответствующие примеры из русских авторов, в особенности в тех случаях, когда речь идет о поэзии. Перевод, насколько нам удалось сличить его с подлинником, хорош. Можно только спорить о некоторых терминах. Думается invention неправильно передавать в соответствующем контексте словом „изобретение". В некоторых случаях, наверно, было бы правильнее сказать „замысел". Смысл этого понятия у Альбала именно такой.

Отчасти продолжением и дополнением книги Альбала является статья Белецкого „В мастерской художника слова" в 8-м выпуске „Вопросов теории и психологии творчества". Она начинается изучением и толкованием творческого процесса в поэзии и кончается изображением природы в литературе. Исследование Белецкого в некоторых отношениях шире и разностороннее книги Альбала, но у него нет этой выдержанности, этого гармоничного развития тем, которым отличается французский критик. Различен и самый принцип выбора материала. Альбала старается привлекать для иллюстрации и примеров произведения только двух видов: или заведомо плохие, или с прочно установленной репутацией. Это позволяет ему яснее выявить свою точку зрения. Правда, он пишет не только научное исследование, но и нормативное в смысле l'art poétique, Белецкий же интересуется только проблемами литературы, безотносительно к практическим выводам, и поэтому рассматривает все, попавшее в поле его эрудиции. Конечно, это нельзя считать недостатком, гораздо хуже неравномерное освещение вопросов, переход от одной частности к другой раньше, чем установлены твердые теоретические очертания. Особенно это проявилось в главе о „выборе сюжета". Самое определение мотива и сюжета сделано под сильным влиянием А. Веселовского, не отличавшегося теоретической ясностью [определение мотива Веселовский в своей „Поэтике" дает такое: „под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно отвечавшую на разные запросы первобытного ума или простого наблюдения"; Белецкий: „мотив — простое предложение изъяснительного характера, некогда дававшее все содержание мифу, образному изъяснению непонятных для примитивного ума явлений" (стр 137)], и эта теоретическая неясность, недостаточная закругленность портит богатую материалом и наблюдениями работу Белецкого. Можно также возражать против недостаточной разграниченности изучаемых явлений по видам и жанрам: проза, поэзия, эпос, лирика, драма привлекаются в равной степени для прослеживания того или иного историко-литературного закона, хотя нет никакого сомнения, что каждый вид литературы имеет свои, только ему присущие, особенности. Иногда автор обращает внимание на них, иногда игнорирует. Несмотря на эти, легко исправимые, недостатки, мы считаем работу Белецкого ценной и необходимой. Если прибавить, что в некоторых главах ему пришлось проделывать работу, русскими учеными не производившуюся, то положительная оценка его исследования будет вполне законной.

К. Локс.

Дневник Анны Григорьевны Достоевской (1867 г.). „Новая Москва" 1923 г. Стр. 390.

В книге дочери Анны Григорьевны Достоевской — Любови Федоровны [1]), между прочим, говорится: „у моей матери был альбом, один из тех альбомов с розовыми, голубыми или зелеными страницами, которым молодые девушки обычно поверяют по вечерам выдающиеся события дня".

---

[1]) „Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской". Перевод с немецкого Л. Я. Круковской. Под редакцией и с предисловием А. Г. Горнфельда. М.—П. 1922 г.

Несмотря на то, что формально это относилось скорее к „Воспоминаниям" Анны Григорьевны (ибо „Дневник" в рукописи „представляет собой две простых, довольно толстых тетради бумаги"),—это, со стороны содержания, лучшая характеристика „Дневника". „Дневник" Анны Григорьевны, в противоположность ее „Воспоминаниям", являющимся ценнейшим историко-литературным документом целой эпохи (1846—1917 г.г.), действительно напоминает интимный, искренний и задушевный альбом молодой, нежно любящей и, к тому же, готовящейся стать матерью, женщины. „Дневник" велся А. Г-ной во время ее заграничного путешествия с мужем в 1867 г. Сама Анна Григорьевна (в черновых набросках „Воспоминаний", написанных после „Дневника") говорит о нем следующее: „чтобы многого не забыть, я обещаю (своей матери. *Н. С.*) завести записную книжку, в которую и вписывать день за днем все, что со мною будет случаться... Сначала я записывала только мои дорожные впечатления и описывала нашу вседневную жизнь. Но мало-по-малу мне захотелось вписывать все, что так интересовало и пленяло меня в моем дорогом муже: его мысли, его разговоры, его мнения о музыке, о литературе и пр. Записывала и наши маленькие распри, мой протест против некоторых его взглядов, например, по поводу женского вопроса".

Дневник писался обычно по вечерам.

„Обыкновенно, вечером, — продолжает А. Г-на, — Ф. М. садился за свои занятия, я присаживалась к другому столу и писала".

Записки, предназначавшиеся А. Г-ной исключительно для себя, а потому исключительно—искренние и правдивые, характеризуют, прежде всего, саму спутницу одного из гигантов русской литературы, невольно заставляя вспомнить спутницу другого литературного гиганта—Софью Андреевну Толстую, особенно до ее нравственного разрыва с Л. Н-чем.

Оба великих писателя жили и творили в одни и те же годы.

Обе женщины — и Анна Григорьевна, и Софья Андреевна — были женщинами одного века, обе тесно сливаются в смысле своих внутренних черт: трогательной любви, нежности, заботливости и благоговейного отношения к материнству.

Семейная жизнь Толстых (опять-таки до духовного разрыва) была овеяна трогательной лаской усадебной поэзии: игрой на рояли в четыре руки, мирной дремой С. А-ны у ног работающего мужа на шкуре убитого им медведя, прогулками в лунном снежном парке.

Белая дымка поэзии веяла и над жизнью Достоевских: в „Дневнике" немало нежных зарисовок, немало застенчиво-трогательных сцен.

Но в то время как в письмах и записках С. А. Толстой ее семейное счастье, как, отчасти, и несчастье второго периода, является самодовлеющим, — рассыпанные в „Дневнике" А. Г. Достоевской алмазы нежности постоянно тонут в паутине чисто-жизненных, денежных забот.

Деньги, заботы о завтрашнем дне — необходимая канва „Дневника". „Денег у нас оказалось всего 2 флорина, а за обеды не заплачено за три дня,—дольше не отдавать невозможно. Федя прочитал в газетах, что в Sophienstrasse есть какой-то господин, который покупает и продает вещи, следовательно, может быть, он и принимает под залог" (Среда, 31 июля 1867 г.).

Такие записи почти ежедневны. Но горькие записи, вроде того, что „сегодня я не пила чаю,—было не с чем",—особенно ярко характеризуют Анну Григорьевну, как искренне любящую своего мужа женщину. Анна Григорьевна не жаловалась, хотя и имела все основания для жалоб. Из „Дневника", характеризующего великого писателя исключительно как с е м ь я н и н а - человека, мы узнаем не только о его семейной нежности, но и болезненной страсти к рулетке. В рулетку Достоевский проигрывал почти все свои (очень ограниченные) средства. Страницы „Дневника", посвященные этой полосе заграничной жизни Достоевских, одни из наиболее горьких, но и искренних страниц.

Вообще же „Дневник" (кстати, написанный очень литературно, а местами, посвященными немецким музеям и бытовым зарисовкам, и художественно) читается, как хороший, насыщенный подлинной, в лучшем смысле, человеческой любовью роман. В нем много не только ценнейших биографических данных, но и сцен, незабываемых по своей трогательности и чисто-женской, глубоко-женственной лирике. Например:

„Выпив кофе, мы отправились на башню, сначала не так высоко, а потом выше и выше. В некоторых местах были вставлены какие-то рамы, в которых находились струны. Мне кажется, что это и есть Эоловы арфы, но, может быть, я ошибаюсь... Вид отсюда великолепный, просто чудо: вдали видна река большая, должно быть, Рейн. Вот виднеется недалеко от Бадена другой такой же маленький городок, должно быть, Tiernbach. Вообще, вид превосходный: Федя смотрел в бинокль, а я в наш бинокль решительно ничего не вижу, так что мне пришлось только носить его, а не глядеть. Федя подарил мне несколько цветков, очень хорошо пахнущих; я их засушу. Когда мы осмотрели замок, то мне пришло в голову отправиться в Ebersteinburg, который отсюда находится недалеко. Но дороги мы не знали, поэтому мы вышли из других ворот замка и пошли к камню, где была надпись: „Auf die Felsen". Мы пошли по очень старинной маленькой лестнице, по которой было очень трудно итти, потому что камни падали под ногами, но мы шли под руку и даже несколько раз дорогой поцеловались, но каково же мы были смущены, когда мы увидали, что навстречу нам идут какие-то две дамы, которые, вероятно, с вершины горы могли видеть наши поцелуи и, вероятно, осуждали нас. По этим ступенькам мы взошли к какому-то зданию; вероятно, это было вроде крепости, потому что тут, на скале, находится старинного устройства сцена; потом мы поднимались все выше и выше, и оттуда открылся нам великолепнейший вид. Тут Федя подошел к самой окраине и сказал мне: „Прощай, Аня, я сейчас кинусь"; я даже испугалась. Мне представилось, что если б в самом деле ему как-нибудь случилось упасть, он бы решительно пропал между этими скалами, так что и сыскать нельзя было бы. Мне кажется, что если б он упал, то я и сама нарочно бы бросилась за ним, потому что—что бы тогда мне жить, для чего? Скалы, по которым мы шли, были порфировые, того самого камня, из которого сделана ваза в Летнем саду, но, разумеется, здесь не в отделанном виде. Мы поднимались все выше и выше и под конец потеряли дорожку, так что и решились возвратиться назад. Но когда мы шли, то вдруг увидали вдали, на расстоянии 300 шагов, что с горы спрыгнула серна, маленькая, желтенькая козочка очень милая. Она сначала остановилась, а потом быстро побежала вниз. Внизу он[а] несколько раз останавливалась, так что м[ы] могли ее видеть довольно долго. Федя очен[ь] жалел, что с ним не было ружья, но мн[е] кажется, было бы жестоко убить это милое пугливое создание; если б было возможно то хотелось вовсе не убивать, а только по гладить и дать ей хлебца; вот это бы я [с] удовольствием сделала. Потом мы вороти тились в замок по той же тропинке, и [я] все время рассказывала Феде, по его прось бе, как я проводила детство и какие я помн[ю] сказки, а также про ту длинную сказку, ко торую нам каждый вечер рассказывал папа".

Это наиболее показательный пример заграничной жизни Достоевских. Их заграничная жизнь была очень замкнутой и одинокой. Оттого и значение „Дневника" ограничивается почти биографически-исследовательским интересом, ибо в отношении общественно-литературном „Дневник" дает очень немногое. Несмотря на то, что Достоевские за границей, — и снова в силу денежных обстоятельств, — встречались со своими соотечественниками (Гончаровым, Тургеневым и т. д.), их зарисовки в „Дневнике", особенно Гончарова, очень коротки и эпизодичны. Но и как документ биографический, как материал для изучения великана литературы и его спутницы — „Дневник" представляет безусловную ценность. К книге приложен портрет Анны Григорьевны: гладкая прическа, узкое, цыганского типа лицо, крупные серьги, старомодная, с белым жабо, блуза.

Издана книга тщательно и опрятно.

Н. С.

—

Материалы для биографии М. Бакунина. По архивным делам б. б. III Отделения и Морского Министерства. Ред. и примеч. В. Полонского. Центрархив. Госиздат. 1923. Т. I. Стр. 439.

„Михаил Бакунин до последнего времени принадлежал к числу тех знаменитых деятелей, которых очень почитают, но мало знают", справедливо замечает редактор рецензируемой книги В. Полонский. Биографическую литературу о М. Бакунине можно разделить на два периода: первый „полулегендарный" характеризуется такими ра-

ботами, как известная биография Драгоманова, статья А. Амфитеатрова „Святые отцы революции" и др., основанные не на первоисточниках и базирующиеся, гл. обр., на материалах, сообщаемых Герценом в „Былом и Думах" и в др. произведениях. Второй период характеризуется работами А. Корнилова, Ю. Стеклова и В. Полонского, основанными, гл. обр., на неиспользованных до сих пор архивных материалах. При огромном интересе, который до сих пор вызывает среди читателей мощная фигура М. Бакунина, вполне уместной является попытка опубликовать важнейшие из архивных материалов, до сих пор почти не появлявшихся в печати или появлявшихся в урезанном, а то и искаженном виде. Достаточно сказать, что имеющееся издание „Исповеди" по подсчету В. Полонского имеет 300 всяческих исправлений, после сверки с подлинным текстом.

В. Полонский совершенно правильно подошел к своей задаче, публикуя не все архивные материалы, составляющие более 8 томов, а лишь те, что имеют существенное значение для биографии М. Бакунина. В этом отношении его работа выгодно отличается от таких публикаций, как, напр., „Переписка К. Победоносцева", содержащая, на-ряду с первоклассным материалом, огромное количество всяческой дребедени и бумажной шелухи. Первый том материалов распадается на несколько отделов: первый отдел посвящен деятельности М. Бакунина до ареста, второй — пребыванию его в крепостях (австрийских и русских). Здесь особенно интересны тщательно выверенная публикация „Исповеди" и ценные письма Бакунина к родным из крепости; третья часть посвящена пребыванию Бакунина в Сибири, наконец, четвертая и последняя — его побегу. Материалы, входящие в последнюю часть, представляются, пожалуй, наиболее интересными, так как до сих пор они были почти целиком неизвестны. В. Полонскому посчастливилось найти в архиве б. Морского Министерства объемистое „Дело о побеге за границу политического преступника Бакунина", значительную часть которого он и публикует в рецензируемом томе. Ознакомление с документами производит убеждение, в разрез с до сих пор существовавшей версией, что смелое бегство Бакунина было организовано при участии третьих лиц, несмотря на следствие, так и оставшихся неизвестными. Попутно с этим, следственное дело рисует необычайно яркую картину административной жизни Сибири в 70-х г.г., отношения властей к политическим ссыльным и т. д.

Вышедший том снабжен небольшими вводными статьями В. Полонского, дающими краткое описание каждой категории документов, прекрасными примечаниями и указателем имен.

После совершенно безграмотного издания „Дневника" А. С. Суворина, пухлого бездарного издания переписки К. П. Победоносцева, особенно хочется приветствовать тщательно и любовно проредактированные материалы для биографии Бакунина. Издана книга очень тщательно, на прекрасной бумаге и со стильной обложкой.

В. Крямин.

В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. Госиздат. Пгрд. 1923. Стр. 465. Тираж 3000.

В предисловии автор говорит: „Радищев жил при феодальном строе и боролся за демократические идеалы. Проникая зорким взглядом „сквозь целое столетие", он видел и грядущую революцию трудовых масс.

Революция увенчала Радищева. Но в своем широком размахе она превзошла все то, что было доступно мысли человека другого социального периода... И мы, современники великой революционной эпохи, только с исторической точки зрения можем смотреть теперь на взгляды того, кто первый русскому народу „вольность прорицал".

Радищев, первый русский писатель, воспевший революцию и цареубийство, объявленный Екатериной „бунтовщиком хуже Пугачева", едва не поплатившийся жизнью за ту пощечину, которую он нанес самодержавию, оказавший огромное влияние на декабристов, Герцена и все освободительное движение, Радищев до сих пор не получил своей монографии.

Отчасти это объясняется тем, что его знаменитая книга „Путешествие из Петербурга в Москву", вышедшая в 1790 году, в течение ста слишком лет была под запретом. Изучать Радищева во всей полноте стало возможным только после 1905 года.

Книга Семенникова также не претендует на цельное и всестороннее освещение

Радищева. Автор, один из лучших знатоков русской литературы 2-й пол. XVIII века, дал ряд статей и экскурсов по Радищеву, сгруппировав их вокруг трех основных тем: 1) Радищев и Французская революция. 2) Радищев в дни Александра I. 3) Радищев и Пушкин. Статьи эти — результат глубокого, пристального изучения, большой эрудиции — проливают яркий свет на ряд вопросов, связанных с личностью, жизнью и творчеством Радищева. Исчерпать содержание книги Семенникова в краткой рецензии нет возможности. Отметим только некоторые интересные достижения автора.

До сих пор распространено мнение, что „Путешествие“ и, в частности, ода „Вольность“ написаны под непосредственным воздействием Французской революции. Семенников напоминает, что книга Радищева была написана уже до 1789 года и что, следовательно, речь может итти только о влиянии предреволюционной атмосферы. Ода же „Вольность“ была сочинена задолго до „Путешествия“ и отразила, повидимому, непосредственное влияние *Американской* революции 1776 г. Отношение же к Французской революции у Радищева было сдержанным: его отталкивали крайности. Как далек, напр., был Радищев от последовательных выводов материализма, видно хотя бы из того, что Радищев оказался на стороне масонов в их оппозиции атеизму. В сущности, Радищев колебался между деизмом и откровенной верой. Правда, формальная сторона религии всегда вызывала у него резкие нападки, так же как угодничество церкви перед властью.

Радищев в дни Александра I до сих пор был мало обследован. Тем ценнее изыскания Семенникова, касающиеся напряженной деятельности Радищева в Комиссии составления законов. Семенников впервые печатает открытый им „Проект гражданского уложения“ — труд последнего года жизни Радищева. По преданию, идущему от Пушкина, именно за этот проект Радищеву пригрозили новой ссылкой в Сибирь. Этой угрозы не пережил Радищев: в записке, написанной незадолго до самоубийства, он оставил многозначительные слова: „Потомство отомстит за меня“.

Сложная и запутанная проблема отношения к Радищеву Пушкина остается пока неразрешенной и неисчерпанной. Но все же недавняя работа проф. Сакулина и настоящее исследование Семенникова ставят вопрос строго научно, исторически правильно. Отношение к Радищеву Пушкина 30-х годов — резко - отрицательное — должно рассматриваться в связи с отношением Пушкина к проблеме бунта и революции. В своей резкой характеристике Пушкин имел перед собой не столько конкретного Радищева, сколько обобщенный тип русского вольнодумца XVIII века, каковым Радищев, как человек исключительный, не был. Возможно также, что на суждениях Пушкина о Радищеве сказалось влияние замечаний Екатерины, известных поэту. Интересно, но неубедительно сопоставление Радищева с Евгением из „Медного всадника“.

Пушкина интересовали не только политические, но и литературные взгляды Радищева. Они свежи и оригинальны. Радищев намечал новые пути в развитии русского стихосложения: 1) он требовал разнообразия размеров; 2) возражал против необходимости рифм; 3) первый писал „русским народным складом“; 4) первый пытался дать анализы звуковой инструментовки; интересны, например, наблюдения его над красотой чередования *ять* и *е*, которые в то время различались в народном произношении.

Итак, Радищев оказывается передовым застрельщиком в борьбе не только за политическую свободу, но и за свободу поэтических форм.

В области литературной, Радищев — натура сильно эмоциональная — был представителем руссоизма, „бурного сентиментализма“, а не вольтерьянства с его скептическим рационализмом. В своем героическом сентиментализме Радищев определенно роднится с представителями немецкого Sturm und Drang'а — да и по возрасту Радищев был сверстником Гёте, Гердера, Ленца.

Насыщенная содержанием книга Семенникова написана, к сожалению, недостаточно популярно: академически тяжеловесно и громоздко. Это, конечно, затруднит ей доступ в широкие круги читателей.

Проф. А. Цинговатов.

1848—1923. К 75-летию революций 1848 г. Сборник статей. Издательство „Красная Новь". Главполитпросвет. Москва 1923. Стр. 240.

Бела Рац. — Красные и белые 75 лет тому назад. Венгерская революция 1848-1849 г. Перевод с венгерского. Издательство „Красная Новь". Главполитпросвет. Москва 1923. Стр. 93.

Материалы по истории революционного движения на Западе. Выпуск второй. 1848 год. Под редакцией Г. И. Гордона. Издание Коммунистического университета Я. М. Свердлова. Москва 1923. Стр. 112.

Жорж Ренар. Республика 1848 г. (1848—1852). Перевод с французского. Государственное Издательство. Москва — Петроград 1923. Стр. 4 6.

А. Верморель. Деятели сорок восьмого года. Государственное Издательство. Москва—Петроград 1923. Стр. 300.

В. Блос. Эрих девяносто девятый (Верхом на принципе). Повесть из времен 48-го года. Культ-просвет. изд. „Труд". Харьков. 1923. Стр. 192.

Семидесятипятилетие „безумного" года прошло мало замеченным в нашей печати. Почти ни один журнал и ни одна газета не отвели мало-мальски подобающего места этому весьма примечательному юбилею. Это тем более странно, что у нас вообще страсть к юбилеям, часто даже к таким, которые особого внимания не заслуживают. Между тем, поминовение бурных и грозных событий 48 года, когда в революционном котле кипела чуть ли не вся Западная Европа, должно было иметь место в современной России, столь не похожей на Россию 48 и 49 г.г., ненавистную для революционеров и сапогом Николая I раздавившую венгерскую свободу. Если теперь буржуазному миру Запада и нечего праздновать по поводу 48 года, то у нас некоторая генетическая преемственность не может не ощущаться.

Но если юбилей оказался пропущенным и недостаточно отмеченным, то некоторые издания, в той или иной степени приуроченные к памятным событиям, все же появились. Издательство „Красная Новь" выпустило две новые, свежие книги. Первая книга „1848—1923 г.г." представляет сборник статей, посвященных революционным событиям 1848 года в отдельных странах Западной Европы. Само собой разумеется, что, как во всяком коллективном труде, статьи настоящего сборника далеко не равномерного и равноценного достоинства.

Открывает сборник статья И. Степанова, имеющая целью установить связь поминаемых событий с текущей действительностью. Статья Стеклова — „Революция 48 года во Франции" в известной степени обобщает выводы и построения его полезной брошюры на ту же тему. Наибольший интерес в сборнике привлекает статья М. Н. Покровского на тему — „Ламартин, Кавеньяк и Николай I". В этой статье, касающейся частного вопроса, но зато пускающей в оборот новые, ценные источники Покровский описывает взаимоотношения русского самодержца с „красноречивым витией" Ламартином и, особенно, с кровавым усмирителем парижских рабочих, „июньским палачом", генералом Кавеньяком. За свою расправу с восставшим пролетариатом „африканский" генерал удостоился милостивого внимания русского императора, благосклонно взиравшего из далекого Петербурга на буржуазную контр-революцию на берегах Сены.

Достаточно обстоятельна статья Ф. Ротштейна „Сорок восьмой год в Англии", характеризующая закат чартизма, некрасивое и медленное угасание великого и красивого дела. До-нельзя бегла и поверхностна статья М. Бэра — „Германская революция 1848—1849 г.г.", ограничивающаяся общими фразами всего на протяжении 24 страниц. В противоположность этому приятно отметить статью Е. Варги о венгерской революции со вдумчивым анализом классовых отношений. Вполне правильно уделено место и Польше, хотя бы в виде небольшой статьи Ю. Мархлевского—„Польский вопрос во время революции 1848 г.". Замыкающая сборник статья А. Луначарского—„Революция 1848 г. в Италии"—более изобилует красочными внешними эффектами, нежели глубиной социологического анализа.

Другая книжка изд. „Красная Новь" посвящена исключительно венгерской революции. Бела Рац в своей работе описывает главнейшие моменты революционной борьбы в Венгрии, а затем и реакции. В книжке приведены любопытные факты, мало известные для русского читателя. Нельзя, однако, сказать, чтобы общая композиция книжки была вполне удовлетворительна. У автора нет ни метода, ни системы расположения

материала, нередко носящего случайный характер. Большое количество выписок не всегда убедительно. Склонен автор прошлое преломлять через призму настоящего. Но все же коммунистическая революция в Венгрии наших дней и революция 48 года очень трудно поддаются какому-либо сравнению.

Сборник, изданный Свердловским университетом, является собранием материалов и документов по 48 году, приуроченным к ведению практических занятий и приучающим к работе над первоисточниками. Книга, вышедшая под редакцией проф. Гордона, составлена весьма удачно. Умело и разнообразно подобраны отрывки из источников (главное место, как и следовало ожидать, принадлежит французским документам), снабжены толковыми и обстоятельными примечаниями.

Госиздат, не дав никаких новинок по 48 году, переиздал книги Жоржа Ренара — „Республика 1848 г.“ и Вермореля — „Деятели сорок восьмого года“.

Книга Ренара давно уже заслуживала переиздания. Являясь одним из наиболее удачных выпусков известной Жоресовской „Histoire Socialiste“, книга Ренара представляет обстоятельный и толковый обзор революции 48 года во Франции. На-ряду с удачно скомбинированным описанием политических событий, ряд глав посвящен экономике и социальным отношениям. Последняя глава особенно ценна, так как трактуемые здесь вопросы в других, переведенных на русский язык книгах по революции 48 года во Франции обыкновенно затронуты весьма незначительно. Но и Ренару приходится поставить в упрек излишнюю краткость в изображении промышленного кризиса конца 40-х годов и соответствующих изменений в положении рабочего класса. В общем книга Ренара очень полезна. Издана она внешне достаточно скверно, при отнюдь не дешевой цене.

Книга Вермореля о деятелях 48-го года пользовалась в свое время большой известностью. Это — ряд ярких и остроумных характеристик-памфлетов главнейших персонажей Февральской революции и второй Республики. Теперь, конечно, многое устарело. Самая манера письма кажется старомодной. Но все же и теперь с немалым интересом читаются, полные ядовитого сарказма, характеристики буржуазных членов временного правительства, выдвинутых революцией и быстро от нее открестившихся. Ярка фигура и неудачливого социалиста-реформатора Луи Блана, столь печально блокировавшего с перехитрившей его буржуазией. Стилен в своем роде и „алжирский герой“, Евгений Каваньяк. При несомненном интересе книги, все же едва ли следовало издавать ее в количестве 10.000 экземпляров. Кто ее будет покупать?

Если книга Вермореля является памфлетом историческим, то памфлетом, облеченным в беллетристическую форму, является повесть В. Блоса — „Эрих девяносто девятый“. Когда-то эта повесть имела пропагандистскую задачу, зло вышучивая маленькие немецкие государства накануне и во время революции 48-го года. В основу повести положены исторические факты: „веселое правление“ танцовщицы Лолы Монтес, державшей под башмаком коронованного балетомана. Историческая действительность мало, пожалуй, окарикатурена. Анекдот, действительно, сливался с фактом. Литературными достоинствами повесть Блоса не блещет, да и вряд ли теперь кому-либо интересна.

И. Борсадин.

Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894—1914. С предисловием М. Н. Покровского. Центрархив. Государственное Издательство. Москва 1923. Стр. VIII+212.

Новое издание Центрархива является чрезвычайно важным и ценным источником для истории международных отношений новейшего времени. Можно смело сказать, что вся пре-история войны выявляется в переписке двух монархов, еще так недавно вершивших судьбами двух могущественнейших империй. В своей переписке корреспонденты затрагивают все важнейшие вопросы внешней политики за целое двадцатилетие (1894 — 1914), закончившейся таким кровавым финалом.

Вильгельм и Николай пытались хотя бы внешне поддерживать те родственные и дружественные связи, которые соединяли Гогенцоллернов и Романовых. Само собой разумеется, что это было далеко не то, что мы находим в переписке Николая I с его прусским адресатом или в отношения

Александра II к Вильгельму I. Эпоха сильного охлаждения русско-германских отношений при Александре III не прошла даром. Вильгельм II всячески старался восстановить былую связь двух царствующих домов, безмерно комплиментируя и даже льстя молодому и недалекому русскому самодержцу. С грубым и несговорчивым Александром III Вильгельм основательно нарезался; теперь свои чары он старался испытать на сыне. И вот с 1894 года начинается целая серия писем Вилли к Ники, далеко выходящая за пределы только интимного и личного обмена мнений.

Нет, почти в каждом письме, даже в краткой телеграмме Вильгельм старается затронуть тот или иной вопрос текущей, внешней или внутренней политики. К сожалению, до нас не дошли в такой же полноте письма Николая, повидимому, не столь словоохотливого и более скрытного. Николай более отвечает, чем сам сообщает какие-либо новости или задает какие-либо вопросы.

Зато шумливый и болтливый кайзер весь как на ладони в этой переписке. Всеведущий и вездесущий, он сообщает Николаю все подробности не только о германских или обще-европейских, но даже и о русских делах. Правда, здесь часто апломб граничит с несомненным невежеством. Но под этой внешней шумихой и, казалось бы, [illegible] зигзагами мысли и слова скрывается нередко один определенный и упорный уклон.

Вильгельм предвидел надвигающуюся мировую катастрофу и определенно выводил ее из развертывающегося англо-германского соперничества. Задачей его было привлечь на свою сторону Россию, отделив ее от Франции. Красной чертой через большинство писем Вильгельма (особенно периода первого десятилетия) проходит натравливание России на Англию и всяческие инсинуации по адресу Франции. Как ни заявляет громогласно о своем всегдашнем миролюбии Вильгельм в своих недавних мемуарах, его письма выдают его с головой.

Чрезвычайно характерны следующие почти пророческие места из письма Вильгельма от 26 сентября 1895 года. Говоря о французском проекте образовать новый континентальный корпус на его западной границе и видя в этом несомненную угрозу, Вильгельм пишет: „Видит бог, что я делал все от меня зависящее, чтобы сохранить в Европе мир, но если Франция, открыто или тайно подстрекаемая к этому, будет продолжать своим поведением так нарушать и правила международной вежливости и самый мир, то в один прекрасный день, мой дорогой Ники, ты очутишься nolens-volens (волей-неволей) внезапно втянутым в самую страшную войну, какую когда-либо видела Европа. И народные массы, а даже, может быть, и сама история, укажут на тебя, как на причину этой войны. Не сердись, пожалуйста, если я, совершенно того не желая, огорчаю тебя, но я считаю своим долгом перед нашими странами и перед тобой, моим другом, писать тебе об этом совершенно откровенно... У меня есть некоторый политический опыт и я вижу совершенно неоспоримые симптомы и спешу поэтому выступить перед тобой, моим другом, в качестве защитника мира в Европе. Если ты „плохо ли, хорошо ли“ состоишь в союзе с Францией — прекрасно, держи тогда этих проклятых мерзавцев в повиновении, заставь их сидеть смирно...“ (стр. 12.).

Франко-русский союз является бельмом на глазу у Вильгельма, и он пользуется каждым случаем, чтобы возбудить как-нибудь царя против его союзницы. Излюбленным лейт-мотивом его рассуждений является противоположение монархической России республиканской Франции. Нередко он довольно грубо намекает на опасность подобного рода союза для самого политического строя России; французская республиканская зараза, по мнению Вильгельма, очень опасна. Да и с самим французским правительством нельзя договариваться, как с равным: „Лубэ и Делькассе, несомненно, опытные государственные люди, но так как это не принцы и не императоры, то и в вопросе, требующем доверия, каким является этот вопрос, я не могу относиться к ним так же, как к тебе, мне равному, моему кузену и другу“ (письмо от 2/XII 1904 г., стр. 87).

Особенно сильное беспокойство доставляло Вильгельму англо-французское соглашение, в котором он не без основания усматривал антигерманский характер. Вильгельм всячески старается доказать Николаю, что Франция изменяет союзу с Россией, заигрывая с Англией. Он часто даже говорит о новой „Крымской комбинации“

(т.-е. о возрождении франко-английского союза эпохи Крымской кампании). Отмечая в одном из писем отзывы французских газет, называвших франко-русский союз „браком по любви", а франко-английское соглашение — „браком по рассудку", Вильгельм пишет: „Возвращаясь к сравнению с браком скажу: „Марианна (Франция) должна помнить, что повенчана с тобой, почему и обязана ложиться с тобой в постель, время от времени уделяя ласку или поцелуй мне, а не пробираться украдкой в спальню того, кто на острове вечно интригует, touche à tout (за всем тянется)" (письмо от 27/VII 1903 г., стр. 107.)

Нельзя не отметить удивительно пошлого тона письма, который автору казался, повидимому, перлом остроумия. Стараясь ослабить узы франко-русского союза, Вильгельм в то же время очень не прочь через посредство России столковаться с своей западной соседкой. Перед ним рисуется план союза континентальных держав Европы, направленный против его главного врага,—Англии.

Англию Вильгельм ненавидит убежденно. В его письмах мы беспрестанно встречаем указания на те или иные выступления и проступки Англии. Особенно усердно старается раздуть Вильгельм англо-русскую вражду на Востоке. Русско-японская война дала для этого чрезвычайно благодарный материал. „Адмирал Атлантического Океана" очень часто пишет и телеграфирует „Адмиралу Тихого Океана", при чем Англии и ее действительным и мнимым проискам уделено немало места.

Переписка выясняет и роль Вильгельма во время русско-японской войны. Вилли очень сочувствует Ники, подает советы, вмешивается в военные распоряжения, но в то же время уверенно и настойчиво проводит в жизнь столь невыгодный для России русско-германский торговый договор. Не прочь приписать себе Вильгельм и роль миротворца, каковую ему очень не хочется уступить Рузвельту.

Очень любопытны письма, касающиеся известного эпизода в Бьорке, когда Вильгельму удалось, правда, на самый короткий срок, убедить Ники заключить союз с Германией. Этот эпизод, выясненный теперь в записках Витте и Извольского, хорошо отражен в письмах Вильгельма, восторженных в начале и проникнутых значительной дозой разочарования в конце. Несомненный интерес представляют письма, относящиеся к периоду аннексии Боснии и Герцеговины, когда Германия хотела умыть руки, но в то же время показала зубы России. Здесь очень любопытно письмо Николая II, как бы предвещающее начало мировой войны: „По моему мнению, единственная опасность политического положения (в Европе) в настоящий момент заключается в следующем: быть или не быть войне между Австрией и Сербией... То, что пишут о брожении, образовании банд и т. д. в Сербии и Черногории — ложь, распространяемая венгерской и еврейской печатью. Ты можешь себе представить, в каком затруднительном положении я бы очутился, если бы Австрия напала на одно из этих малых государств, (потому что) мне пришлось бы (выбирать) выдерживать борьбу между голосом моей совести и разгорячившимися страстями своего народа. Ты можешь мне оказать существенную помощь в деле устранения этой беды — я обращаюсь к (твоей) нашей давнишней дружбе — если ты дашь понять в Вене, что война там представляет опасность для европейского мира—война будет избегнута" (письмо от 15.XII—1908 г., стр. 142).

Несомненно дальнейшее охлаждение между двумя друзьями и корреспондентами, когда тройственное согласие стало фактом; две империалистические группировки, одинаково алчные и непримиримые, стали друг против друга. Мировая война стала неизбежной.

Телеграммы, которыми обменялись Николай и Вильгельм перед самым объявлением войны, хорошо известны. Во всяком случае, по своему тону они делают мало чести русскому суверену.

Переписка двух бывших друзей очень интересна и показательна. Она является не только чрезвычайно ценным источником для освещения целого ряда крупнейших вопросов нашего недавнего прошлого, но и дает незаменимый материал для построения социологического типа монарха эпохи империализма.

И. Бороздин.

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов.* *В. Смирнов.*

СОДЕРЖАНИЕ.

От земли и городов.

Литературные края.

Библиография.